

**Баграт Шинкуба.
Последний из ушедших.**

*Жили убыхи на древней адыгской земле,
Веткою были на этом могучем стволе.*

*Время окликнет - да где он, ушедший язык?
Словно история молча застыла на миг!*

Исхак Машбаи

Убыхи. Когда-то они жили на своей земле, на которой испокон веков жили их предки; и были полны надежд — надежд на будущее. Когда-то они мечтали о простых естественных вещах, пели песни, играли свадьбы, с достоинством жили и с достоинством умирали... Но как легко отнять мечту и как легко растоптать надежду. Многие пришлось испытать людям из народа Убыхов, вынужденно покинувшим свою землю. Гонимые ото всех и ото всюду, они шли по дорогам, усыпанным мертвыми телами; любившие свободу, они до конца боролись за нее. Да, легко растоптать надежду. Но разве можно вырвать из сердца горца любовь к своей Родине, к своему дому, к своему очагу. Разве что с самим сердцем...

«Последний из ушедших» — это книга, которая не поддается рецензированию, она сама находит путь к сердцу своего читателя.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

Трапеза с мертвыми

Когда мы были дома...

Хаджи Берзек Керантух

Как убыхи встретили своего молочного брата

Шардын, сын Алоу

Последний совет в каштановом доме

Горсть земли

КНИГА ВТОРАЯ

Где эта райская земля?

Горы горят

«Нет бога, кроме аллаха»

Назад в страну убыхов

Осман-Кой

Судьба горянок

По желтой дороге пустыни

По высохшим руслам

Песня ранения

КНИГА ТРЕТЬЯ

Что может изменить время?

Медная труба

Конец нашего жреца

Мансоу, сын Шардына

Астан Золак

Газета из Абхазии

На противоположных берегах

Исчезновение Бытхи и смерть Тагира

Последний путь

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Теряющий родину — теряет все.

Абхазская пословица

Предисловие

В начале этой зимы, субботним вечером, ко мне домой зашел Карбей Барчан. Когда-то мы учились вместе с ним в педагогическом техникуме, но он уже давно уехал из Сухуми, работал директором сельской школы, и мы несколько лет не виделись. Я было настроился на долгий разговор о житействе, но Карбей спешил, сказал, что за ним через полчаса зайдет на обратном пути та же райкомовская машина, на которой он приехал, и, не теряя времени, вытащил из поношенного портфеля и положил на стол довольно толстую папку.

— Здесь рукопись, которую я прошу тебя прочесть, и чем скорей, тем лучше. Она уже и так пролежала тридцать один год, всего через два дома от меня, у Татал, старшей из моих теток, в сундуке. На прошлой неделе похоронили ее и открыли этот сундук, который никто не помнит, чтобы она сама открывала. И вот нашли. Это рукопись ее покойного сына Шараха Квадзбы. Написана перед самой войной, но, по-моему, и сейчас не устарела. Прочти и подумай, нельзя ли ее напечатать. Дело не в том, что он мой родственник. В общем, прочти, сам увидишь.

Карбей ушел, оставив на моей совести дальнейшую судьбу этой папки, тридцать один год пролежавшей в сундуке у матери давно погибшего сына. И еще заранее, прежде чем я открыл папку, в этом было что-то отягощавшее меня чувством ответственности, теперь уже не перед одним, а перед двумя умершими.

В первый раз я прочел рукопись очень быстро, всю от начала до конца, но потом еще несколько раз возвращался к ней, чтобы лучше разобраться в иногда недоговоренном, а иногда почти неправдоподобном. Рукопись была не так-то проста. Впрочем, как и судьба ее автора.

Самого Шараха Квадзбу я не знал, но еще до войны много слышал о нем. Он был на пять лет старше нас и, кончив педагогический техникум у нас в Сухуми, уехал в Ленинград. Поступил там на факультет кавказских языков Института востоковедения, слушал лекции академика Марра, был оставлен в аспирантуре и специализировался там на изучении северо-западной группы кавказских языков, в том числе убыхского, знание которого очень важно для установления степени исторической близости и родства других кавказских языков.

Слышал я и о том, что Квадзба, по отзывам его ленинградских профессоров, был человеком незаурядных лингвистических способностей и, наверное, поэтому даже ездил в одну редкую по тем временам заграничную научную командировку в Турцию и на Ближний Восток, причем целью этой

командировки были поиски людей, сохранивших в своем быту разговорный убыхский язык, что было особенно важно при отсутствии на этом языке письменности.

Во время войны многие из нас очень мало знали друг о друге, так было и у меня с Квадзбой. Я слышал от кого-то, наверно от Карбея, что Квадзба был там, в Ленинграде, призван в армию, вскоре был тяжело ранен и, снова вернувшись из госпиталя на фронт, пропал без вести в 1942 году. И только через шестнадцать лет после этого, в 1958 году, к нам в Сухуми пришли сведения, что в далекой Италии, за окраиной местечка Черменате, недалеко от озера Комо, на надгробном камне, стоящем над могилой погибших в самые последние дни войны, в апреле сорок пятого года, итальянских партизан, среди других имен значится имя Шараха Квадзбы, написанное латинскими буквами с искажением всего только одной буквы. Оставалось гадать, как попал Квадзба в Италию,— скорей всего, как и большинство других людей со схожими судьбами, бежал туда откуда-нибудь из Австрии, из ближайших к границам Италии фашистских лагерей для военнопленных. Но фамилия, достаточно редкая на свете, не оставляла сомнений, что это был именно он, а дата гибели—двадцать четвертое апреля 1945 года — свидетельствовала, что он сражался почти до конца войны, всего-навсего каких-нибудь двух недель не дожив до Дня Победы.

Так выглядит судьба Шараха Квадзбы, верней, то, что я знаю о ней.

Что касается истории его рукописи, то некоторыми подробностями на этот счет со мной поделился Карбей, несколько раз приезжавший ко мне за те полгода, что я готовил рукопись к печати.

Как выяснилось, Шарах Квадзба написал все эти почти что пятьсот страниц, можно сказать, за один присест: вернувшись летом сорокового года из заграничной поездки и сразу же получив отпуск, все полтора месяца просидел в Абхазии у матери, никуда не выходил, с утра и до ночи сидел и писал.

Уезжая, в последний день сложил листы в папку, папку положил в портфель, попросив у матери ключ от ее сундука, сам положил этот портфель на дно и сам запер сундук. Отдавая ключ матери, сказал ей:

— Пусть эти исписанные бумаги лежат у тебя в сундуке до тех пор, пока я не вернусь.

Сказал это так, что она запомнила на всю жизнь. Вряд ли он мог думать тогда, что уезжает из дома в свою последнюю дорогу и что больше никогда не увидит ни своей матери, ни своей Абхазии. Но, наверное, в его голосе матери послышалось что-то такое, что заставило ее хранить эту положенную сыном в сундук папку до конца своих дней. И не только хранить, но и ни одному человеку на свете не сказать об этом. Она никому не сказала об этом ни тогда, когда ей говорили, что ее сын пропал без вести,

ни тогда, когда ей сказали, что где-то, так далеко, что даже нельзя представить где, на чьей-то общей могиле нашли имя ее сына.

Услышав это, она сначала сказала, что пусть родственники и друзья Шараха продадут и все свое, и все ее имущество и, получив за это деньги, повезут ее туда, на его могилу. А потом, когда ей не ответили сразу же согласием, больше никогда и ничего не говорила об этом. Молчала. Может быть, так и не увидев могилы сына, продолжала не верить в его смерть. Во всяком случае, ни разу до самой кончины не достала его портфель из сундука: ведь он велел хранить свою исписанную бумагу, пока не вернется. Может быть, она все-таки продолжала ждать его. Она родилась очень давно и была неграмотна, но и я и Карбей почему-то оба не верили в то, что эта неграмотная женщина могла бы просто-напросто забыть о папке сына.

Как я уже сказал, рукопись Шараха Квадзбы состояла почти из пятисот, точнее, четырехсот восьмидесяти двух листов, исписанных мелким, иногда, особенно ближе к концу, торопливым, но разборчивым почерком. В середине рукописи были заложены две машинописные странички, датированные августом 1940 года, довоенной автобиографии Квадзбы и написанные от руки короткие тезисы, очевидно, того отчета, который Квадзба, вернувшись из заграничной командировки, делал у себя в институте. Вместе со всем этим была также заложена в рукопись расписка, выданная Абхазским государственным музеем Ш. Квадзбе в том, что он сдал, а музей принял на хранение медную трубу и кавказский кинжал, привезенные им из заграничной командировки для передачи музею.

Не знаю дальнейшей истории кинжала, но трубу эту убыхского происхождения, вещь редкостную, весьма заметную в фондах нашего музея, я потом не раз видел, только не знал, что это дар Шараха Квадзбы.

В тезисах своего отчета Квадзба писал, что собранный им в командировке материал сможет, по его мнению, пролить свет на пробелы в изучении трагической истории убыхского народа, покрытой, как он выразился, густой тьмой неведения.

В одном из тезисов Квадзба счел нужным самокритически отметить, что для него пока еще остаются невыясненными многие топонимические названия, а также некоторые исторические лица, со следами деятельности которых он столкнулся в собранном им материале, и что многое из записанного им он еще не готов с достаточными основаниями научно прокомментировать. Однако, добавлял он, ближайшим этапом своей работы он считает не научные комментарии, а последовательное изложение всего собранного и записанного им материала, что должно явиться базой для всей последующей работы.

Очевидно, сохранившаяся в сундуке рукопись и была именно такой записью, оборванной в последний день работы на полуслове, судя по содержанию, где-то уже совсем близко к концу.

Прежде чем предложить вниманию читателей минимально, лишь в самых необходимых случаях, отредактированную мной рукопись Шараха Квадзбы, хочу сказать несколько слов о затронутой в ней теме, которая не лишена актуальности.

В рукописи Квадзбы перед нами оживают страницы истории убухов — народа, который издавна жил в горах Западного Кавказа, примерно в той полосе его, которая ограничена с севера и с юга реками Шахе и Хоста. В конце Кавказской войны, столкнувшись с непримиримой позицией убухов, царское правительство предложило их вождям на выбор: или спуститься с гор и переселиться на другие, равнинные земли Северного Кавказа, или переселиться в Турцию. Из этих двух жестоких решений вожди убухов выбрали то, которое исторически оказалось наиболее недальновидным: в 1864 году, следуя за своими вождями, народ убухов переселился в Турцию, а вслед за этим, как ослабевших под ударами урагана и уже неспособных держаться вместе птиц, судьба разбросала их по многим странам Ближнего Востока.

Прошел всего один век, и народ с богатым и мужественным прошлым исчез с лица земли как нечто единое целое.

Живой убухский язык все больше оставался только в памяти, и хотя знание языка и история убухов очень важно для развития всего кавказоведения, перед наукой как раз тут, куда ни глянь, белые пятна.

Полтора десятка лет тому назад мне попало на глаза сообщение одного из видных европейских кавказоведов, который писал, что, по его сведениям, среди потомков убухов, переселившихся в страны Ближнего Востока, в двух небольших соседних между собой селениях осталось еще шестнадцать человек, говоривших на убухском языке. И это пятнадцатилетней давности сообщение было последним, которое я читал. Более поздних упоминаний о людях, продолжающих говорить на убухском языке, мне в научной литературе так и не попадалось.

Тем более мне хочется предложить вниманию читателей рукопись Шараха Квадзбы, которая почти целиком состоит из весьма подробно записанных им в 1940 году бесед с помнившим еще время переселения своего народа в Турцию столетним убухом, в доме которого Шарах Квадзба пробыл больше месяца. Этот столетний убух Зауркан Золак, человек, судя по рукописи, отличавшийся не только редким здоровьем и выносливостью, но и редкою цепкостью памяти, месяц с лишним рассказывал гостю почти подряд всю свою жизнь, а Шарах Квадзба слушал и записывал, по-видимому ничего не пропуская даже в тех случаях, когда старик путал те или иные события во времени и говорил о вещах, которые порой воспринимаются как сказочные.

Очевидно, языковед стремился сначала дотошно записать все, что им было услышано, а уж разбираться во всем этом, отделять более достоверное от менее достоверного намеревался впоследствии.

И, на мой взгляд, в общем-то слава богу, что рукопись сохранилась именно в таком виде. Проанализировать ее с чисто научной точки зрения, видимо, не поздно и сейчас, не поздно и подвергнуть критическому анализу те или иные упомянутые в ней факты — и исторические, и бытовые,— и, однако, при всех своих изъянах с научной точки зрения эта рукопись именно в своем первоначальном виде предстает перед нами как интересный человеческий документ, раскрывающий, конечно, прежде всего личность рассказчика, но в какой-то мере и личность слушателя, которого слишком сильно волновало все им услышанное, чтобы оставлять за собой только роль стенографа.

Итак, откроем рукопись. Хочу предупредить, что передо мной лежало четыреста восемьдесят два плотно исписанных листа, не только не снабженных заглавием, не разделенных на части и главы, но и написанных почти без абзацев рукой человека, думавшего не о публикации, а о том, как бы за отведенный для этого срок успеть дописать до конца. И то название рукописи, которое вы уже увидели, и название глав, и деление на части, сделанное для удобства чтения,— все это на моей совести, все это сделано уже мной, а не Шарахом Квадзбой.

КНИГА ПЕРВАЯ

Трапеза с мертвыми

Слезая с повозки, которая попутно, по дороге, подвезла меня сюда, стою, гляжу и не знаю, куда идти. Тощая лошадь, еле дотянувшая нас сюда, теперь с грохотом катит повозку под гору по склону, и это дребезжание колес — единственное, что нарушает тишину. Жара теперь чуть-чуть спала, и задувший к вечеру теплый ветер, словно огромный невидимый веник, метет пыль по дороге. Справа вдали виднеется деревня, слышно, как лают собаки. Слева высушенный солнцем плешивый холм с бороздами высохших дождевых промоин, похожих на незажившие шрамы, а впереди до горизонта унылая равнина, поросшая редкими деревьями. Стою и с удивлением смотрю на эту чужую мне землю. Неужели на нее поменяли убыхи свои горы, неужели тут, в этой земле, лежат кости уже нескольких поколений?

Звон молотка о наковальню заставлял подумать, что возница не соврал, когда, ссаживая меня, сказал, что кузница здесь рядом. Вот она, всего в ста шагах у меня за спиной. Просто когда я слез, не туда повернулся. А вот, кажется, и кузнец. Позвонил еще немного молотком, пока я шел к его кузнице, и, словно заранее знал, что мне нужен, вышел навстречу. Невысокий, с редкими черными усами на кое-как, наскоро вытертом от копоты лице. В руке у него какой-то узелок, и я успеваю подумать, что, может быть, это не кузнец, а кто-то другой.

Но оказывается, это все-таки кузнец Бирам, тот самый, чье имя мне называли и говорили, что если я его встречу, то все будет хорошо. И то, что у него узелок в руке, тоже удача для меня, потому что он несет этот узелок тому самому старику убыху, Зауркану Золаку, из-за которого я сюда как и на чем только не добирался.

Идем с Бирамом вдоль подножия плешивого холма. Какой-то он богом обиженный, этот холм: с одной стороны промоины, как шрамы, с другой — обнаженный камень с трещинами, в которых даже траву всю дотла выжгло солнцем.

— Пришли,— говорит Бирам.— Здесь его дом.

Он показывает мне пальцем, но я все равно не вижу никакого дома.

— Не там — тут.

Он снова показывает пальцем, и я наконец вижу этот дом. Должно быть, там, внутри, у подножия этого голого холма, есть пещера, и у входа в нее пристроены три низкие стенки из самана, накрытые почерневшим от дыма навесом из дранки.

— Подожди здесь. Я узнаю, дома ли Зауркан. Спрошу его, будет ли он с тобой говорить. Он иногда бывает таким сердитым, что никого не хочет видеть, даже меня. Сто лет!

Бирам пожимает плечами, словно хочет объяснить мне, что в сто лет у человека уже не спрашивают, почему он сердится.

— Но боюсь, что сейчас его нет дома, а то собака б уже заметила.

Но не успевает он этого сказать, как из хижины выскакивает большая собака, выскакивает и начинает лаять, и лай у нее какой-то дребезжащий, словно это из пустого треснувшего кувшина кричит на нас собачьим голосом чье-то давнишнее несчастье.

Бирам поднимается по нескольким земляным ступенькам и скрывается в хижине, в черной дыре, которая у нее вместо двери. Собаке надоело лаять, и она стоит и молча смотрит на меня.

А я, вспоминая, как трудно досталась мне эта поездка, со страхом в душе думаю о том, какой же все-таки он, этот столетний старик, из-за которого я сюда приехал? Что даст эта моя встреча с ним для языковедения и что ему скажет обо мне этот Бирам, который так долго не появляется? Может быть, мне лучше было бы пойти вместе с ним? Но вот и Бирам. Только сейчас, когда он спускается ко мне по ступенькам, замечаю, как сильно он хромает.

— Зауркан дома. Лег отдохнуть, сейчас встанет и встретит тебя,— говорит он, и я чувствую по его голосу, что он рад за меня.

Мы поднимаемся по земляным ступенькам, теперь уже вместе, вдвоем, и останавливаемся перед хижинкой.

Двором это назвать нельзя, но все-таки перед хижинкой есть небольшая земляная терраса, и на ней растут четыре низких старых и, наверно, крепких дерева. Под одним из них стоит скамейка, и мы с Бирамом присаживаемся на нее и закуриваем.

— Обещал, что встанет и встретит тебя,— повторяет Бирам и, словно заранее оправдываясь передо мной, добавляет: — Он бывает иногда очень сердитый, но разве можно обвинить в этом такого старого человека, у которого нигде вокруг нет ни одного ровесника? Я сказал ему, что принес то, что он велел, но он лежал и ничего не ответил. Он часто ничего не отвечает. Потом я сказал ему про тебя, что ты важный гость. Но он снова ничего не ответил, только когда я уже уходил, сказал мне вдогонку: «Сейчас встану» Я не стал ему говорить, зачем ты приехал, вдруг бы он рассердился. Лучше ты расскажи сам, когда он тебя встретит. Раз он тебя встретит, он тебя уже не выгонит. Я хорошо знаю его. Когда я был маленьким, он заменил мне отца и кормил меня, пока я не стал взрослым. Правда, он захотел жить отдельно, но мы с ним все равно остаемся как отец и сын, и кроме меня, у него никого нет. Я пойду, а ты оставайся. Прости, что я уйду,

но сейчас, к вечеру, как раз такое время, когда могут остановиться, захотят подковать лошадей, а ближе к ночи я приду сюда. Раз он встанет и встретит тебя, он пригласит тебя остаться, и ты сможешь здесь ночевать, а еду я принесу.

Я благодарю Бирама и говорю ему, что постараюсь отплатить ему за его добро.

— Потом поговорим,— останавливает меня он.— Только ничего не предлагай Зауркану, ни денег, ничего, он считает, что гость — это священный человек, а мы с тобой потом договоримся.

Я остаюсь один, вернее, вдвоем с собакой. Оба молчим и ждем. Она — лежа, я — сидя. Смотрю на открытую дверь — все-таки это не дыра, а дверь, открытая внутрь,— и жду, когда же наконец он появится, этот неизвестный хозяин, обещавший встать и встретить меня. Сколько лет он живет здесь? И всегда ли один? И почему и как судьба соединила его с Бирамом? И почему он живет отдельно? И почему живой человек выбрал себе это похожее на могилу жилище?

Изнутри, из хижины, доносится глубокий, глухой кашель, но проходит еще несколько минут, прежде чем Зауркан показывается в дверях. Он очень высокий и широкий в плечах, его длинное лицо кажется еще длинней из-за доходящей до середины груди длинной белой бороды. На нем и похожая, и не похожая на халат, длинная, ниже колен, белая, просторная одежда с широкими рукавами. В правой руке посох, тяжелый, с тяжелым железным наконечником. Он долго не двигаясь стоит в дверях и пристально смотрит на меня. Собака ласково тычется ему в ноги, но он, молча отстранив ее ногой, наконец делает несколько шагов навстречу мне. Шаги у него легкие, он продолжает держаться прямо не только когда стоит неподвижно, но и когда ходит.

— Добро пожаловать! — говорит он мне по-турецки, останавливаясь и поднимая к груди правую руку.

— Добрый день,— отвечаю я по-турецки.

Только теперь, когда он стоит близко, я понимаю, какого он огромного роста, и вижу смотрящие на меня оттуда, сверху, небесно-синие, несколько не выцветшие глаза. Потом ему надоедает смотреть на меня сверху вниз, он медленно, потому что гнуться ему, наверное, труднее, чем стоять, опускается на обрубок толстого столетнего дерева и, пока садится, успевает показать мне рукой на ту лавку, где мы сидели с Бирамом. Я повинуюсь ему и тоже сажусь. Он ставит посох рядом с собой, с силой воткнув его наконечник в землю, и достает из кармана янтарные четки.

— Небывалая жара стояла сегодня. Вон даже ветка отсохла,— и он показывает мне какую-то ветку на дереве, которую я так и не вижу.

— Да, было очень жарко,— отвечаю я.

Он долго молчит, и я слышу только пощелкивание четок.

«С чего начать? — думаю я.— С самого главного? С того, из-за чего приехал, или с чего-то другого?» И, так и не решив, неожиданно для себя спрашиваю:

— Сколько вам лет?

Зауркан улыбается:

— Наверное, тебя привел ко мне мой возраст? Ничего другого, интереснее, у меня уже нет. Если я верно считаю, то мне как раз сто.

— Вы родились здесь? — спрашиваю я, зная, что если он скажет «да», значит, все было напрасно.

— Нет,— отвечает он.— Я родился очень далеко отсюда.

Я жду, что он скажет что-то еще о себе, но он ничего не говорит, с минуту молча перебирает четки и вдруг, остановившись, спрашивает у меня:

— А кто ты? И откуда приехал?

И я, глядя ему в глаза, решаю, что с этим стариком надо с первых же слов все начистоту. Будь что будет!

— Я издалека. Из другого государства. Из Советского Союза.

— Как? — переспрашивает он, поднося ладонь к уху.

— Советский Союз. Россия. Кавказ. Абхазия,— я одно за другим говорю эти слова, стараясь произносить их именно так, как их произносят в Турции, надеясь, что он поймет хоть какое-нибудь из них.

И он понимает и повторяет:

— Кавказ. Абхазия.

— Да, я с Кавказа, из Абхазии.— Я говорю громко, я хочу, чтоб он как следует услышал меня.

— А из какого ты народа? — спрашивает он поспешно, так, словно я могу ему не ответить, и даже подается мне навстречу.

— Я абхазец, я из Абхазии приехал.

— Ты абхазец? О аллах всемогущий, что я слышу! — Старик произносит эти слова на чистом абхазском языке, ошеломленно подняв руки к небу.

— Да, я абхазец, я приехал из Абхазии,— еще раз повторяю я, но теперь уже не по-турецки, а по-абхазски.

— О, какую радость принес ты мне! Сколько лет я не видел ни одного абхазца. Сколько лет думал, что скорей мертвецы воскреснут, чем я еще раз услышу абхазскую речь.

Говоря это, старик приподнимается с обрубка и, потянув меня к себе, поочередно целует мои глаза.

— Знай, что я не чужой тебе по крови. Моя несчастная мать была абхазкой, из рода Шат-Ипа, из Цебельды. Как твое имя?

Я называю ему свое имя, и он, продолжая еще держать руки на моих плечах, вдруг замечает на одной из них четки и, словно они ему уже не понадобятся, засовывает их в карман и так потом ни разу и не вынимает их все дни, пока я у него гощу.

— Садись, садись,— говорит он мне,— тебе не положено стоять. Я стар, но ты мой дядя, и по обычаю старшинство за тобой*. По старинным абхазским понятиям, всех родственников и однофамильцев своей матери сын считал и называл своими дядями. Они, независимо от их возраста, как родственники матери, были для него старшими. Это обыкновенно переносилось и более широко на мужчин, сородичей, соплеменников матери, если она происходила из другого народа. (Примеч. автора.) — Он усаживает меня, а я его.— Если я сегодня умру и окажусь в раю, где меня ждет весь мой народ,— говорит он, пытаюсь снова встать, хотя я удерживаю его за плечи,— я расскажу им там, что здесь, на земле, еще живут абхазцы.

Старик никак не может успокоиться, и мне передается его волнение. Он то присаживается, то встает, то уходит в хижину, то снова возвращается во двор, рассеянно бродит от одного дерева к другому, пробует их руками, словно проверяя, на месте ли они, не сон ли все это. Потом, потрогав деревья, снова подходит ко мне, раз за разом повторяя все одно и то же, говоря это кому-то отсутствующему здесь, но для него, очевидно, присутствующему:

— У меня сегодня большой гость. Он приехал ко мне оттуда, где я родился, он приехал, чтобы увидеть меня. Я живу далеко, но он приехал узнать, как я живу!

Все это говорится не мне, а кому-то другому, но потом он снова вспоминает про меня и опять усаживает меня своими неправдоподобно сильными в такие годы руками.

— Садись, дад* Дад — ласкательное обращение, ближе всего соответствующее, пожалуй, такому русскому обращению, как «мой дорогой». Шарах, садись, ты дядя, ты не должен стоять. Да, да, убыхи знали, как принимать гостей,— говорит он, снова усадив меня.— Но кто это сделает

теперь, кроме меня? А что могу сделать я, один, чтобы достойно принять такого гостя, как ты?

Старик, говоря все это, беспрестанно движется по двору, то обращаясь ко мне, то к самому себе, и минутами начинает казаться мне сумасшедшим или почти сумасшедшим.

Уже в полной темноте он уходит в дом и разжигает огонь в очаге. Отсветы пламени вырываются через открытую дверь наружу. Наконец он выходит, приглашает меня внутрь, сажает у очага и сейчас же снова уходит. Я осматриваюсь. У очага несколько низких скамеек, у стены застеленные ватным одеялом нары, перед ними на полу старые домашние чучьяки. Дверь, ведущая во вторую комнату. Везде порядок и чистота. Значит, кто-то заботится о старике. Но кто?

Он возвращается с охапкой хвороста, половину его бросает в огонь.

— Вот так, мой дорогой Шарах, вот так,— говорит старик, придерживая меня за плечо, чтоб я не встал.—Смотри на этот огонь, на этот очаг последнего из убыхов. Как хорошо, что я не забыл абхазский язык, а если все-таки забуду какое-то слово, прости меня. Слава аллаху, моя несчастная мать научила меня своему языку, и в моих ушах до сих пор остался ее голос.

Уже усадив меня к огню, он все еще не может успокоиться, опять то выходит из дома, то снова входит, то забывая, то снова вспоминая обо мне. Наконец уходит в соседнюю комнату и минут десять не показывается. Мне хочется вынуть из чемодана блокнот и карандаш, но я не решаюсь сделать это в его отсутствие, не успев объяснить ему, зачем я приехал. Он сказал про себя, что он последний убых, и это похоже на правду. За два месяца своих скитаний по Турции и Сирии я, кроме этого столетнего старика, еще ни разу не встретил человека, который сам назвал бы себя убыхом. И только о нем, об этом столетнем Зауркане Золаке, я впервые за все время услышал от других людей, что, кажется, он убых.

Но вот наконец из второй комнаты появляется и он сам, почти неузнаваемый, сделавшийся еще выше ростом. Теперь на нем старая черная черкеска, на голове высокая папаха, на тонком кавказском поясе с потемневшим серебром — старинный кинжал, серебряный, тоже в потемневшей оправе и с большою черной, удобной для боя рукоятью. В руках у старика медная труба, длиною почти в метр, и он сразу же, не присаживаясь, начинает рассказывать мне про эту трубу:

— Соулах, самый старший из нас, оставшихся в этом краю убыхов, перед смертью отдал мне этот пояс с кинжалом и эту трубу. Пояс с кинжалом были его, а труба принадлежала нашему народу. Сегодня она у меня, а когда я умру, кто знает, чья она будет. Когда мы жили на Кавказе, у моего отца была почти такая же, и когда к нам приезжали из Цебельды братья моей матери, отец этой трубой собирал соседей и родственников. Услышав ее, все знали, что к Хамирзе приехали гости. Так пусть же она протрубит и в

эту ночь, пусть все убыхи узнают, что у меня в гостях приехавший издалека близкий человек, мой дядя по матери! Пусть все узнают и придут на пир!

Ничего не добавив, старик выходит из хижины с трубой в руках. Я в недоумении выхожу вслед за ним. Миновав все четыре растущих перед хижинной дерева, он останавливается над обрывом и начинает трубить.

И я впервые в жизни слышу звуки этой трубы, одновременно и страшные, и жалобные, похожие на крик раненого зверя. Эти звуки то поднимаются высоко, как дым над крышей, то, унесенные ветром, жалобно умирают где-то вдаль. И я слушаю их и думаю: почему бы этой трубе не закричать еще громче и еще жалобнее, так, чтобы заплакали все, кто ее услышит. И почему бы всем, кто ее услышит, не обнажить головы, вспоминая ушедший из истории народ. Трубит последняя труба убыхов, и беда не в том, что трубящему в нее столетнему старику уже никогда не стать снова ни ребенком, ни юношей, ни воином. Беда в том, что ими уже не станет и никто другой, потому что самый последний убых — это он!

Я с горечью думаю об этом, а труба трубит, трубит и наконец перестает трубить, и мы с Заурканом возвращаемся в его хижину и садимся с двух сторон у очага. Последняя труба убыхов замолкла, а последний очаг пока еще горит. И, глядя на сидящего напротив меня последнего убыха, на изрезавшие его лицо глубокие морщины, на его большие руки, лежащие на сильных коленях, на его широкие плечи и, как лицо, изрезанную морщинами, но еще крепкую шею, я думаю о том, каким богатырем был он в молодости.

— Я понял тебя, что ты приехал издалека,— говорит Зауркан, немножко медля между словами, словно с отвычки вспоминая их одно за другим.— Я понял, что ты приехал по делу. Я понял, что ты будешь спрашивать меня, а я буду тебе отвечать, но прошу тебя, сегодня отдохни и попробуй мой хлеб.

Едва старик успевает договорить, как на пороге бесшумно появляется Бирам, и наша абхазская, с детства вьезшаяся в меня, наверно на всю жизнь, привычка поднимает меня со скамейки навстречу вошедшему.

— Садись, дад, садись, он не понимает таких вещей,— говорит мне Зауркан, кивнув на Бирама.

А тот, не сказав ни слова, сразу же начинает развязывать принесенный с собой узелок и раскладывает на столе вынутые оттуда кушанья. Иногда он нагибается к Зауркану и говорит ему что-то по-турецки, почти неслышным мне шепотом: наверное, советуется со стариком об ужине.

Пока Бирам хлопочет, старик сидит неподвижно, поглаживая доходящую до середины груди белую бороду, и пристально смотрит мне в глаза. Сидит близко от меня, а смотрит словно бы издалека, и в его далеком взгляде одновременно и доброта, и тяжесть. Потом он отводит взгляд от меня и, глядя в распахнутую наружу, в темноту двора дверь, говорит громко и

весело, как о чем-то действительно, в самом деле происходящем сейчас там, за дверью:

— Да, недаром трубила труба, дад Шарах, вот уже все соседи и родственники собрались на ее зов, и каждый делает свое дело: одни зарезали козлят и жарят их над огнем, а другие закололи быка, сложили в большой котел мясо и развели под ним огонь, а третьи уже начали варить мамалыгу. Молодые тоже заняты делом. Сейчас придут сюда наши убыхские старейшины, чтобы приветствовать тебя, моего дорогого гостя, приехавшего из страны моей матери. Сейчас ты увидишь их в черкесках с газырями, с кривыми шашками и отменными кинжалами на поясах. Мы уже давно договорились с ними: в чьем дворе вдруг окажется гость с Кавказа, так мы и должны сразу же все собраться!

Я слушаю его и несколько раз молча оглядываюсь на Бирама, продолжающего спокойно накрывать на стол, то ли не понимая абхазской речи старика, то ли уже не впервые слушая это.

Зауркан поднимается, достав из очага горящую ветку, зажигает от нее свечу и ставит ее на краю стола, накрытого Бирамом. Потом выходит на середину комнаты и, подбоченясь, весело приказывает:

— А ну, молодые люди, скажите девушкам, пусть несут кувшины и тазы. Гостям уже пора помыть руки перед началом трапезы.

И он выходит из дому, чуть-чуть посторонившись в дверях, так, словно пропускает в дом кого-то мимо себя.

На дворе темно и тихо. На безоблачном небе горят неподвижные звезды.

— Высокочтимые Сит, Даут, Соулах, Татластан, Зосхан, Ахмет, помойте руки и пригласите нашего гостя к столу. Все готово,— говорит Зауркан довольно громко, при каждом имени чуть-чуть поворачивая лицо так, словно все, к кому он обращается, стоят вокруг него.

Потом он делает несколько шагов, подходит к старому дереву и, обхватив рукою ствол, нагибается к кому-то невысокому, невидимо стоящему под деревом:

— Моя дорогая мать, почему ты так грустна сегодня? Подойди поближе и обними как сестра нашего гостя. Ведь он из твоей родной Абхазии. Я ведь помню, как ты тайком от нас горько плакала и причитала по-абхазски о своих оставленных братьях. Пусть он не твой кровный брат, но он все же абхазец. Поговори с ним, может быть, он что-нибудь знает о твоих братьях.

Зауркан разгибается. То, что он говорит теперь, он говорит человеку одинакового или почти одинакового с ним роста:

— Отец, я надеялся тебя обрадовать. Я помню, как, если к нам приезжал абхазец, молодой или старый, ты всегда угощал его, и приглашал соседей, и провожал его потом до реки Мзымты. Сегодня у нас в гостях Шарах Квадзба, он молод, но позор нам, если мы не сумеем его принять как положено. Наверное, он шел сюда издалека, чтобы узнать, что с нами случилось, почему мы, убыхи, исчезли с лица земли.

Зауркан возвращается к дому и, остановившись у самого порога, возвышает голос:

— Тех, кто уже помыл руки, приглашаю к столу вместе с нашим дорогим гостем.

Он вдруг переходит с абхазского языка на убыхский; я теоретически изучал его, но еще никогда не слышал и от своего малого знания и от неожиданности не понимаю того, что он говорит. Улавливаю только отдельные слова и общий их тон. Сейчас Зауркан уже не приглашает, а убеждает кого-то и даже приказывает — это чувствуется по его голосу.

Мы стоим под неподвижными звездами на черном небе, и рядом со мной на земле — столетний человек разговаривает с не могущими ему ответить мертвецами. Под ним земля, на которой он стоит, над ним общее для всех небо, и я, слушая его непонятную речь, думаю о том, что и эта земля, и это небо, наверно, все-таки несправедливо поступили с убыхами.

Старик перестает говорить по-убыхски и жестом приглашает меня в дом.

Бирам на пороге встречает нас с кувшином и дает нам помыть руки.

— Вот и все, что нам бог дал сегодня,— говорит Зауркан, когда мы садимся с ним за низенький стол.

Я вижу, что все стоящее и лежащее на столе, кроме черека, все другое, чем у нас на Кавказе. Я уже не раз за поездку пробовал эти турецкие блюда, поставленные сейчас на стол Бирамом: и пакла чербасы — суп с фасолью, и бугли бугламу — приготовленные на пару котлеты.

Зауркан угощает меня, а Бирам, закрыв глаза, сидит вдали от стола в углу так тихо, словно заснул там.

В очаге догорают угли, на столе коптит тонкая, неяркая свечка. Я в этой полутьме начинаю чувствовать себя странно, словно сам одновременно и верю и не верю тому, что со мной происходит.

Зауркан сидит напротив меня, не спеша ест и время от времени недовольно, так, словно его кто-то не слушается, поглядывает мимо меня все в одну и ту же сторону. Потом вдруг, упершись в колени ладонями, медленно привстает и окликает кого-то:

— Нарчоу, эй, Нарчоу, все ли, кому положено сесть, сели? Всем ли налили вино? Всюду ли стоит на столах вареное мясо? Прошу тебя быть внимательным, Нарчоу, и когда подойдет время, я думаю, ты знаешь, кому положить вареную лопатку? — Зауркан поднимается во весь рост. — А теперь, дорогой гость и дорогие соседи, хотя я не обладаю никакими достоинствами, кроме своего возраста, все-таки мне выпала честь начать этот стол. Да ниспошлет бог всем вам счастье и здоровье. Сегодня у нас с вами такой почетный гость, наверно, в наш дом уже никогда не зайдет никто дороже его! Он мой дядя, он брат моей матери, он достоин гораздо большего, чем мы могли поставить на этот бедный стол. Но все, что на нем стоит, приготовлено от чистого сердца.

Зауркан стоит над столом с поднятой головой. Его правая рука сжата так, словно он обнимает пальцами стакан с вином. Он глядит вдаль так, словно за столом, во главе которого он стоит, сидят сотни людей и он кончается где-то там, далеко в темноте, за пределами хижины.

Я смотрю на старика и почти верю ему — так убежденно и проникновенно говорит он с окружающей пустотой. Я на минуту забываю все: и эту страну, в которую я приехал, и эту пустыню, через которую сюда добирался, и этот плешивый холм, на который карабкался, и эту хижину, в которой сижу. Я забываю все, и мне кажется, что я не здесь, а там, на Кавказе, и не сейчас, а сто лет тому назад, на многолюдном пиру убыхов. Я вижу дымящееся жареное мясо и мамалыгу, вино, льющееся из горлышек кувшинов. Я вижу незнакомые мне лица стариков, которых там, во дворе, называл по имени Зауркан. Кто сказал, что убыхи уже не существуют? Вот они сидят вокруг меня, я слышу их язык... И один из них, по предложению хозяина выбранный тамадой, поднимается над столом с заткнутыми за пояс полами черкески и пьет за мое здоровье, и вслед за ним, тоже поднявшись за столом, пьют за мое здоровье все остальные. И когда я прошу их, чтобы они не утруждали себя и сели — я недостоин того, чтобы они из-за меня вставали, — они не слушают меня и не садятся, а остаются стоять... Я закрываю глаза, чтобы продлить это странное мгновение, но вдруг наступившая тишина возвращает меня к действительности.

Зауркан, замолчав, опускается как подрубленный. Он сидит за столом напротив меня, устало прислонившись спиной к стене.

За столом снова только он и я, а в нескольких шагах от нас Бирам, теперь открывший глаза и равнодушно глядящий на нас обоих, словно этого не было, словно старик не вставал и не говорил всего, что он только что сказал.

«Что он в самом деле? Почему так равнодушен ко всему? — думаю я о Бираме. — Или он действительно спал до последней секунды и не слышал, или то, что меня так потрясло, давно уже надоело ему, потому что повторяется уже не первый раз?»

Зауркан устало молчит. Молчит и пять, и десять минут, пока Бирам варит на углях очага кофе и разливает его нам в чашки. Старик продолжает

молчать, пока мы пьем кофе, и только когда допиваем его, медленно поднимается и говорит мне:

— Дад Шарах, больше не буду беспокоить тебя этой ночью. Ты устал с дороги, ложись и отдохни.

Он показывает мне рукой на тот топчан с ватным одеялом, который я заметил сразу же, как только вошел в комнату.

— Спокойной ночи,— говорит он, подходя к дверям и на прощанье наклоняя голову.— Я пойду посмотрю, как продолжается пир. Многие гости еще не встали из-за стола, да и мои соседи, которые помогали и прислуживали гостям, еще не успели ни поесть, ни выпить. Я должен о них позаботиться.

Он поднимает голову, берет свой прислоненный к стене посох и, уже не оглядываясь на меня, величественно выходит из хижины. А Бирам, кажется, спеша сделать это, пока старик не вернулся, показывает мне, где я могу лечь спать. Не здесь, в этой комнате, как показал мне старик, а в другой, в следующей.

В ту ночь я так и не заснул. Сначала, пока было еще темно, слышал, как старик все еще ходит и разговаривает сам с собой, то тихо, то громко, то снова тихо, то заходит в дом, то бродит по двору, то снова заходит. А когда рассвело и он утомился, лег спать, мне уже спать не захотелось, я вынул из чемодана блокнот и несколько часов подряд писал все, что запомнил, в особенности сказанное стариком за этот вечер и ночь, с первой и до последней минуты. Писал и тревожно думал, каким я его встречу утром, после того взрыва чувств, свидетелем которого я оказался. Придет ли он в себя, успокоится ли? Удастся ли мне с ним разговаривать?

Но опасения мои были напрасны.

Утром, усевшись под самым старым из четырех своих деревьев на самодельной скамейке, он сам начал с вопроса, что я хочу услышать от него.

И когда я объяснил ему, что, во-первых, хочу услышать от него историю его жизни, а во-вторых, чтобы он мне помог выучить тот убухский язык, на котором он говорит и которому меня не может уже научить никто другой, кроме него, он оба раза в ответ молча кивнул, соглашаясь помочь мне.

В тот день он казался очень усталым после вчерашнего, и я не торопил его. Но уже на следующий мы взяли с ним за дело с самого утра, и я, каждый день и утром, и вечером по несколько часов разговаривая с ним, прожил у него больше месяца, а точнее, тридцать четыре дня, ровно столько, сколько мне позволяла виза; чтобы попробовать ее продлить, причем с сомнительной надеждой на успех, мне нужно было проделать отсюда целое путешествие, и я не стал рисковать.

Бирам, с которым я тайком от старика сговорился о небольшой плате, приходил иногда один, но чаще два раза в день, приносил нам скромную еду, которой мы вполне обходились.

По утрам, до полудня, мы обычно сидели во дворе, старик под деревом на своей самодельной скамейке, а я с блокнотом в руках напротив него, на толстом обручке чинары.

Каждое утро до полудня Зауркан по моей просьбе говорил со мной по-убыхски, а я напряженно слушал его, записывал и переспрашивал. Последнюю неделю дело пошло легче, но в первые было трудно, потому что, несмотря на все свои институтские знания, живого убыхского языка я в общем-то не знал.

И мне еще улыбнулось счастье, что столетний старик, уехавший с Кавказа, когда ему было всего двадцать четыре года, не только не забыл своего родного языка, но не хуже его помнил еще и мой, абхазский, язык своей матери, и вдобавок за остальные три четверти столетия своей жизни научился свободно говорить и по-турецки, и по-арабски, так что в неясных для меня случаях мы, переходя с языка на язык, в конце концов все-таки докапывались до истинного значения того или другого непонятного для меня убыхского слова.

Близость убыхского языка к абхазскому теоретически не вызывала у меня сомнений еще в институте, но одно дело — теория и близость грамматического строя, а другое дело — пытаться овладеть живым языком, в теории близким, а в живой речи далеким и даже порой своим обманчивым сходством создающим дополнительные сложности. Да, в живой речи язык при всей моей теоретической подкованности приходилось, в сущности, учить наново, хотя в его словарном составе, особенно в древнейшем, было немало общих корней и для убыхского, и для абхазского. Огонь по-абхазски «а-мца», по-убыхски «а-мидзе». Луна по-абхазски «а-мза», по-убыхски «а-медзы», дождь по-абхазски «а-куа», по-убыхски «ак-ку», вода по-абхазски «а-дзы», по-убыхски «бзы», глаза по-абхазски «а-бла», по-убыхски «а-блия», соль по-абхазски «а-джика», по-убыхски «джи». В фонетике было много сходства, но были и отличия,— во всяком случае, я твердо установил два согласных звука, резко отличающихся в убыхском произношении от абхазского.

В последние дни я попробовал докопаться, имел ли убыхский язык разные диалекты, но мне не удалось установить это. За-уркан жил недалеко от устья реки Сочи, в местах, которые считались центром края убыхов, и отличались ли от говора его односельчан говоры убыхов, живших севернее, в сторону Туапсе, или выше в горах, он не знал, а может быть, и не помнил.

Иногда во время наших утренних разговоров Зауркан принимался расспрашивать меня про Абхазию, страну своей матери, и в таких случаях, начав по-убыхски, нетерпеливо, чтоб я лучше его понял, переходил на абхазский. Больше всего его интересовали родственники и однофамильцы

матери, и хотя я уже несколько раз отвечал ему, что в Цебельде, откуда происходила его мать, мне за несколько поездок туда еще ни разу не доводилось встречать людей из рода Шат-Ипа, он никак не хотел с этим примириться и снова допытывался:

— Ну хоть где-нибудь, хоть один, хоть какой-нибудь слепой, хромой, кривой из рода Шат-Ипа, хоть один-то, может быть, все-таки есть там, в Цебельде?

— Нет, в Цебельде нет сейчас людей с этой фамилией,— снова терпеливо повторял я,— хотя в других местах Абхазии люди с такой фамилией есть, есть и старые, неграмотные, есть и молодые, грамотные, есть среди тех и других и мои собственные знакомые.

Первый раз, когда я сказал ему это, он не заинтересовался, его интересовали только те Шат-Ипа, которые жили в Цебельде и были родственниками его матери. Но на следующий раз его все-таки заинтересовали и эти однофамильцы, жившие в других местах, и он расспрашивал меня, где и в каких селах, близко или далеко от моря они живут и как они живут.

Я пытался рассказывать ему и о тех переменах, которые произошли у нас в Абхазии, о городах и дорогах, железных и шоссейных, об осушении наших топких низменностей в приморской полосе, о борьбе с малярией, о больницах, о школах, в которых дети учатся на абхазском языке, и вообще о том, что такое Советская власть в нашей Абхазской автономной республике.

Хотя он старался слушать меня как можно внимательнее, я чувствовал, что все это слишком далеко от него. Между тем, что я рассказывал, и его собственной памятью о юности лежало слишком уж большое и, наверное, почти непреодолимое расстояние длиной в три четверти века.

По вечерам мы, в зависимости от погоды, иногда сидели там же под деревом, где и утром, а иногда в доме, и Зауркан рассказывал мне свою жизнь по-абхазски, пересыпая речь чаще всего турецкими, но иногда и арабскими словами. Абхазским языком, как я уже говорил, он владел совершенно свободно, но за три четверти века время прибавило к тому лексикону, которым он пользовался когда-то, сотни, если не тысячи новых слов, которых тогда не было в обиходе и которые он знал только по-турецки или по-арабски.

А иногда по этой же причине он недостаточно хорошо понимал и меня, когда я его спрашивал или переспрашивал. Это происходило почти всякий раз, когда я сам употреблял вошедшие в абхазский лексикон новые слова, и не только новые, а и старые, успевшие приобрести у нас за это время совершенно новые значения.

Записывать то, что он рассказывал мне о своей жизни, я, в общем, успевал, тем более что он довольно охотно повторял сказанное, если я его тут же переспрашивал, не успев записать. А бывало и так, что, не желая прерывать

его, я делал пометку в блокноте и еще раз, на следующий день, возвращался к тому, чего не успел записать или чего не уловил. И он снова повторял почти всегда в тех же самых словах рассказанное накануне.

По ночам, когда старик укладывался спать, я дописывал то, чего не успел записать во время беседы, а в некоторых случаях коротко, просто чтоб не забыть, делал рабочие заметки там, где по ходу рассказа уже заранее предвидел необходимость в будущих комментариях. Но главным, конечно, была запись самого рассказа Зауркана Золака — человека поистине неистребимой жизненной силы и такой же неистребимой памяти...

Когда мы были дома...

Напрасно говорят, дорогой Шарах, про человека, что он способен забыть язык, впитанный им вместе с материнским молоком. Нет, не способен, как я не способен забыть свою мать. Хотя я знаю несколько языков и знаю, как это нужно человеку. Я знал три языка, когда был еще молодым. Если глядеть на море, то справа от нас, убыхов, жили адыгейцы, а слева абхазцы. И я знаю не только абхазский, но и адыгейский, правда, немножко хуже, но знаю. Мы все были такие близкие соседи, что нам нельзя было не знать языки друг друга. Убыхский язык мой родной, я везде и повсюду слышал его с самого детства: и у нас дома, и вокруг дома, и всюду, где б я ни был. Как я могу забыть его? Абхазский я знал от матери, адыгейский хорошо знала бабушка, она рассказывала мне в детстве адыгейские сказки, и скороговорки, и загадки. Помню, как она идет со мной на мельницу, несет на голове бурдюк, полный зерна, а руки у нее свободны, она идет и сучит шерсть. И язык у бабушки тоже не остается без дела: рассказывает мне адыгейские сказки и прибаутки. Один раз, помню, она остановилась и показала на муравьев, переползавших куда-то, пересекая нашу тропинку.

— Смотри, они идут в поход. Можешь остановить их?

— Сейчас увидишь! — крикнул я и хотел наступить на муравьев, но бабушка не позволила:

— Хочешь показать, что ты сильнее муравьев? А вдруг нас с тобой встретят в лесу всадники с оружием и убьют нас или затопчут копытами. Разве можно убивать слабого только из-за того, что он слабый? Ведь иногда самый маленький и слабый бывает самый умный.

И бабушка рассказала мне сказку. Наша память как цедилка: одно проливается, а другое остается. Эта адыгейская сказка осталась, и я расскажу ее тебе.

Был когда-то один человек, который понимал все языки — и волчий, и заячий, и муравьиный. Однажды, идя по лесу, он нечаянно наступил на муравья, и муравей, рассердившись, крикнул:

— Какой это дурак идет, не глядя под ноги?

Услышав это, человек поймал муравья и, положив на ладонь, с удивлением стал рассматривать его:

— Какая у тебя большая голова!

— Это чтоб было куда прятать ум,— сказал муравей.

— А почему у тебя такая тонкая талия?

— А потому, что я живу не ради того, чтобы есть, а ем ради того, чтобы жить.

— Сколько же ты съедаешь за целый год?

— На один год мне хватит одного пшеничного зерна,— сказал муравей.

— Хорошо. Посмотрим, хватит ли тебе на год одного зерна,— сказал человек и посадил муравья в коробочку, бросив ему зерно пшеницы.

Через год, вспомнив о муравье, он открыл коробочку и с удивлением увидел, что муравей съел за год только ползерна.

— Почему ты съел только ползерна? — спросил человек.

— Потому что тот глупый человек, который без всякой вины бросил меня в эту темницу, мог вспомнить обо мне не через год, а через два, и я на всякий случай оставил ползерна,— ответил муравей.

Я люблю эту сказку, дорогой Шарах, но, наверно, уже лет двадцать не рассказывал ее, некому было. Наверно, я так хорошо помню ее, потому что сам на этой длинной дороге жизни много раз напоминал себе того маленького муравья. Правда, меня выручала из бед моя сила и выносливость, а не ум. И наверно, если бы у меня был такой же ум, как сила, вся моя жизнь была бы другой. Моя мать, как я уже говорил тебе, была абхазкой, из Цебельды, из рода Шат-Ипа. Не знаю, учила ли она меня абхазскому языку, просто я знал его с самого начала, как себя помню. Когда я был маленьким и потом, когда стал подростком, я иногда подолгу жил в Цебельде, у своих дядей. У них была большая гостеприимная семья, и если я гостил у них зимой, то часто слушал рассказы и песни знаменитых в Цебельде мастеров этого дела, охотно и приходивших, и приезжавших в дом моих родственников.

Здесь я слышал сказание об Абрскиле, боровшемся с самим богом, и сказание о древних богатырях — нартах. Помню, что, когда хотели кого-нибудь похвалить за то, как он хорошо рассказывает, сравнивали его с тем нартом, который своим красноречием заставил закипеть котел с водой. И историю про этого нарта тоже часто рассказывали. Я слышал ее несколько раз: как нары поспорили, кто из них самый красноречивый, и каждый, пока

говорил свою речь, подходил к котлу, но вода в нем продолжала оставаться холодной. И только когда заговорил самый красноречивый из них, то посредине его речи над водой в котле поднялся чуть заметный дымок, а когда он договорил все до конца, вода уже бурлила и кипела — так складно, так правдиво и так справедливо он говорил.

Больше всего в доме братьев моей матери ценились хлеб-соль, гостеприимство, а после него — красноречие.

Что-то я сегодня часто моргаю, наверно потому, что вспоминаю ушедших.

Все, что я знал в детстве, врезано в меня, как надпись в каменную могильную плиту. Идут года, а ни дождь, ни снег, ни ветер, ни песок не могут стереть ее.

Не удивляйся, Шерах, тому, что я помню языки своего детства. Я бы удивился самому себе, если бы забыл их.

А потом жизнь научила меня турецкому и арабскому, и я благодарен за это жизни. Она была тяжелой, но и такую, какой она была, я бы не прожил без этих двух языков. Они не сделали меня счастливым, но не дали умереть.

Ты сказал мне вчера, что ни в Турции, ни в Сирии, нигде в других местах не нашел больше ни одного человека, кроме меня, который говорил бы на языке убыхов. Еще ты сказал, что и там, на Кавказе, в стране убыхов, не осталось ни одного человека, говорящего на этом языке. Может быть, я тебя неправильно понял, но, кажется, ты хочешь сказать, что язык убыхов исчез, его больше нет. Но даже если ты прав, для меня это все равно неправда.

Скажи мне: ведь ты не раз, по твоим словам, бывал в стране убыхов, она рядом с вами, стоит лишь переехать реку Хосту и приблизиться к реке Сочи. Я не знаю, какая она сейчас, но тогда она была широкая. Скажи мне, разве, когда ты стоял над ней, она не разговаривала с тобой? Или разговаривала, а ты не понял ее языка? Раз она течет, она говорит. И перестанет говорить только тогда, когда в ее русле не останется ни капли воды.

Наверно, когда ты ходил по стране убыхов, ты не мог не заметить там наше святое место, где хранилась наша всемогущая Бытха, которую одни из нас называли святыней, а другие иконой. Под высоким холмом расстилалась зеленая поляна, а на холме стояло семь огромных дубов, охраняя своей тенью нашу святыню. Их ветви задевали за ветви, их листья шурша говорили друг с другом. Разве когда ты стоял там, ты не слышал, как они говорят между собой на нашем языке? И разве ты не видел на стволах дубов бесчисленные шрамы, оставшиеся от горящих свечей, которые прикрепляли к ним каждой весной приходившие поклониться Бытхе люди?

Когда я жил там у себя, в стране убыхов, я много раз слышал от старых людей о том, что святыня в начале лета исчезает из этого священного места, вдруг раздаются раскаты грома, и она, взлетев в небо, вся в огненных

искрах, улетает до конца лета высоко в горы, а потом снова возвращается к себе.

Я помню, как в тот год, когда мы переселились в Турцию, не летом, как всегда, а в середине зимы, чего никогда раньше не бывало, в морозный вечер при ясном небе вдруг с той стороны, где была наша святыня, раздался гром и несколько минут продолжался не затихая, и мы все, старые и молодые, все выбежали, не понимая, что случилось, и вдруг увидели, как по небу летит наша святыня, разбрасывая вокруг себя искры.

Никогда еще до этого ни один убых не видел ни чтобы она улетала из своего святилища, ни чтобы она возвращалась в него вот так — не летом, а посередине зимы.

Все поняли, что это предвещает нам несчастье.

Видел ли ты под теми семью дубами никогда не высыхающий источник со священной для нас водой? Если видел и стоял над ним, неужели ты не слышал его голоса?

Еще хочу спросить тебя, был ли ты в Мацесте. Там, где течет огненная вода? Где земля проливает горячие слезы? Неужели эта огненная вода, вырываясь из-под земли, ничего тебе не сказала?

Но если даже ты не заметил и не услышал ничего другого, ты ведь не мог не видеть моря, омывающего нашу страну. Разве оно не разговаривало с тобой? Разве оно тебе ничего не сказало?

А могилы наших предков с камнями у изголовья? Это неправда, что камни молчат, они тоже способны заговорить с тобой, если у тебя не отсохла память, если ты способен прислушаться к тишине.

А песни тех птиц, которые живут там и не живут здесь? Их язык ты тоже не слышал?

Нет, мой дорогой Шарах, язык не может умереть так просто, как тебе кажется, потому что он живет не только на кончике языка человека, но и внутри него, и не только внутри него, но и внутри воды, земли и камня. Я верю, что там, в земле убыхов, ветка с веткой, камень с камнем и ручей с ручьем и сейчас еще продолжают говорить на том языке, на котором говорю я!

И мой отец, и мой дед были крестьянами. Дед умер раньше, чем я родился, и мне рассказывали, что он был пастухом, пас скот у дворянина и этим кормил семью. А мой отец Хамирза стал земледельцем, выращивал просо и кукурузу и так много работал с утра до вечера, что я помню его лежащим, когда я просыпался среди ночи, но сидящим среди дня я его не помню.

Сначала у отца и матери родилась моя старшая сестра Айша, вслед за ней я, вслед за мной мой младший брат Мата, а потом две младшие мои сестры, Джуна и Куна. Они родились обе сразу и были двойняшками.

Мы до самого переселения в Турцию жили все вместе, только Айша жила в соседнем селе, потому что вышла там замуж за крестьянина по имени Гарун.

У нас было несколько ульев, и мы каждую осень продавали немного кукурузы и почти весь мед и воск. Вместо этого покупали себе соль, мыло, а главное, порох.

Когда бывала засуха или, наоборот, сильные дожди и урожай получался плохой, мы с отцом, оставив младшего брата дома, уходили по реке Сочи вверх по течению рубить самшит. Дороги не было, и мы, нарубив самшита, тянули его вниз волоком на волах и, дотащив до берега, продавали приплывшим туда турецким купцам. Они платили мало, и при этом нам приходилось еще самим платить Шардыну, сыну Алоу, за эти порубки в принадлежащем ему самшитовом ущелье.

Правда, мы ему платили немного, меньше, чем пришлось бы платить кому-нибудь другому, и на это была своя причина: у нас, в стране убухов, так же как у тебя в Абхазии, издавна существовал обычай, который мы считали почетным, — брать аталыков. Мы, крестьяне, брали к себе домой на воспитание детей из дворянского рода. Иногда крестьяне договаривались об этом еще заранее, еще до рождения ребенка, посылали гонцами к отцу будущего своего воспитанника самых почетных людей деревни и через них просили у дворянина дать возможность дотронуться до его подола — это значило породниться с ним.

Если дворянин отправлял к ним на воспитание сына и был при этом богатым и могущественным, то они смотрели на него как на своего покровителя и надеялись на его помощь.

Однако дворяне были в таких делах очень разборчивы. Они не отдавали своих детей на воспитание кому попало и выбирали и взвешивали, с каким крестьянским родом им выгоднее вступить в родство, кто им окажется более полезен и на чью поддержку, если понадобится, можно прочнее опереться.

Вот таким родственником нашей семьи и был дворянин Шардын, сын Алоу, воспитанник моей бабушки. В его роще мы рубили самшит и за это платили ему меньше, чем платили бы другому. А бывало, что и просто посылали подарки.

А Шардын, сын Алоу, считался молочным братом не только в нашей семье, он считался молочным братом всего нашего рода Золак, и все члены нашего рода, если б это понадобилось, должны были встать на его защиту.

Шардын, сын Алоу, как и все наши убыхские дворяне, жил в хорошем, крепком доме, построенном из каштана, из отборного дерева — доска к доске. У него была земля, и леса, и пастбища, и распаханые поля. Жители нашей деревни пасли на его пастбищах и свой, и его скот и сообща пахали, сеяли, а потом убирали урожай с его полей. И виноград тоже собирали для него, выжимали вино не только себе, но и ему.

Помню, как в праздники весь наш род приносил ему подарки: козленка, или барашка, или молодого бычка. Несли ему и орехи, и мед, и вино — кто что мог.

Шардын, сын Алоу, остался в моей памяти воином. Во дворе у него днем и ночью стоял наготове оседланный конь, и оружие тоже было всегда наготове. И я не могу вспомнить, занимался ли он чем-нибудь еще, кроме войны, грабежей и набегов.

Иногда после набегов, если они были удачные, он ехал на берег моря и продавал там рабов купцам, приходившим на турецких кораблях и фелюгах.

Но несколько рабов всегда оставалось у него в доме слугами: раз он их взял в плен, они были его собственностью, он мог их и продать, и убить, и вернуть за выкуп.

Когда у нас бывали распри между соседями или дворянскими родами — они бывали часто, — Шардын, сын Алоу, ездил на общие сходы, где разбирались эти распри, и мужчины из нашего рода всегда сопровождали его туда, чтоб защитить его, если будет опасность, или отомстить, если его убьют.

Сопровождающие менялись: один раз ехал один, другой раз — другой. Мой отец Хамирза, как его молочный брат, ездил вслед за Шардыном, сыном Алоу, всюду, куда бы тот ни поехал. Я слышал, что в старину, во времена абхазского царства, наш край убыхов считался частью Абхазии, но в мое время это было уже не так. Мы не зависели от Абхазии, и своего владетельного князя у нас тоже не было. Среди дворянских родов было несколько самых сильных, и они хотя и спорили между собой из-за власти, все-таки все вместе правили нашей страной убыхов. Но об этом я лучше расскажу тебе потом, когда буду рассказывать о нашем несчастье.

Мой отец Хамирза был добрым и справедливым человеком. Когда в деревне возникали споры, к нему нередко обращались, чтобы он спокойно и по справедливости рассудил спорящих. Но на войне и в набегах он был воином смелым и беспощадным и выше всего ценил в людях отвагу.

Меня и брата он еще в детстве учил владеть шашкой, метко стрелять и безбоязненно вскакивать на коня.

Зимой мы ходили в горы на охоту, и стреляли, и ставили капканы, а если выпадал большой снег, то ходили на охоту на лыжах, умели и это.

Море было недалеко, и отец брал нас с собою и туда. Мы умели и плавать, и грести, и ставить паруса.

Убыхи выходили на своих лодках иногда на рыбную ловлю, а иногда и за другой добычей — высаживались для грабежей на берегах Абхазии или грабили фелюги турецких купцов, не успевших уйти в открытое море.

Моя мать Наси после рождения младших сестер-двойняшек часто болела, но все равно, как и в молодости, по-прежнему ничего не боялась и ездила в Цебельду навещать своих родных без провожатых: одна, верхом, вооруженная, взяв с собой только меня, еще мальчика. Я и сейчас, когда закрываю глаза, вижу ее еще молодую. Она была высокая и очень стройная, а косы каштанового цвета доходили ей почти до пяток.

Мы жили бедно, в нужде и заботах, и все-таки я вспоминаю то время как счастливое для моей семьи. Хотя, может быть, оно мне кажется таким счастливым еще и оттого, что впереди нас ждала такая страшная судьба.

Сейчас мне кажется, что детство — самая короткая пора на свете: еще вчера мы с братом считались детьми, и вот мы уже не дети, а воины, самые молодые среди других, но уже обязанные идти в поход вместе со всеми.

Три раза я вместе с отцом, братом и другими мужчинами из нашей деревни участвовал в набегах. Первый набег был короткий, мы отправились в него на юг, в Абхазию, а второй и третий были длиннее, на север, далеко через горы. Эти набеги на север уже были в то время, когда русский царь пошел войной на убыхов.

Война шла не год и не два, а гораздо дольше, уже не вспомню сколько, но хорошо помню, как зиму несколько раз сменяло лето, а война все шла и шла, и к концу ее, кроме больных и стариков, в ней участвовали поголовно все мужчины. И особенно тяжело было летом, когда, даже работая в поле, надо было держать при себе и оружие, и запас еды на несколько дней пути, чтобы по первой тревоге, по первому зову явиться готовым на место сбора. Да, дорогой Шарах, это было такое черное время, что, наверное, самая сильная лошадь не смогла бы переплыть ту реку крови, которую мы пролили тогда. Но сколько бы ее ни было пролито, она все равно не принесла убыхам ничего, кроме несчастья, а ведь самая горькая кровь — это та, которая пролита напрасно.

Мы еще не представляли себе тогда ни силы русского царя, ни числа его солдат и еще не понимали истинных намерений турецкого султана, который подстрекал нас на эту войну с самого ее начала. Ах, дад Шарах, когда плакальщицы кричат и до крови раздирают себе лицо и грудь над гробом, от этого становится легче только родственникам. А мертвому это все равно уже не поможет. Не так ли и с моим рассказом?

И отец, и брат, и я взялись за оружие и больше уже не выпускали его из рук до конца.

Надо сказать правду, у нас, в стране убыхов, никогда не было спокойствия: грабежи и набеги, продажа рабов за море, в Турцию, вражда между родами, с соседними племенами, похищение женщин и кровная месть — все это было, и нам казалось, что и не могло быть иначе. Но когда в опасности оказалась вся страна убыхов, мы забыли обо всем, кроме этой опасности.

Убыхи издавна умели защищать себя от всех, кто посягал на их свободу,— были ли это их соседи или пришельцы издалека, греки или римляне, арабы или турки. Об одних войнах сохранились только предания, о других помнили старики, но никто не помнил, с каких времен каждое поколение мужчин воспитывалось как поколение воинов. Мы просто не представляли себе, что могло быть как-нибудь иначе и что кто-нибудь, способный держать в руках оружие, может отказаться от этого. А когда среди нас, убыхов, появлялись такие уроды, то мы их лишали имени и изгоняли из страны.

Всегда, даже летом, в самое горячее время года, каждая семья обязана была по первому сигналу собрать в поход одного воина. Десять мужчин избирали из своей среды десятника, десятники из своей среды сотника, а сотники — тысячника. Когда в поход шло несколько тысяч человек, то выбирали общего предводителя, такого, кто не раз видел блеск шашек, был опытен, терпелив и храбр. После того как он бывал выбран, его приказания становились законом для всех воинов, кто бы они ни были — крестьяне или дворяне. Готовясь к походу, он назначал и срок, и место сбора. Он же назначал, сколько ему нужно пеших и сколько конных воинов. Все без исключения, кроме самого предводителя, должны были нести на себе или везти с собой все необходимые для похода запасы: тесто с медом, копченое мясо и копченый сыр, красную и белую соль. Каждый должен был взять с собой по две пары чуваков из сыромятной кожи, шерстяные ноговицы и бурку. А некоторым назначалось, кроме всего этого, брать с собой еще пилы, топоры, лопаты, веревки на случай, если понадобится перебрасывать через реки мосты и в холодное время рубить шалаши для ночлега.

Перед выступлением в поход трубили в медную трубу, такую, какую ты видишь у меня...

Хаджи Берзек Керантух

Хаджи Берзек, сын Адагвы, был предводителем убыхов целых двадцать лет. Он выходил победителем из многих кровавых схваток, и когда генералы русского царя так и не сумели взять его силой, они решили покончить с ним хитростью: объявили, что подарят тысячу рублей серебром тому, кто принесет им голову непокорного предводителя убыхов.

Однако счастье ему сопутствовало: ни одного изменника так и не нашлось. И в конце концов он сложил с себя обязанности руководителя по собственной воле.

Я так и не знаю истинной причины этого: может, преклонный возраст, а может, ход событий увлекал народ убыхов все дальше по пути, который старый и опытный воин считал слишком опасным, но не имел сил препятствовать этому, но, так или иначе, он вдруг отстранился от дел, сложил с себя обязанности военного предводителя, удалился к себе домой и вскоре умер. Это случилось на следующий год после окончания большой войны русских с турками. Место предводителя занял его племянник Хаджи Берзек Керантух.

Многие были недовольны заменой, считали ее не самой лучшей. Но шла война, времени на то, чтобы спорить и колебаться, не было, а на этом человеке все-таки лежал отблеск славы его родственника.

Но вскоре после того как Хаджи Берзек Керантух стал во главе народа убыхов, многим показалось, что выбор все-таки был верным. Взяв власть в свои руки, Хаджи Керантух проявил и твердость, и храбрость, хотя раньше о нем поговаривали, что он способен шататься, как гнилой зуб во рту, туда-сюда, и для таких суждений о нем были свои причины. Незадолго до начала большой войны он помирился с генералами царя, даже получил от них военный чин и жалованье, которое ему платили серебряными рублями, и потом несколько лет, пока его дядя сражался во главе убыхов с генералами царя, он сидел у себя дома на ковре и играл в нарды.

Не знаю, мой дорогой Шарах, как сложилась бы судьба народа убыхов, если бы не эта Крымская война. Когда во время войны русская армия отступила с абхазского и с нашего побережья, великий визирь Омар-паша высадился с войсками в Сухуми. В наших селениях появились муллы, пришедшие через горы из Дагестана и приплывшие вместе с турками, и все они в один голос говорили, что русские разбиты и больше никогда не покажутся в наших местах.

— А мы пришли к вам навсегда,— говорили они,— чтобы водрузить на вершинах ваших гор священное знамя великого султана, наместника аллаха на земле.

Вот тогда-то и качнулся наш Хаджи Керантух от царя к султану, сорвал с черкески погоны и перестал брать серебряные рубли.

В войне царя с султаном владетельный князь Абхазии Хамутбей Чачба остался, как и был, на стороне царя, а наш Хаджи Керантух стал на сторону султана. В это время он и сделался нашим предводителем и уже не качнулся обратно, когда турки вскоре после этого стали сажать своих солдат на корабли, один за другим отплывавшие обратно в Турцию.

Генералы царя начали возвращаться и одно за другим занимать оставленные ими укрепления. И тут Хаджи Керантух проявил твердость и храбрость, которых многие из нас от него не ожидали: турки ушли, а он продолжал воевать с генералами царя. Военные пароходы царя высаживали солдат то около Туапсе, то около Адлера, то в устье реки Сочи. Они не

спешили наступать в глубь страны убыхов, только строили или восстанавливали свои крепости там, где высаживались, но все хорошо понимали, что они на этом не останутся. Хорошо понимал это и наш предводитель Хаджи Керантух. Он всюду, где мог, мешал высаживаться на берег солдатам царя и спешил нападать на их укрепления, пока они еще не были достроены.

Мы гордились собственной стойкостью, но, по правде говоря, дорогой Шарах, наш народ к тому времени был уже изнурен войной. Все чаще из-за нее люди не успевали встречаться даже на похоронах и свадьбах, не успевали мотыжить посеянное и не успевали собирать урожаи кукурузы, которую успели промотыжить.

Боже мой, сколько же времени прошло с тех пор и сколько раз с тех пор все менялось в этом непостоянном мире!

Жизнь часто сравнивают с морем, и это правильное сравнение. Потому что, как в жизни, его безжалостные волны иногда сокрушают и хоронят на своем пути все живое, а иногда, словно удовлетворись первой легкой добычей, быстро отступают назад. Но там, где они прокатились туда и обратно, жизнь все равно исчезает, как остатки воды, высыхающие среди раскаленных песков.

Я всегда вспоминаю это, когда думаю о том, что случилось с нами, убыхами, и дай бог, если я сумею рассказать тебе все по порядку — одно за другим.

Вдруг по нашим селениям пронеслась хорошая весть: русские хотят заключить мир и через неделю на берегу Мзымты, там, где туда и обратно ходит паром, присланный царем генерал встретится с нашим вождем, Хаджи Керантухом. А посредником на этих переговорах будет воспитанник убыхов, владетельный князь Абхазии Хамутбей Чачба.

У Хаджи Керантуха бывали раздоры с другими влиятельными людьми из других дворянских родов, но после того как он доказал свою храбрость в боях, народ убыхов относился к нему с доверием. Если ты хочешь знать, каким он был тогда, я могу рассказать тебе это: он был уже не молод, но у него еще не было седых волос, он был среднего роста и крепкого сложения, двигался быстро, как огонь, голос у него был сильный, громкий, а взгляд тяжелый и властный. Он любил подолгу смотреть на человека, пока тот не отведет или не опустит глаза.

Как и многие молодые убыхи, я был опьянен славой и храбростью Хаджи Керантуха. Я так любил его, что всегда был готов преградить своим телом дорогу каждой пущенной в него пуле, и не по моей вине, а лишь по случайности мне ни разу не пришлось этого сделать за те три года, пока я был одним из его телохранителей. Три года я был рядом с ним и старался подражать ему во всем: и в том, как он закидывал за пояс полы бешмета, и в том, как он ездил верхом, опустив руку с нагайкой, чуть-чуть свесясь в седле на левый бок.

Сейчас, когда долгие годы умудрили меня опытом жизни, я, вспоминая, что думал и что делал и тогда и потом Хаджи Керантух, вижу, что он был слишком необузданным, слишком недальновидным человеком. Но в те годы моя молодость и моя неопытность ничего этого не замечали.

Ох, эта молодость! Наверное, самое дорогое в ней то, что она не знает усталости и не умеет оглядываться назад.

Я уже много раз бывал и в набегах, и в схватках, и с обнаженной шашкой прорывался сквозь ружейный огонь, и не отворачивался, видя смерть, и все-таки продолжал чувствовать себя молодым и беззаботным, еще не зная, что уже дошел почти до самого конца тонкой ветки, висящей над бездонной пропастью.

Хорошо помню, что этот день был необычно холодный, хотя весна уже переходила в лето.

На широкой поляне около нашей святыни Бытхи, держа коней в поводу, стояли полторы тысячи готовых к походу воинов. Под семью вековыми дубами, о которых я тебе говорил, Хаджи Керантух совещался с другими, самыми влиятельными в нашем народе, людьми. Все видели, как они, не вставая с места, долго о чем-то спорили, не все знали о чем, но я, как телохранитель, знал: стоял ближе других и слышал. Хаджи Керантух горячился, он не хотел брать с собою столько войска на переговоры с генералом царя.

— Пусть не думает, что я боюсь его,— говорил Хаджи Керантух.— Я возьму с собой только десять человек, а все остальные пусть ждут здесь.

Но все остальные не хотели согласиться с ним, говорили, что встреча может закончиться не перемирием, а войной, что генералам царя нельзя верить, что они уже не раз поодиночке захватывали в плен вождей горцев и высылали их в холодную Сибирь и что, если нынешняя встреча примет опасный оборот, у вождя убыхов должны быть под рукой воины.

Наконец Хаджи Керантух согласился. Закончив спор, все разом встали. Он вскочил на коня и во главе полутора тысяч всадников поехал к реке Мзымте.

Обычно, когда ехало столько всадников, не обходилось без песни. Но в то утро весь наш отряд двигался молча. Мы сами были готовы к бою, но у нас за спиной оставались наши дома, и семьи, и запущенные из-за войны и заросшие бурьяном поля. И хотя мы были готовы к бою, мы не могли не думать о том, что кровопролитие все-таки когда-нибудь должно прекратиться. И может быть, решение о том, что оно должно прекратиться, будет принято еще сегодня до заката солнца.

Вдруг Хаджи Керантух, продолжавший ехать впереди всех, резко остановился, соскочил с коня и стал пристально глядеть в небо.

И мы тоже спешили и тоже подняли головы к небу и увидели, как по небу, затемнив целую его полосу, летит на запад густая, черная стая воронов. Нам всем стало не по себе, но мы молчали и ждали, что скажет Хаджи Керантух.

— Позовите ко мне Сахаткери,— сказал он, продолжая глядеть в небо и не оборачиваясь.

И через минуту, протиснувшись сквозь ряды воинов, перед ним встал Сахаткери, очень высокий, худой, с жидкими длинными усами и в белой чалме. Он был у нас в стране убыхов главным муллою и единственным среди всех нас ехал в поход без оружия.

— Объясни, что это может значить? — спросил Хаджи Керантух, показывая пальцем на уже удалявшихся птиц.

— Это к несчастью,— сказал Сахаткери. И так же, как и Хаджи Керантух, продолжая смотреть в небо, вслед птицам, добавил: — Не знаю, стоит ли тебе продолжать свой путь. Вороны затмили нам свет дня сегодня, а гяуры, с которыми ты должен встретиться, не дадут нам жить завтра. Аллах уже благословил нас покинуть эту землю и переселиться в другую. И чем скорее мы исполним волю аллаха, тем будет лучше для нас!

Хаджи Керантух перестал смотреть в небо и, опустив голову, долго стоял и думал. И полторы тысячи спешившихся воинов тоже молча стояли, ожидая решения. Было тихо, только похрапывали кони.

Хаджи Керантух так быстро вскочил на коня, что я даже не успел поддержать ему стремя. И мы поехали дальше.

Переехав, реку Хосту, Хаджи Керантух приказал разделить войско на три части: одну часть послал к морю, к устью реки Мзымты, чтобы наблюдать за морем,— другую в верховье реки, чтобы перекрыть на всякий случай горные тропы, по которым можно выйти к нам в тыл. Остальных пятьсот всадников он взял с собой и стал спускаться с ними к месту паромной переправы через Мзымту.

На этой стороне реки под большими платанами стоял шалаш, построенный для нашего предводителя. На той стороне были видны две палатки — генерала и владельца Абхазии.

Русский офицер с переводчиком переехал на наш берег и вернулся на тот вместе с одним из наших убыхских дворян.

После недолгих переговоров было решено, что встреча произойдет на нашем берегу.

Паром приблизился, и с него сошли русский генерал, его офицеры, охрана и абхазский владетельный князь Хамутбей. Я в последний раз видел его,

когда он приезжал оплакать смерть своего воспитателя Хаджи Берзека, сына Адагвы. Хотя он тогда плакал, а сейчас не плакал, выглядел он сейчас еще мрачнее, чем тогда, и, поднимаясь от парома по склону, шел молча, казалось, с трудом передвигая ноги.

Генерал царя был в мундире с блестящими эполетами, у него было круглое лицо и круглая рыжая борода,

Я никогда до этого не видел так близко генералов царя. Хотя он был гяур, но ничего особенного и страшного в нем не было.

Когда, идя навстречу друг другу, все сошлись посредине поляны у шалаша, владетельный князь Абхазии Хамутбей первым приблизился к Хаджи Керантуху и, склонившись, поцеловал его в грудь: поступил так, как было положено поступить ему, в детские годы воспитанному в убыхской семье.

Когда начались переговоры, я, охраняя Хаджи Керантуха, стоял за его спиной и слышал каждое слово.

Не удивляйся, дад Шарах, тому, что я, забыв многие другие свои дни, помню каждую минуту этого дня, от первой до последней. Это был день, когда решалась судьба моего народа. Потом были еще дни, когда она решалась, но этот день был первым из них. Я помню все, помню даже хрустевшие под ногами на этой поляне, где мы стояли, засохшие стебли прошлогодней кукурузы. Помню, какое было солнце в тот день: оно то скрывалось, то снова появлялось. И помню задувавший со стороны моря ветер и дождь, который несколько раз начинал накрапывать, но быстро переставал. И помню, каким долгим был спор, и помню, как он становился все громче и громче, потому что Хаджи Керантух был похож во время этого спора на седока, крутящегося на еще не прирученном коне: он не мог овладеть ни собой, ни разговором. Он поминутно менялся в лице, а на лбу у него вздулась жила — верный признак того, что он еле удерживает себя, чтоб не броситься с обнаженным кинжалом на всех, кто с ним спорит.

Я знал его и знал, что все может случиться, и был готов в любую минуту броситься ему на помощь. Наверно, из-за этого, хотя я и слышал каждое сказанное слово, минутами переставал понимать, что говорят, думал о другом — что кинжалы вот-вот сами выскочат из ножен.

Со стороны убыхов вместе с Хаджи Керантухом в переговорах участвовал Дзиапш Ахмет, сын Баракая. Он был человек, известный на всем Кавказе. В молодости учился в Стамбуле, говорил на нескольких языках и, когда предводителем убыхов был старый Хаджи Берзек, сын Адагвы, Ахмет, сын Баракая, вел при нем все дела с иностранцами. Он несколько раз улаживал дела убыхов, ездил и к султану, и в Лондон, и в Петербург. Он был человеком горячим, но хитрым, умел и доходить до предела, и останавливаться там, где не оставалось ничего другого. Так что, как видишь, Ахмет, сын Баракая, не случайно участвовал тогда в этих переговорах.

Генерал царя начал говорить первым, и резкость его слов так не соответствовала спокойствию его лица и голоса, что мне сначала показалось, что генерал говорит одно, а переводчик совсем другое.

— Ты, Хаджи Керантух,— говорил генерал,— принадлежишь к знаменитому роду Берзек, ты человек высокого происхождения, и тебе не подобает сегодня делать одно, а завтра — другое. Его величество император пожаловал тебе чин и жалованье, но ты оказался недостойным милостей императора. Когда началась война, ты отказался от пожалованного тебе императором чина и звания. Вместо того чтобы соблюдать верность России, ты сблизился с турками и сделал это не по их принуждению, а по собственной охоте. С тех пор ты нарушаешь заключенные с нами условия, постоянно держишь под ружьем все мужское население, нападаешь на наши укрепления, ведешь с турками тайные переговоры и получаешь от них оружие.

— Господин генерал, тебе следует поосторожнее выражаться, когда ты говоришь со мной,— ответил Хаджи Керантух.— Я не заяц, и меня не пригнали сюда твои охотничьи собаки. Я стою на своей земле, и не в кандалах, а с оружием.

Лицо Хаджи Керантуха налилось кровью, но генерал, не меняясь в лице, спокойно ждал, пока толмач не перевел ему всего этого до конца.

— Но тебе и этого мало,— спокойно продолжал генерал с того места, на котором остановился, так, словно пропустил мимо ушей слова Хаджи Керантуха.— Ты все еще возлагаешь надежды на турецкого султана. Мы знаем, что ты просишь у него военной помощи, надеешься получить ее, но хотя ты уверен, что на свете нет никого сильнее султана, тебе показалось мало искать помощи только у него. Мы знаем, что Ахмет, сын Баракая, который сейчас стоит рядом с тобой, три года назад ездил от твоего имени в Лондон и просил там у англичан защиты и военной помощи против нас. Об этом писали в английских газетах, и это не осталось тайной. А недавно ты отправил письмо английскому консулу в Сухуми, это тоже не тайна. Оно у нас в руках, и мы можем показать его тебе. Я не хочу тебя оскорблять, но не нахожу для твоих поступков другого слова, как измена.

Когда Хаджи Керантух первый раз прервал генерала, мне казалось, что он сейчас схватится за кинжал. Но теперь, после этой первой вспышки, он стоял и слушал, неподвижный, как глубоко вкопанный в землю столб,— одной рукой уперся в бок, а другую держал на белой костяной рукояти пашки. На генерала он не смотрел, смотрел через его голову на вершины гор, над которыми столпились тучи. Могло показаться, что он ничего не видит и не слышит. Толмач от волнения путался и заикался, и Хаджи Керантуху, который понимал русский язык, наконец надоело это, и он, не дослушав переводчика, с сердитой усмешкой посмотрел на генерала:

— Да, правда. Я совершил бы измену, если бы, как некоторые другие владетельные князья на Кавказе, ради ваших чинов и ваших серебряных

рублей предал бы свой народ. Но, слава аллаху, как видите, меня ничто не соблазнило. Господин генерал, ты называешь это изменой. Но как назвать то, что делаешь ты, который пришел сюда с бесчисленным войском, чтобы выгнать убухов с их земли?

Скажи мне, если бы собрались на совет все великие государи и спросили бы твоего царя, что ему сделали плохого мы, убухи, в чем он их обвиняет, за что уничтожает,— я хотел бы знать, что он мог бы на это ответить.

Да, ты сказал мне правду: мы когда-то приняли ваше подданство, надеясь, что нам в этом подданстве будет хорошо жить. Но наши надежды были обмануты. Мы привыкли вести морскую торговлю, ни у кого не спрашивая, чем нам можно торговать и чем нельзя. Вы запретили приставать к нашему побережью всем кораблям, кроме ваших. Вы стали называть разбойниками наших дворян и запретили им продавать в рабство пленных, которых они взяли в бою. У нас свои законы, а у вас свои. Мы не хотим, чтоб ваши чуждые нам законы стали ярмом на нашей шее. Вы хотите лишить нас нашей мусульманской веры. Мы знаем, что, как только мы окажемся в вашей власти, вы начнете насильно крестить наших детей. Когда вы во время войны не можете защитить от турок это побережье, вы уходите, оставляя его и нас на произвол судьбы! А когда возвращаетесь — начинаете бранить нас изменниками! Какой же, я спрашиваю, мир может быть заключен между нами?

Генерал, ничего не ответив, вынул из кармана платок, вытер выступивший на белом лбу пот и, заложив руки за спину, подошел к стволу платана и стал разглядывать его так, словно прикидывал, как бы получше срубить его. Потом вдруг повернулся и обратился к Ахмету, сыну Баракая:

— Уважаемый Ахмет, сын Баракая, я думаю, что ты не последний человек среди убухов, и мне хотелось бы услышать сегодня и твой голос.

Ахмет, сын Баракая, как стоял, вытянувшись во весь свой высокий рост, так и не шелохнулся и ответил на вопрос генерала не сразу, а когда уже всем показалось, что он так и не ответит:

— Вы не понимаете нас, господин генерал, а мы не понимаем вас.

У Хаджи Керантуха зло блеснули глаза,— наверно, ему не понравились слишком спокойные слова Ахмета.

А генерал, услышав их, улыбнулся:

— Ты слишком мудр, Ахмет, сын Баракая, ты хочешь, как это у вас говорят, чтобы и курица была со всех сторон поджарена, и палка, на которой ее вертят над огнем, осталась цела. Но эта мудрость не для войны. На войне так не бывает!

Генерал заложил руки за спину, медленно прошелся взад и вперед и, встав перед Хаджи Керантухом, сказал громко и медленно:

— Вы сами вынудили его величество государя императора принять против вас крайние меры. Другие горцы оказались предусмотрительнее вас: или переселились в долины, или сложили оружие и обещали жить с нами в мире, а вы все еще воюете, все еще надеетесь на султана. Его величество государь император еще в прошлом году, находясь на Кавказе, изволил принять по вашему делу высочайшее решение, о котором я обязан напомнить вам еще раз, наверное в последний: «Убыхи должны решить, желают ли они переселиться на Кубань, где получают в вечное владение земли и сохраняют свое народное устройство и суд. Если нет, пусть переселяются в Турцию».

Генерал замолчал, ничего не добавив от себя к этим словам, роковым и уже не новым для всех, кто присутствовал на переговорах. Когда царь произносил эти слова, сидя на застланном буркой пне, вокруг его толпилось много людей, и эти слова быстро облетели тогда весь Кавказ. И все-таки, вдруг повторенные здесь в этот день на переговорах о мире, они прозвучали как гром над головой!

— Если бы далекие от нас равнины Кубани, куда ты хочешь переселить нас, были бы хороши для жизни, там бы давно всюду жили люди,— сказал Хаджи Керантух.— Мы живем у моря и привыкли торговать. Мы привыкли охотиться в горах, мы привыкли угонять скот на горные пастбища, мы привыкли жить здесь, а не там. Нет, господин генерал, мы не положим свою голову в твой капкан. Как только мы оставим наши горы, которые защищают нас от тебя, и переселимся на пустые равнины Кубани, вы будете делать с нами все, что вы захотите. Вы объявите нашим крестьянам, что у вас отменено крепостное право, и нам неизвестно, кому, и как, и какие земли вы будете там давать или продавать вместо тех, которые отнимете у нас здесь. Вы хотите, чтобы, переселившись туда, крестьяне начали спорить с нами, своими покровителями, чтобы возникло непослушание и пропало их уважение к нам. Вы будете поощрять эти раздоры, чтобы вам было легче справиться с нами!

На этот раз Хаджи Керантух не сумел сохранить спокойствие. Он говорил горячо, быстро и сбивчиво, а генерал стоял и молчал — и ждал, когда он кончит.

Но когда он кончил, заговорил не генерал, а все время молчавший до этого владетельный князь Абхазии Хамутбей Чачба.

— Если через горный перевал ведет только одна дорога и другой нет, то приходится идти по этой дороге,— сказал он.— Не обижайся на мои слова, но у вас, убыхов, уже нет времени на колебания и нет двух дорог через перевал.

Хамутбей Чачба сказал это тихо, и видно было, что каждое слово дается ему с трудом.

— Как бы плохо нам ни было, оставь нас один на один с русскими. Я больше не прошу твоего посредничества! — перебив его, крикнул Хаджи Керантух, но этот крик не остановил Хамутбея:

— Я вскормлен убыхским молоком и воспитан в убыхской семье. Я молочный брат убыхов, и я обязан предостеречь их от беды. Я желаю убыхам того же, что я желаю абхазцам, — ни больше ни меньше, ни лучше ни хуже. И если понадобится, я докажу это, не пожалею себя.

Но Хаджи Керантух снова прервал его, так и не дав договорить:

— Мне трудно верить твоим словам. Мы, убыхи, помним, как ты воевал против нас вместе с генералами царя. Ты вспомнил о молоке. Но ты сам смешал с ним кровь. И перед своими абхазцами тебе тоже нечем похвалиться. Не ты ли поливал землю кровью тех из них, которые не хотели подчиниться царю? Ты говоришь, что ты жалеешь нас. Но разве ты жалел своих? Разве ты не грыз собственными зубами собственное тело?

Если б твой дед Келишбей, когда-то объединивший всех нас, жил бы до сих пор, ни вы, абхазцы, ни мы, убыхи, не оказались бы на краю этой пропасти! Но он погиб, его нет, твой отец Сафарбей без выстрела уступил русскому царю всю Абхазию, а теперь ты хочешь накинуть аркан и на нашу шею.

Владетельный князь стоял неподвижно, понутив голову, а Хаджи Керантух в бешенстве метался перед ним, осыпая его оскорблениями.

— Никто не дарил нам эту землю, — наконец оставив в покое владетельного князя и остановившись перед генералом, сказал Хаджи Керантух. — Но никто и не отнимет ее у нас, пока мы живы. Мы просим перемирия, а если нет — будем воевать.

Хаджи Керантух левой рукой продолжал сжимать рукоять шашки, а правую вскинул перед собой так, словно обнажил оружие.

Толмачи еле успевали переводить, а я не отрывал глаз от генерала и стоявших за ним русских офицеров, чтобы в случае опасности успеть обнажить шашку.

Генерал пристально посмотрел на Хаджи Керантуха, помолчал, усмехнулся и наконец сказал:

— Хорошо. Война так война! И все-таки хочу спросить тебя, берущего на себя смелость решать судьбу своего народа, еще одно: я знаю, что, продав все свое имущество, вы еще какое-то время сможете покупать оружие у турецких купцов и у английских контрабандистов. Пока что оружие у вас еще будет, и мы даже знаем, что недавно из Англии тебе прислали шесть

нарезных пушек и вместе с пушками двух инструкторов, которые обучают твоих воинов. Но пойми, что весь твой народ все-таки только горсточка людей. Неужели ты не понимаешь, что ты не можешь с этой горсточкой одолеть нас? А если понимаешь, то зачем хочешь погубить весь свой народ без всякой надежды на победу?

Все ждали, что ответит на это Хаджи Керантух, и никто не знал, что он ответит.

— Не беспокойся о нас, господин генерал,— стараясь возвысить голос как можно громче, чтобы его как можно дальше слышали, сказал, почти крикнул Хаджи Керантух.— Никто еще не измерял храбрость людей их числом! Но у нас достаточно и оружия, и людей, которые умеют носить его. А если у нас не хватит воинов, мы кинжалами распорем животы своих беременных жен и добудем новых воинов из их утробы!

Сказав это, Хаджи Керантух посмотрел в мою сторону и крикнул: «Лошадей!» — так сердито, словно я был в чем-то виноват.

Генерал ничего не ответил, только пожал плечами и посмотрел на владетельного князя Абхазии, будто хотел сказать ему: «Ну как, теперь и ты убедился, что из этого ничего не могло выйти?»

Но Хамутбей Чачба не двинулся с места под этим взглядом. Он все еще не хотел уходить и стоял, скрестив руки на груди.

Генерал с нетерпением взглянул на него, но он и тут не двинулся с места, а, продолжая стоять все так же, скрестив руки на груди, вдруг медленно и тихо обратился к нашему предводителю:

— Мой молочный брат Хаджи Керантух, я еще раз прошу тебя выслушать меня. Никому из нас не подобает спешить, когда приходится делать выбор между жизнью и смертью. Прежде чем снова обнажать шашки, подумай о том, что война в Дагестане кончилась, что она кончилась и в Чечне, и повсюду на Северном Кавказе. Кавказ стал владением русского императора, а те, кто не согласился с этим, переселяются за море, где, как я думаю, их не ждет ничего хорошего. Все равно впереди — мир. Такой или другой, хороший или плохой, но мир. И он все равно наступит на всем Кавказе. Может быть, убыхи, стоя сейчас по колено в крови, чужой или своей, еще не успели понять, что война иссякла, что она кончается, что, если они будут продолжать эту войну, они в конце концов убьют самих себя! Кто их толкает на это безумие, чужая рука или чужой язык?

Мой молочный брат, я прошу тебя ради памяти моего воспитателя Хаджи Берзека, сына Адагвы, ради того, кто многие годы предводительствовал убыхами, дай мне возможность приехать к вам. Пошли гонцов и созови самых мудрых людей своего народа. В назначенный тобой день я приеду один, без генерала, давай выслушаем вместе и меня, и тебя, и их. Что ты ответишь мне на это перед тем, как мы с тобой расстанемся?

— Раз ты попросил меня об этом во имя памяти Хаджи Берзека, сына Адагвы, и связал меня этой просьбой по рукам и ногам, приезжай к нам и выслушай мнение народа, молоком которого ты вскормлен. Но приезжай не позже конца следующей недели. Мы не можем долго ждать тебя. Прощай!

Хаджи Керантух приложил руку к сердцу, на мгновение склонил голову и быстро пошел к лошадям.

Оглянувшись, я еще успел увидеть, как генерал и владетельный князь Абхазии садятся на паром. Это, наверно, заметили и на том берегу: оттуда донесся барабанный бой, солдаты поднимались из-под деревьев, где они отдыхали, и строились в ряды.

А мы во главе с Хаджи Керантухом уже сидели на конях. Он поднял кверху нагайку, и в ту же секунду пронзительно затрубила труба. Это был сигнал, который значил, что переговоры о перемирии прерваны и все, кто носит оружие, должны снова держать его наготове,— так говорила труба.

Как убыхи встретили своего молочного брата

Я сам не видел своими глазами всего того, о чем хочу рассказать тебе, но об этом приезде Хамутбея Чачбы так много говорили в народе тогда и так часто вспоминали потом, уже в изгнании, что я вычерпаю тебе из пересохшего колодца моей памяти все, что осталось там на дне.

Мой дорогой Шарах, тебе важно знать об этом все, что я помню, все до последнего слова. Потому что тот день, когда в страну убыхов приехал их молочный брат Хамутбей Чачба, наверное, был самым последним днем, когда нам еще не поздно было сделать другой выбор, чем тот, который мы сделали...

В тот вечер Зауркан действительно вычерпал для меня из колодца своей памяти все, что спустя три четверти века осталось там на дне и было связано с событием семидесятипятилетней давности, с приездом Хамутбея Чачбы в страну убыхов.

Я успел уже заметить и оценить необычайную цепкость памяти Зауркана в тех случаях, когда он вспоминал о том, что видел своими глазами и слышал своими ушами. Но в данном случае дело было не так, и он сам счел нужным предупредить меня об этом. И в самом деле, в его памяти сохранилось не событие, о котором он рассказывал, а только обрывки слухов, распространившихся об этом событии, и обрывки сложившихся вокруг него легенд и песен. Поэтому в данном случае, изменив своему обыкновению, я не буду приводить речь Зауркана, а расскажу об этом событии все, что, изучая эту особенно интересную для меня страницу истории абхазцев и убыхов, я узнал из самых разных источников, еще до своей поездки к Зауркану. И пополню все это лишь некоторыми подробностями из его рассказа, теми, которые показались мне наиболее достоверными. И только

в заключение дословно приведу самый конец рассказа Зауркана, при всей легендарности изложения опирающийся, однако, на совершенно точно установленный исторический факт.

Поездка владетельного князя Абхазии Хамутбея Чачбы к убыхам, о которой вспоминал Зауркан, была предпринята тем же летом, что и переговоры, в которых Хамутбей Чачба столь неудачно пытался взять на себя роль посредника.

Теперь ему предстояло ехать к убыхам, и, судя по тому, кого он взял и кого пытался взять с собой в эту поездку, он, очевидно, прекрасно понимал, насколько она важна не только для убыхов, но и для него самого, для его собственного положения в глазах нового наместника Кавказа великого князя Михаила Николаевича.

Неудача поездки к убыхам могла подорвать его и без того непрочное положение, и Хамутбей Чачба решил взять с собой к убыхам людей, преданных ему, влиятельных в Абхазии и, по тем или другим причинам, способных повлиять и на убыхов. Он взял с собой Емхаа Алгыда из Самурзакана, Гиргуала Чачбу из Абжуй и девяностолетнего Маана Каца из Бзыби, который, несмотря на свой возраст, продолжал оставаться советником владетельного князя по иностранным и вообще по всем наиболее сложным делам.

С одной стороны, казалось бы, брать с собой Маана Каца в эту поездку к убыхам было рискованно, потому что он, так же как сам владетельный князь, не раз за свою жизнь заодно с царскими генералами воевал и против цебельдинцев, и против садзов, и против убыхов, и сейчас его появление могло напомнить об этих старых и кровавых делах. Но, с другой стороны, ехать без него в этот опасный путь владетель считал еще более рискованным: дело в том, что сводная сестра Маана Каца, рожденная почти на пятьдесят лет позже него, была замужем за Хаджи Керантухом. Предполагалось, что это не только уменьшит опасность поездки, но и может помочь при переговорах.

Хамутбей Чачба хотел взять с собой еще двух спутников, захватив их по дороге, но это ему не удалось. Маршан Алмахсит из Цебельды предусмотрительно отправился на охоту, а князь Гечба Рашид из страны садзов, когда владетельный князь, проезжая мимо, послал за ним, сказался больным. О причине болезни догадаться было нетрудно: при мирном исходе дела Гечба не хотел в него вмешиваться, а при кровавом исходе, очевидно, стал бы на сторону Хаджи Керантуха.

Владетельный князь понимал, что, если б эти двое поехали с ним, ему легче было бы склонить убыхов к мирным решениям, и мысль эта тяготила его всю дорогу.

Переехав реку Мзымту, всадники на своих отборных лошадях быстро двигались к северу. Слева от дороги то скрывалось, то снова показывалось

море, и на одном из таких поворотов они заметили быстро отплывавшую от берега фелюгу.

Владетельный князь остановил коня и спросил догнавших его спутников, как они думают — чья это фелюга?

— Спешит уйти. Значит, не русская,— ответил Маан Кац, привстав на стремянах, чтобы лучше разглядеть фелюгу.

— Наверно, турецкие купцы,— сказал Гиргуал Чачба.— По правде говоря, Хаджи Керантух прав, должны же убыхи с кем-то вести торговлю.

— Опять привезли английское оружие,— сказал владетельный князь, глядя уже не на море, а на вьющуюся по холмам и теряющуюся в лесу тропинку.

По ней, вытянувшись в цепочку, поднималось десятка три вьючных лошадей, тяжело нагруженных оружием. Владетельный князь долго стоял, не трогаясь с места, пока последняя лошадь с оружием не скрылась в лесу.

— Плохо, очень плохо. Не знаю, кто платил за это оружие деньги, но народ убыхов заплатит за него кровью. Будет беда,— сказал Хамутбей Чачба.

Его спутники запомнили эти слова, расцененные ими как пророчество, во всяком случае, именно такими они и остались в рассказах стариков, записанных уже в двадцатых годах нашего века.

Владетельный князь Абхазии Хамутбей Чачба имел к тому времени звание генерал-адъютанта русской армии и был награжден несколькими русскими военными орденами. И то и другое он получил за то, что помогал царским генералам покорять горцев, которые не хотели быть ни под русской, ни под его княжеской властью. Направляясь к убыхам, он, конечно, меньше всего хотел напомнить им обо всем этом своей русской генеральской формой и орденами и поэтому ехал одетый запросто в дорожную черкеску, ехал как горец к горцам. Об этой подробности есть несколько свидетельств очевидцев. Они свидетельствуют также, что ехал он почти всю дорогу молча и в самом мрачном настроении, углубленный в какие-то тяжелые думы.

О чем он мог думать, направляясь к убыхам? Не пытаюсь ответить на этот вопрос, сделаю другое: напомню о некоторых фактах биографии и обстоятельствах жизни владетельного князя Хамутбея Чачбы, которые усложняли его положение вообще, и в особенности в предстоявших ему переговорах с убыхами.

Думал или не думал он обо всем этом именно в тот день, но подумать ему было о чем. Еще до Крымской войны твердо став на сторону русских генералов в их борьбе с горцами и тем расширив и укрепив свою собственную владетельскую власть, Хамутбей Чачба во время Крымской войны оказался в достаточно трудном положении. Русские военные части уходили с черноморского побережья и грузились на корабли. Русские

генералы по стратегическим соображениям временно оставляли Абхазию, выводили из нее все свои военные силы. Владетельный князь, почувствовав опасность своего положения, сначала уехал в Мингрелию к родственникам своей жены, князьям Дадиани, но потом, невзирая на риск, решил все-таки вернуться в свое княжество.

Еще по пути к Сухуми его ожидало не сулившее ему добра зрелище: на горизонте маячили мачты двигавшихся к берегу турецких военных кораблей. Едва он успел появиться в своем княжеском дворце, как его — один за другим — стали осаждать гости. Сначала приехал, причем не из Дагестана, а из Стамбула, один из наибов Шамиля, Магомет Амин, и с ним черкесский князь Сафарбей. Их целью, которую они ни от кого и не скрывали, было распространение идей газавата среди горцев Западного Кавказа. А к абхазскому владетелю они явились, чтобы склонить его на сторону Турции. Разговоры были долгие, споры яростные, однако владетельный князь не поддался и на сторону турок не перекинулся.

Вслед за этими двумя в Сухуми появился турок Омер-паша, занимавшийся при стамбульском правительстве кавказскими делами. Он намеревался лично вручить владетельному князю Абхазии письмо с воззванием великого визиря к горцам Кавказа о борьбе против гяуров под священным знаменем газавата. Но Хамутбей Чачба принять это письмо отказался, заявив, что он не мусульманин, а христианин.

Следующий посетитель назвал себя Мехмедбеем. На самом деле это был известный в Европе авантюрист Бандья. Этот человек, один из тех, кто следовал известному еще с античных времен девизу: «Где лучше, там и родина», именовал себя «главнокомандующим европейской армией на Кавказе».

Именно этот человек вместе с двумя другими пользовавшимися английской поддержкой европейскими авантюристами — Лапинским и Брауном — появился у владетельного князя Абхазии, убеждая его в том, что нет силы на свете, которая могла бы устоять против соединенной мощи британского льва и султанского полумесяца.

Владетельному князю было обещано все — от современного оружия до немеркнущей славы в веках. И все-таки он не поддался и тогда, и позже, когда по всему абхазскому побережью начали высаживаться турецкие войска и, вдобавок к этому, многие князья и дворяне, склонявшиеся к переходу на турецкую сторону, стали упрекать Хамутбея Чачбу в том, что он ослеп и не видит, на чьей стороне сила.

Упорство, которое проявил абхазский владетель в те трудные для него дни, объяснялось двумя главными причинами: он лучше многих других представлял себе истинную силу русских и, несмотря на все их неудачи в Крымской войне, не верил, что они ушли из Абхазии навсегда и безвозвратно. А если так, то, оставаясь верным русским, он в будущем, после войны, сохранял в составе Русской империи свое владетельное

княжество, свои обширные личные земельные владения и те ежегодные десять тысяч рублей серебром, которые он уже давно привык получать из императорской казны.

Но была и вторая причина, из-за которой он проявлял упорство: он знал, что есть немало абхазцев, не одобрявших его русской ориентации, но знал и другое — после трех столетий владычества султана многие абхазцы, и, пожалуй, даже большинство, успев на своей шкуре достаточно хорошо испытать, что это такое, не одобряют и готовности отдаться под власть турок. И если против него вспыхнет из-за этого восстание, то еще вопрос, поддержат ли его турки, не найдут ли вместо него кого-нибудь другого, более для них удобного.

Изучая историю того времени, я нашел свидетельства сложности положения, в котором тогда оказался абхазский владетель, даже на страницах лондонского «Таймса», корреспондент которого писал именно в это время из Сухуми:

«Отвращение здешних абхазцев к туркам не подлежит никакому сомнению... Они не только не помогают нам, но еще и разрушили несколько мостов, которые облегчали бы наше движение, и портят везде, где могут, дороги. Высшие классы в этом народе не скрывают своего сочувствия и привязанности к России и ожидают не иначе как с ужасом вторжения турок».

Упорство, проявленное владетельным князем во время Крымской войны, было вознаграждено. Русские вернулись в Абхазию, и в первое время после их возвращения Хамутбей Чачба чувствовал себя настоящим владетелем Абхазии.

Однако кавказская война шла к концу. Шамиль пал, военные действия повсюду, кроме Западного Кавказа, утихали, и правительство царя видело все меньше смысла в дальнейшей поддержке тех владетельных князей и ханов, которые в былые времена становились на его сторону в борьбе с не покоренными еще тогда горцами. К 1862 году абхазское владетельное княжество оказалось последним на всем Кавказе. И быть может, его тогда же и упразднили бы, если бы наместник Кавказа, князь Барятинский, не написал самому царю, защищая Хамутбея Чачбу: «В преследовании князя я не вижу никакой надобности, а скорее вред. Влияние его в Абхазии на соседние племена, как мне известно, еще очень важно. Поэтому расположить этого человека к нам считаю очень полезным...»

Но с тех пор, за два года, времена переменялись к худшему, и новый наместник Кавказа, великий князь Михаил Николаевич, считая, что сохранение в дальнейшем владетельного княжества Абхазии вряд ли принесет какую-нибудь новую пользу, думал только о том, как бы поскорее и незаметнее упразднить его, чтобы даже своим названием не напоминало о какой-то былой независимости.

До Хамутбея Чачбы доходили слухи об этих планах вместе с тревожными сведениями о происходившей в России крестьянской реформе, которая неизвестно когда, как и с чего, но так или иначе начнется и здесь у него, в Абхазии. Он думал и о собственной судьбе, и о судьбе своего единственного сына Георгия, которого уже давно привык видеть в мыслях будущим владельцем Абхазии. Ему хотелось хотя бы выиграть время, хотя бы еще на несколько лет оттянуть те проектируемые новым наместником планы упразднения княжества, о которых все чаще доходили слухи.

Трезво оценивая силу русских, абхазский владетель был искренен, когда хотел удержать убыхов от продолжения кровопролитной и безнадежной борьбы. А то, что упорство Хаджи Керантуха, решившего продолжать эту борьбу, подогревалось тайными приездами сменявших друг друга турецких агентов, было хорошо известно Хамутбею Чачбе и ослабляло в его душе ту меру сочувствия, которое он испытывал к убыхам, отдавая должное их мужеству.

Мужества у Хаджи Керантуха хватало, а ума и дальновидности — нет. Однако Хамутбей Чачба ехал на переговоры с убыхами не только потому, что его тревожила их будущая судьба, но и потому, что, пожалуй, еще больше его тревожила судьба собственная.

Он не без основания считал, что непримиримость и строптивость Хаджи Керантуха оказывают возбуждающее влияние и на его собственных подданных — абхазцев, особенно из Цебельды и других мест, где они тесно соседствуют с убыхами. Он считал, что если убыхи в результате его переговоров с ними пойдут на примирение с русскими, то это скажется и на его собственных подданных, то есть, вернее, на тех из них, которые сейчас только считаются его подданными, а на самом деле выходят из повиновения при первом удобном случае.

Ему казалось, что если удачные переговоры с убыхами помогут ему совладать с непокорной частью абхазцев, то это утвердит его авторитет в глазах русских и, может быть, заставит их отказаться от мысли об упразднении владетельного княжества. А если ему во время переговоров с убыхами удастся добиться того, что не удалось добиться месяц назад русскому генералу, то этот успех может поставить его, Хамутбея Чачбу, так высокого в глазах русского наместника на Кавказе, что об упразднении его владетельного княжества не будет больше разговора, во всяком случае, на многие годы вперед.

Сделанное мною здесь отступление от рассказа Зауркана Золака преследует единственную цель — на основе того сравнительно немногого, что мне до сих пор удалось узнать о владетельном князе Хамутбее Чачбе, личности в масштабах нашей Абхазии исторической, мне хотелось определить и то место, которое в его жизни занимала эта поездка к убыхам накануне происшедшей с ними трагедии, и те причины, которые толкнули его поехать на эти, весьма рискованные для него, переговоры.

А о том, во что все это вылилось, и чем кончилось, и, самое главное, в каком виде сохранилось в памяти современников, даст представление та последняя, наиболее связная часть рассказа Зауркана, о которой я уже упоминал и которую записал дословно

Повторяю, что, несмотря на легендарные подробности этого рассказа, основа его, сами факты точно соответствуют действительности:

— Ты можешь верить или не верить мне, дорогой Шарах, но люди рассказывали мне — и не один человек, а многие, и не один раз, а много раз, — что всю дорогу, пока князь Хамутбей ехал от самого своего дома до страны убыхов, все эти два дня и две ночи он молчал, как немой, не сказал никому ни одного слова.

И в первый раз заговорил, только когда — уже в стране убыхов — вдруг увидел в лесу высокого белоснежного коня, который спокойно пасся на зеленой поляне. Князю Хамутбею понравился конь, и он повернулся к ехавшим вслед за ним всадникам, чтоб показать им на этого коня, но когда они подъехали к князю, то белого коня на поляне уже не увидели. Он исчез так, словно его здесь никогда и не было.

И тогда, остановившись посреди поляны со своими спутниками, князь впервые за эти два дня и две ночи заговорил и рассказал им, как в детстве, когда ему было семь лет, он ехал по этой же дороге, но только наоборот — не из страны абхазцев в страну убыхов, а из страны убыхов в страну абхазцев.

Ему было всего семь лет, но он ехал, как взрослый, верхом на высоком белоснежном коне и был одет в такую же белую, как конь, черкеску, на голове у него была белая папаха, а за плечами белый башлык. А рядом с ним на буланом коне ехал его воспитатель Хаджи Берзек, сын Адагвы, а за их спиной ехали сто всадников убыхов, и пели походные песни, и, не сходя с коней, стреляли в воздух, как стреляют, когда возвращаются после победы.

И каждый, кто по пути видел этих всадников, не мог оторвать от них глаз.

Те, кто не знал, спрашивали: «Кто они?»

А те, кто знал, отвечали: «Это возвращается к своему отцу сын владельца Абхазии Сафарбея, который был отдан на воспитание в страну убыхов. Да будет счастлив молодой князь, возвращающийся к себе домой! Да настанет время, когда народ благословит его имя!»

Воспитатель маленького Хамутбея, Хаджи Берзек, сын Адагвы, чтобы не утомить его, дважды останавливался по дороге на ночлег, сначала у князей Рыдба, а потом у князей Инал-Ипа, и на каждом из этих ночлегов были пиры, и лишь на третий день они приехали в Лыхны, в дом владетельного князя Абхазии Сафарбея. Три дня и три ночи шел пир, и не только воспитателю маленького князя Хаджи Берзеку, сыну Адагвы, но и всем ста

сопровождающим его всадникам убыхам были сделаны самые дорогие подарки.

Но когда маленького Хамутбея захотели отвести в его комнату в доме отца, он вспомнил свою молочную мать, оставшуюся в стране убыхов, и горько заплакал, и как ни ласкала, как ни утешала его родная мать, так и не смогла его утешить. И когда его воспитатель Хажди Берзек, сын Адагвы, двинулся со своими всадниками в обратный путь, маленький Хамутбей вырывался из рук и пытался вскочить на лошадь, чтобы уехать обратно в страну убыхов вместе со своим воспитателем.

Так, увидев вдруг появившегося и вдруг исчезнувшего белого коня, рассказал о своем детстве своим спутникам опечаленный этими воспоминаниями Хамутбей Чачба.

И его спутники, решив развеять эту печаль, пришпорив коней, стали джигитовать на поляне, и стреляли на скаку из пистолетов в маленькие зеленые яблочки на диких яблонях, и каждый раз сбивали их выстрелом, но даже и этим не смогли развеселить князя.

Он снова молча ехал впереди них, пока не показалась та широкая поляна с семью дубами и с нашим святилищем, где хранилась наша Бытха и где по уговору должны были встретить убыхи своего молочного брата.

Князь Хамутбей выехал на опушку леса и увидел перед собой поляну, но она была пуста. Под могучими, росшими на ней дубами не стоял и не ждал его ни один человек.

— Что случилось? Почему никого нет? — спросил князь Хамутбей, оглядывая поляну, и, ни от кого не дождавшись ответа, тронул коня.

Он еще не успел доехать до середины поляны, как увидел на другом ее конце что-то непонятное, черное, двигавшееся ему навстречу. Он ехал еще и минуту, и две, прежде чем понял, что ему навстречу идут женщины с распущенными волосами, в черном с головы до пят, идут так, как ходят женщины на похоронах.

Князь Хамутбей и его спутники спешили и, отдав коней телохранителям, пошли навстречу надвигающейся черной толпе женщин. Они шли навстречу женщинам и в тревоге спрашивали друг друга:

— Куда они идут? И почему их так много? Что случилось? Кто умер?

А женщины все приближались, и наконец князь Хамутбей увидел, что впереди, одетая, как и все они, в черное, идет, распустив седые волосы, вскормившая его своим грудным молоком вдова Хаджи Берзека, сына Адагвы.

Узнав ее, князь Хамутбей поспешил к ней навстречу, но старуха, когда он оказался рядом с нею, даже не посмотрела на него.

Она шла и плакала, словно была у изголовья покойника, и с нею вместе плакали все другие женщины.

Она по-прежнему не обращала внимания на своего молочного сына и плакала и причитала, и, прислушавшись к этим причитаниям, он услышал слова, которых лучше ему было бы не слышать до своего смертного часа.

Слышал ли ты, прохожий, о моем горе?
Слышал ли ты, как я несчастна?
Слышал ли ты, что, вскормленный моей грудью,
Умер воспитанник мой князь Хамутбей?
Умер страшною смертью, такой, что земля не примет
Опозоренный умер, неоплаканый умер.
Убыхи потеряли своего молочного брата.
Абхазцы потеряли своего князя...

А вслед за старухой из толпы причитавших женщин вышла с распущенными, доходившими ей до пят косами молочная сестра Хамутбея и, с силой ударяя кулаками в голову, закричала так, что заглушила слова своей матери:

О Хамутбей, скажи, что мне делать?
Что мне делать, твоей несчастной молочной сестре?
Неужели из-за царского серебра
Ты предал землю вскормивших тебя убыхов?
Страшно подумать, какую смертью ты умер!

Женщины рыдали все громче, и среди них, низко опустив голову, неподвижно, словно превратившийся в камень, стоял князь Хамутбей. Он видел на своем веку немало несчастий, но такого несчастья и позора ему еще не приходилось переносить за всю свою жизнь.

Хаджи Керантух, дав согласие на его приезд в землю убыхов, сделал так, что его встретили не как молочного брата, а как смертельного врага.

Наконец, выйдя из оцепенения, Хамутбей кинулся из толпы женщин к своему коню, добежал до него и вскочил в седло.

— Плачь, моя кормилица-мать! — крикнул он сквозь слезы. — Плачьте, мои молочные сестры! Я, ваш воспитанник, плачу вместе с вами. Плачьте, плачьте, плачьте сейчас, потому что потом не успеете! Плачьте, потому что погибла страна убыхов. А ты, Хаджи Керантух, ты, который, наверное, смеешься сейчас над тем, что я плачу, помни, что не на мою, а на твою голову падет проклятье твоего народа!

Выкрикнув все это сквозь слезы, не стыдясь и не вытирая их с лица, князь Хамутбей огрел плеткой коня и понесся как сумасшедший через поляну, словно хотел как можно скорее оставить подальше у себя за спиной рыдания и причитания женщин. И его спутники тоже как сумасшедшие скакали вслед за ним, обгоняя друг друга.

Шардын, сын Алоу

В тот горький для нашей семьи день все мы, кроме моего младшего брата, были дома. Он продолжал сражаться с русскими, и мы не знали, где он и что с ним. Мой отец Хамирза еще три дня тому назад был ранен в правую руку, его рана гноилась и болела, но он не хотел лежать; с утра встал, заново наложил на рану болеутоляющие травы, перевязал поверх них руку и, не находя себе покоя, бродил взад-вперед и по дому и по двору. Моя мать и обе мои сестры с утра уходили к соседям — вместе с другими женщинами нашего поселка ткали там сукно для воинов — и вернулись лишь к середине дня, чтобы заняться домашними делами.

Я приехал последним: несколько дней подряд был неотлучно, как телохранитель, рядом с Хаджи Керантухом, под пулями и в рукопашных схватках.

Сегодня должно было начаться собрание предводителей народа, на котором предстояло решить, что же делать дальше? Я прискакал вместе с ним на это собрание, и он отпустил меня переночевать дома.

Холодный день уже клонился к вечеру, снег, густо падавший с самого утра, только что перестал идти, когда к нашим воротам подъехал на своем низкорослом, но сильном муле воспитанник моей бабушки, молочный брат моего отца Шардын, сын Алоу.

Я выскочил первым, чтобы подержать ему стремя, пока он сойдет с мула, а вслед за мной его окружила вся наша семья.

— Как твоя рана? — спросил Шардын, сын Алоу, у моего отца.

— Не стоит говорить о ней, — ответил отец, стесняясь признаться гостю в том, что его мучает боль, и пряча раненую руку за спиной.

— Наш дорогой брат, наша надежда, пусть минуют тебя все несчастья и все болезни, пусть они перейдут ко мне, — сказала моя мать и по обычаю, чтоб отвести от него все болезни, три раза обошла вокруг Шардына и поцеловала его в грудь.

Мои сестры, смущаясь, повторили вслед за ней все, что она сделала.

Шардын вошел в дом, и мы вслед за ним. Я помог ему снять бурку и папаху, отряхнул их от снега и повесил на стену.

Шардын, сын Алоу, был невысокий, широкоплечий и очень сильный, но талия его уже давно округлилась, потому что он любил много есть. На его могучей груди кольцами скручивался кончик его длинной черной бороды.

Мать положила на лавку перед пылающим очагом кожаную подушку, которая была у нас предназначена только для почетных гостей, и Шардын сел на нее.

Мы, младшие, конечно, и не думали садиться в его присутствии, но и мать и отец, хотя они оба были старше Шардына, тоже остались стоять в присутствии такого знатного родственника.

Мать, как всегда, когда Шардын приезжал к нам, сразу же повесила на цепь над огнем котел, собираясь варить мамалыгу. Отец показал мне глазами, чтоб я пошел и зарезал барашка, специально откормленного для такого случая, как этот. Однако Шардын, сын Алоу, заметив взгляд моего отца, сказал, что он спешит и у него нет времени, чтобы остаться поужинать с нами.

— Я знал, что ты ранен,— сказал он отцу,— поэтому и решил навестить тебя и твою семью. Кроме того, я хочу поговорить с вами, моими родственниками. Мы живем в тяжелое время, и у меня нет другой семьи ближе, чем ваша. Я приехал, чтобы посоветоваться.— Так говорил он, а я, слушая его, думал про себя: к чему он клонит, к добру ли?

— Да,— сказал мой отец Хамирза.— Верно, еще никогда у нас, убыхов, не было такого тяжелого времени, как теперь. Не только наша семья, но я знаю, что все, кто находится под твоим покровительством в нашей и соседних аулах, с надеждой думают о тебе. Мы счастливы, что ты выбрал наш очаг, чтобы вместе с нами посидеть перед ним в такое беспокойное время.

Шардын, сын Алоу, достал из бешмета черную сигару, мы несколько раз раньше видели у него такие сигары — ему привозили их турецкие купцы. Я достал из очага уголь, поднес ему, и он, закурив, сказал:

— Вы уже, наверное, знаете, Хаджи Керантух сегодня опять собрал совет, чтобы решить, как поступать дальше народу убыхов. Не знаю, сколько будет заседать совет, но пока что никакого решения еще не принято, и, пока длится этот совет, я хочу вам сказать то, что я думаю сам! А я думаю, что генералы царя все равно не дадут нам больше жить здесь, на нашей земле. Сраженья идут все выше и выше в горах, всё ближе и ближе сюда. Прежде чем всех нас проткнут штыками, не лучше ли все-таки попробовать спастись?

Турецкий султан, наместник аллаха на земле, спасет нас, если мы согласимся принять его подданство. Теперь нас сможет защитить только его великая мощь. Несколько дней назад у меня гостил турецкий купец из Стамбула. Я его давно знаю и верю ему. Он не только богат, но и знаком с

приближенными султана. Как я понял, сейчас он приехал сюда не только за тем, чтобы, как прежде, торговать с нами. Он рассказывал мне о наших соседях натухайцах, которые уже переселились к ним в Турцию. Султан сдержал слово, которое он дал натухайцам: он поселил их на тех землях, которые они сами себе выбрали. И места, где они поселились, оказались настоящим раем на земле. Там не бывает ни слишком холодно, ни слишком жарко, там всегда стоит такая погода, как у нас поздней весной, и растет все, что нужно человеку. Если сойка пролетит там с кукурузным зерном в клюве и выронит его на землю, уже через месяц из этого зерна вырастет высокий стебель с несколькими зрелыми початками! Он рассказывал мне, что на буйволах там только пахут, а буйволиц не доят, потому что повсюду, как у нас ольха, там растет молочное дерево: подходишь к нему, делаешь ножом надрез — и оттуда в кувшин, пеняшь, бьет густое молоко! Если хочешь сделать из него катык, то срываешь с этого же дерева всего один лист и бросаешь его в молоко — и пока доходишь до дома, молоко превращается в такой густой катык, что хоть режь ножом. А тыквы, рассказывал он, растут там такие огромные, что их ножом не разрежешь, надо колотить на куски топором. Такие чудеса рассказывал, что я сначала даже сам не поверил, но он вынул из кармана письмо, в котором обо всем этом было написано. Писал это письмо один из уехавших в Турцию натухайцев, Мурат, которого я давно знаю, и он у меня бывал гостем, и я у него, да и вы тоже о нем, наверное, слышали.

— Вот оно, это письмо, — сказал Шардын, сын Алоу, и вытащил из внутреннего кармана черкески сложенную в несколько раз бумагу. Разглядел ее, развернул и показал всем нам.

Но кто из нас мог прочитать это письмо? Не только в нашей семье, но и во всем нашем ауле не было тогда человека, который бы знал хоть одну букву хоть на каком-нибудь языке. Да, по-моему, и молочный брат моего отца — Шардын, сын Алоу, тоже плохо разбирал буквы. Он только подержал письмо у нас перед глазами и, снова спрятав его, продолжал своими словами рассказывать о том, что написал ему его друг Мурат, и расхвалил всем нам этого человека, о котором мы раньше никогда от него не слышали.

— Он и здесь, у натухайцев, был очень уважаемым человеком, а там, в Турции, получил такую большую должность, что стал близким самому великому визирю. Турецкий купец мог бы сказать мне и неправду, но разве напишет мне неправду Мурат, сын наших гор, бывавший гостем в моем доме?..

А он пишет мне, что если у нас хватит силы уйти из ада, то мы придем прямо в рай! Пишет, что если я сумею с подвластными мне людьми высадиться на райский берег Турции, то всех нас ждет там счастливая жизнь! Так он пишет, зовя нас туда. А чего нам ждать здесь? Ждать, когда русские генералы переселят нас за Кубань? Мы и здесь, среди родных нам лесов, мерзнем в такие холодные зимы, как эта, а там, на пустом месте в голой степи, как мухи погибнем от холода. И веры лишимся, и сыновей наших возьмут в солдаты, и землю там каждому придется покупать для

себя, потому что там, в России, помещики теперь не заботятся о своих крестьянах, у них отняли это право! На что вы купите там землю? А если не купите — как будете жить без земли? Мой молочный брат Хамирза, мы рождены с тобой не из одной утробы, но вскормлены одной грудью! Я сказал тебе все, что думаю я, и теперь хочу знать, что думаешь ты.

Так обратился Шардын, сын Алоу, к моему отцу. А мой отец стоял перед ним, вытянувшись, как засохшее дерево, придерживая здоровой рукой раненую.

Стало тихо. Было слышно только, как в нашем очаге голодное пламя пожирает сухие поленья. Хотя Шардын, сын Алоу, говорил о чудесах и обещал нам рай на земле, но даже раскаты грома над головой посреди зимы не могли бы так ошеломить нас, как его слова.

Мой отец молчал так долго, что у меня от ожидания пересохло в горле и мне показалось, что я сам лишился языка. Я еле расслышал первые слова отца — так тихо и медленно начал он говорить:

— Наш воспитанник, ты наша надежда, ты мудрее нас, и больше нас видел, и лучше нас знаешь, как надо поступить. Куда бы ты ни поехал, мы будем с тобой и будем служить тебе, как служили. Что еще могу сказать тебе я, умеющий только пахать и сеять? Но если ты позволишь, я хочу спросить у тебя: что решено на совете, все ли убыхи отправятся в тот путь, в который ты хочешь взять нас с собой?

— Решение еще не принято, и я не знаю, как поступят все убыхи, но у меня нет ближе людей, чем вы, и я пришел к вам сказать о моем собственном решении,— ответил Шардын, сын Алоу, и я увидел тревогу в его глазах.

— Тогда не лучше ли, наш брат, наша надежда,— сказал мой отец Хамирза, — не лучше ли разделить нам общую судьбу? Пока одни сражаются, как могут другие бросить оружие и первыми уехать за море? Как мы решимся первыми, собственной рукой, потушить очаг наших предков, первыми оставить могилы наших отцов, первыми проститься с нашей святыней — Бытхой? И что будет с землей? Будет ли там, в Турции, у нас другая земля вместо той, что мы покинем здесь? Не заставят ли нас покупать ее...

Отец не кончил, хотел сказать что-то еще, но моя мать прервала его своими рыданиями:

— Откуда я, несчастная, узнаю, что будет с моими братьями в Цебельде? Как я могу, оставив их здесь, уплыть за море? Я завидую тем, кто умер, не дожив до этого дня! — Мать горько плакала, и мои сестры стояли сзади нее и, уткнувшись головами ей в спину, тоже плакали.

Моя мать не любила плакать, и Шардын, сын Алоу, впервые услышав ее рыдания, стал укорять ее:

— Сестра моя, ты всегда удивляла мужчин своею смелостью. Тебе не подобает лить слезы в такую минуту! Твои братья-цебельдинцы — настоящие мужчины, они не останутся жить под сапогом у царских генералов. Насколько я знаю, они или ждут нас, или уже, не дождавшись, отплыли в Турцию. И ты скоро увидишь своих братьев живыми и невредимыми, там, на благословенной земле. А ты, Хамирза,— обратился он к отцу,— не тревожься: никто не заставит тебя платить там за землю. Это говорю тебе я, Шардын, сын Алоу. А здесь — кто поручится, что генералы переселят нас за Кубань, а не дальше? Так они говорят нам, пока у нас еще остается в руках оружие! Но когда его не останется, кто помешает им переселить нас не за Кубань, а прямо в холодную Сибирь, и лишит нас там веры, и крестить там наших детей?

В эту минуту, прервав его на полуслове, издалека, с побережья, донесся гром пушек. Донесся так неожиданно, словно сам шайтан вдруг выпрыгнул из-под земли около нашего очага.

— Что ты стоишь тут так спокойно, с жалкой царапиной на руке, когда, быть может, наш сын упал сейчас там, убитый этими пушками?! — воскликнула моя мать Наси.

Услышав гром пушек, она уже не плакала, а обводила всех нас, мужчин, сердитыми глазами.

— Что с тобой? — укорил ее отец.— Замолчи и не будь нетерпеливой!

И мать замолчала, но все равно продолжала смотреть на нас так, что мне хотелось провалиться сквозь землю.

А гром пушек оттуда, с побережья, все продолжал доноситься до нас.

— Если не хотите погибнуть, советую вам, начиная с этой же ночи, готовиться к переселению,— сказал Шардын, сын Алоу, и повернулся ко мне: — Ты, Зауркан, не забудь, что многие молодые люди хотели стать телохранителями у Хаджи Керантуха, но его телохранителем стал ты, и этому помог я. Я хотел приблизить тебя к нему, чтобы ваш род мог сделаться дворянским, и этому помешали только несчастья, одно за другим обрушившиеся на голову убухов. Я сам приблизил тебя к Хаджи Керантуху, но теперь я говорю, что тебе надо отойти от него! Он еще держит это в тайне, но я знаю, что он сам собирается плыть в Турцию со всеми своими родственниками и подданными. И я не хочу, чтобы внук моей кормилицы прислуживал ему не как телохранитель на войне, а как раб в дороге. Теперь ты должен оставить его и вернуться под мое попечение!

Так сказал он, словно острием кинжала уколол меня в сердце.

— Ты сказал неправду! — воскликнул я.— Хаджи Керантух будет сражаться до последней минуты своей жизни. Он не трус. Я никогда не нарушу своей клятвы и не оставлю его!..

— Что случилось с тобой? — прервал меня Шардын.— Мне не нравится, как ты говоришь со мной.

Но это не удержало меня.

— Прощу простить меня за то, что я открыл рот перед таким высоким родственником, как ты,— сказал я.— Но как мне понять тебя? Не твой ли голос я слышал, когда ты объявил газават? Не ты ли первым много раз шел в бой? Не ты ли много раз — и перед боем, и после боя — говорил нам, что каждый убитый в священной войне с гяурами попадет прямо в рай? А теперь, оказывается, можно попасть в рай, бросив оружие? И этот рай — Турция, и ты уговариваешь нас, чтобы мы уехали туда? О чем вы думали раньше, ты и другие такие же почтенные люди, как ты? Если так просто убежать в рай, то кто же тогда оценит там, на небе, кровь, пролитую в бою? Кто возьмет в рай души напрасно погибших? А ты, мой отец, для чего ты растил нас мужчинами? Для чего учил нас, что мы должны не бояться смерти, защищая свой очаг?

Я и сам не знал, что происходило со мной, но меня уже ничто не могло остановить, хотя я до этого никогда, не только при нашем родственнике, которого мы чтили, как бога, но и при своем отце, не осмеливался поднимать голос.

— Замолчи! — прервал меня отец.— Мне стыдно за тебя. Ты заговорил слишком громко даже для моих ушей. Ты покрыл нас позором, так дерзко заговорив с нашим дорогим родственником Шардыном, сыном Алоу! Разве бы он приехал сюда издалека в такой холодный зимний день, если бы не любил нас, простых, неумных людей?

Отхлестав этими словами меня, отец повернулся к Шардыну, сыну Алоу:

— Прости нас за то, что мы не сразу поняли, как мы должны ответить тебе. Если ты, самый близкий наш покровитель, уверен, что мы должны ехать с тобой в Турцию и что нас ждет там хорошая жизнь, вся моя семья поедет туда и будет неразлучна с тобой.

Отец говорил это, стоя перед Шардыном, сыном Алоу, понуро, как виноватый. Он боялся, что тот обиделся. Но наш гость, наоборот, оживился, поднялся с тахты и, хлестнув плеткой по сапогам, заговорил так, словно с самого начала никто из нас и не думал с ним спорить:

— Теперь вам надо, не теряя времени, начать собирать вещи в дорогу. Подумайте и о еде. Я поеду: я тоже должен собраться в дорогу, и если мне понадобится ваша помощь, я еще скажу вам об этом, а пока ты, Хамирза, если рана твоя, слава аллаху, не такая опасная, обойди все дома наших родственников и соседей — ты еще не стар, но они тебя уважают,— и пусть из твоих уст услышат то, что ты скажешь им от моего имени! Пусть больше не проливают напрасно свою кровь, пусть готовятся к отплытию и ни о чем не беспокоятся. Подтверди им, что Шардын, сын Алоу, будет всюду с тобой

и с ними. А если придет кто-нибудь другой и начнет уговаривать их переселиться на Кубань, пусть откажутся!

Так, сам решив все за нас, он, не теряя времени, сел на своего мула и уехал.

Такой был тогда обычай: наши дворяне, если не отправлялись в поход или в гости к другим дворянам, садились на коня, а к нам, крестьянам своей округи, ездили на мулах; по горным тропам на муле ездить спокойнее, если нет причин думать о том, как ты выглядишь.

Он уехал на своем муле, а мы, проводив его, стояли и молча смотрели на огонь, словно только что вернулись с похорон.

Мать не стала варить мамалыгу, не повесила котла над очагом, даже не загнала кур в курятник. Молча сидела и обливалась слезами. И отец не вышел доить коров, сидел у гаснущего очага, молчал и думал. На лбу у него несколько раз выступали капли пота, и он вытирал их концом башлыка.

Даже когда наша собака завyla во дворе, наверное, напуганная долетавшим с порывами ветра гулом пушек, отец не вышел, не крикнул на нее и не прогнал, хотя знал, что вой собаки к несчастью.

На дворе мычали недоенные коровы, и петух вдруг раскукарекался с вечера, словно, не дождавшись до утра, хотел раскричать по всему аулу слух о том, что хозяин дома готовится погасить Свой очаг.

Я сидел напротив отца и смотрел то на сплетенную из прутьев стену нашей пацхи*, П а ц х а — хижина. то на черный от дыма потолок, то на скованную еще моим дедом, висевшую над очагом цепь. Все это было привычным с детства, но сейчас казалось красивым и добрым, и было очень жаль все это оставить.

Еще вчера я привычно представлял себе, что будущей осенью приведу сюда, в этот дом, Фелдыш, дочь наших соседей. Соседи были не близкие, из другого аула. Мы уже давно случайно встретились с ней и потом еще много раз встречались уже не случайно на лесных тропинках, которые вели от нашего аула к их аулу. Я знал, что в моей семье догадываются об этом и уже готовятся к будущей свадьбе. Но теперь я уже не мог представить себе, как я ее приведу сюда, к нам в дом, потому что этого дома не будет.

«А будет ли наша свадьба?» — сидел и спрашивал я себя. И чем дольше я сидел и думал обо всем этом, тем больше мне хотелось поскорей дожидаться рассвета, сесть на коня и поехать к ней.

Мать иногда глубоко вздыхала сквозь слезы, чуть слышно произнося имя моего младшего брата. И сестры тоже — то вздыхали, то плакали.

Не знаю, сколько б мы так просидели, если бы вдруг не залаяла наша собака. К дому кто-то подошел. Едва я шагнул за порог, как увидел своего

брата, которого вели, почти несли двое мужчин. Они вместе со мной втащили его в дом и положили на скамью. Он был весь окровавлен, и мать и сестры бросились к нему с криком и плачем. Один из мужчин сказал про моего брата, чтобы мы не боялись, рана у него не смертельная, в бедро, его можно вылечить, а им пора уходить. И, ничего не добавив, вышел вместе со своим товарищем.

Отец велел разжечь огонь, чтобы поскорее был кипяток, вместе со мной раздел брата. Он потерял много крови и был обессилен, но рана у него была хотя и большая, но не опасная, и отец быстро справился с нею. Он умел это делать и даже славился своим умением среди наших соседей. Остановив кровь и накрепко перевязав рану, сначала дал брату попить разбавленного наполовину водой мацони, а потом заставил его съесть жидкой каши с медом. И только после этого, сев рядом с братом, впервые за все время открыл рот:

— Аллах смилостивился над тобой и над нами. Ты вернулся домой живым.

— Лучше бы мне не возвращаться,— задыхаясь, словно ему не хватало воздуха, сказал мой младший брат Мата.— Все пропало, отец, все пропало. Нас истребили. Там, где мы сражались, вся земля покрыта нашими мертвыми телами. Нас осталось в живых всего несколько всадников, и у нас кончились пули и кончился порох. Мы с криком бросились прямо на цепь солдат и, хотя кругом был такой огонь, что, казалось, дымились гривы наших коней, все-таки вырвались к берегу моря. Но пуля пробила мне бедро и убила моего коня. Я упал под него, он придавил меня. Лежа на земле, я видел, как последние оставшиеся в живых, подскакав к обрыву, прыгали с него прямо в море и голодное море глотало их вместе с конями. Где мои товарищи? Почему пуля не убила меня и я лежу у этого очага, опозорив твою старость?

— Успокойся,— сказал отец.— Никогда все не погибают в одной битве, всегда кто-то остается жив, чтобы сразиться и погибнуть в другой.

Говоря эти слова, отец гладил голову Маты, а потом уже ничего не говорил, только гладил. И Мата забылся сном, и мы сидели вокруг него и не спали до тех пор, пока солнце не поднялось над снежными вершинами.

Наш дом был набит горем, а солнце светило как на празднике. Отец велел матери и сестрам приготовить завтрак, а потом заставил всех сытно поесть. Брата тоже. Он наконец проснулся и чувствовал себя гораздо лучше, чем вчера.

Отец надел на себя все самое лучшее, что у него было, сел на свое главное место за столом и оглядел нас всех по очереди.

— Все вы, и мужчины и женщины, не должны падать духом. Мы никогда не думали, что это может случиться, но наш молочный брат Шардын, сын

Алоу, прав: мы все умрем, если останемся на этой земле. Мы должны искать такую землю, где нет войны, и нам пора собираться в дорогу.

— Куда — в дорогу? О чем ты говоришь? — закричал мой брат и сел на лавку, хотя его перекосило от боли. То, над чем мы терзались всю ночь, было для него новостью.

— Успокойся. Мы поплывем в благословенную землю всех мусульман, в Турцию. Султан примет нас в подданство и даст нам землю. Наш молочный брат, Шардын, сын Алоу, обещал покровительствовать нам и в Турции, и по пути туда, и нам остается только собраться вместе с ним в дорогу, — сказал отец с такой покорностью, словно нам и правда больше ничего не оставалось делать.

— Что ты говоришь? — закричал Мата, услышав это, и снова, морщась от боли, сел на лавку. — Что с тобой? Всего неделю назад ты послал меня воевать с русскими. Всего три дня назад тебя ранили. Вспомни, в скольких битвах ты был. Посчитай свои шрамы!

— Ляг, у тебя жар, — сказал отец и заставил Мату лечь. — Тебе нельзя кричать. Я хорошо помню все свои шрамы, но если мы будем дальше воевать, от нас, от убыхов, никого не останется.

— Не верю, что так думает весь наш народ, — сказал я отцу. — Не верю, что наш предводитель Хаджи Керантух сложит оружие. Не верю, что нам будет хорошо, если мы бежим в Турцию. Не верю рассказам Шардына, сына Алоу. Отец, не дай себя обмануть!

Мы оба, то я, то Мата, поочередно уговаривали отца отказаться от задуманного Шардыном, сыном Алоу. Он сидел, слушал, не спорил и не соглашался. Сидел и молчал. Потом взял свой посох. И уже на пороге обернулся к нам:

— Хорошо. Подождем, как решит народ. Зауркан, отправляйся к Хаджи Керантуху и оставайся его телохранителем. Раз он вчера собрал совет, значит, сегодня или завтра они что-то должны решить. Я обойду всех соседей. Я обещал передать им желание Шардына, сына Алоу, чтобы они переселились вместе с ним в Турцию, и я передам им это и выслушаю, что скажет мне каждый из них.

— Отец, не ходи! — закричал Мата и чуть не вскочил с лавки вслед отцу. — Не ходи! Когда другие мужчины воюют там, где еще и сегодня слышен голос пушек, как ты можешь ходить от соседа к соседу, уговаривая их бросить эту землю, за которую еще льется кровь!

— Замолчи! — закричал отец.

— Он замолчит, но он прав. Ты не должен никуда идти, отец, — вмешался я.

— Пусть я умру, но ты не уйдешь! — крикнул мой брат Мата и, сбросив с себя все, чем он был накрыт, встал на ноги, зашатался, как подрубленный, и, прежде чем я успел подскочить, рухнул без сознания.

Мать и сестры вслед за мной бросились к нему. Отец повернулся и вышел из дому.

Последний совет в каштановом доме

Совет — или, как мы потом привыкли говорить в Турции, меджлис, — правящий народом там, у нас, в стране убухов, состоял из тринадцати человек и еще из двух представителей абхазских племен садзов и ахчипсовцев, которые в те времена чаще склонялись к нам, чем к абхазцам.

Сама наша страна убухов делилась на одиннадцать частей, вроде турецких вилайетов, и тот, кто предводительствовал в каждой из этих частей, тот и был в совете. От наших мест там был Шардын, сын Алоу. А кроме всех них в совет входили еще два человека: наш главный мулла Сахаткери и Муса, как мне тогда казалось, самый ученый и, как я теперь думаю, просто самый грамотный из всех нас, убухов. Он сидел и записывал все, что решалось на собраниях совета. Я никогда не слышал его голоса, он всегда сидел молча, низко опустив голову, за маленьким треугольным столиком, на котором лежало много перьев, и он брал то одно, то другое и писал арабскими буквами справа налево, все подряд, ничего не пропуская.

Совет собирался в селении Митхас, где жил Хаджи Керантух и весь род Берзеков, к которому он принадлежал. Летом совет сходил в тени нескольких стоявших полукругом больших дубов, а зимою — в сообща построенном доме из древесины каштана.

В этом каштановом доме и было при мне принято то самое решение о переселении убухов в Турцию, которое потом, в конце концов, привело нас к тому, что я, наверное, последний человек, который говорит с тобой на языке убухов.

Было самое начало весны, накануне стоял мороз, ночью пошел сильный дождь, такой сильный, что к утру только в оврагах остался еще грязный снег. После дождя небо стало голубым, но пока мы подъехали с Хаджи Керантухом к каштановому дому, снова начал сыпать дождь пополам со снегом.

Обычно в такие дни никто и носа не высовывал во двор, старался греться дома у очага. Но в это утро на поляне вокруг каштанового дома толпились сотни людей, лица у них были печальные, как на похоронах.

Хаджи Керантух спешил около каштанового дома. Остальные члены совета уже ждали его перед домом и вошли внутрь вслед за ним.

Я хорошо помню и расскажу тебе, как там все было, внутри этого каштанового дома. Хаджи Керантух сидел отдельно от всех, в большом кресле, а все остальные сидели справа и слева от него на длинных скамейках. За их спинами стояли, как мы их называли, «люди с соколиными умами», не знатные, но прославившиеся в народе убыхов своими умными речами и мудрыми советами. Среди них был и Соулах, хранитель нашей святыни Бытхи. Хаджи Керантух уже немало лет был признанным всеми главою совета, и я как его телохранитель имел право присутствовать в этом каштановом доме где-нибудь поодаль, позади него.

Последним из всех в то утро вошел в каштановый дом мулла Сахаткери. Он медленно шел в своей высокой чалме, так осторожно передвигая ноги, словно на голове у него стояла чаша, полная воды. Он прошел мимо всех, ни на кого не глядя, и сел ближе всех к Хаджи Керантуху.

Места предводителей садзов и ахчипсовцев пустовали. Они в это утро не пришли на совет. Зато пришли все, кто был мудр, стар и за кем утвердилось право сказать здесь свое слово. Они толпой стояли позади скамеек членов совета, смотрели на Хаджи Керантуху и молча ждали, с чего он начнет заседание. Обычно он начинал быстро и сразу так, словно хотел успеть выстрелить первым, но в это утро долго молчал; сидел, опираясь ладонями о колени, и смотрел в пол. Глаза у него были припухшие от бессонницы. Наконец он поднял голову, оглядел всех, быстро встал, сдвинул на затылок черную папаху, поправил свой большой кинжал, положил обе руки на рукоять и сказал:

— Как идет война — вы уже знаете, и я ничего не могу добавить к тому, что говорил об этом вчера. Русские наступают со всех сторон. Теперь они подошли к нам совсем близко, не только с моря, но и с севера. Об этом уже ночью сказали мне наши лазутчики. Третьего дня с вашего согласия я послал к генералу Гейману моего родного дядю для переговоров о перемирии, и мы до сих пор ничего не знаем о нем. Может быть, его убили, а может быть, взяли в плен. Вы сами видите пустые места,— наверное, садзы и ахчипсовцы не приехали потому, что заколебались. Наши соседи шапсуги после долгих сражений, как вы уже слышали, сложили оружие. Натухайцы начали переселяться за море, а все остальные колеблются. Я надеюсь, что псхувцы, дальцы и цебельдинцы, если им не помешает владетельный князь Абхазии Хамутбей Чачба, все-таки не нарушат слово, которое они дали, и придут к нам на помощь. Надо ли мне говорить вам, что сегодня наступил день, тяжелее которого еще не было у нас, убыхов? Сегодня мы еще не знаем, что предстоит нам завтра — война или мир, свобода, рабство или переселение. Народ убыхов ждет, что мы решим и куда мы его поведем. Давайте решать, как нам быть. Даже если бы мы и хотели этого, нам все равно поздно откладывать свои решения!

Хаджи Керантух обвел всех, кто сидел и стоял вокруг него в каштановом доме, своим сильным и тяжелым взглядом и снова сел, упершись ладонями в колени, а глазами — в пол.

Все долго молчали, а я старался догадаться, кто заговорит первым. И думал о Шардыне, сыне Алоу, который уже давно решил переселиться в Турцию, но вряд ли решится вслух сказать об этом здесь, сейчас, в присутствии Хаджи Керантуха, а если скажет, то, наверное, прольется кровь. Думая об этом, я смотрел на Шардына, сына Алоу, но он сидел так спокойно, словно ничего не происходило, и пальцами теребил кончик своей черной бороды.

Я так и не угадал, кто заговорит первым.

А первым со своего места вскочил мулла Сахаткери. Сначала, сложив вместе ладони и подняв их перед своей жидкой бородой, он дрожащим голосом пропел как молитву:

— О аллах, мы твои рабы, не лишай нас, грешных, твоей милости, благослови нас! — Потом скрестил руки на груди и обвел глазами всех, кто был в доме. Даже шею вытянул, чтобы увидеть тех, кого заслоняли другие.
— Будущее начертано на наших лбах великим аллахом. Быть может, не навсегда, но на время нашему народу предназначено переселиться с этой земли. Такова наша судьба, а сопротивляться судьбе, предназначенной нам аллахом, — грех! Гяуры заставили нас избрать дорогу изгнания, и она поведет нас через морские просторы в Турцию, в благословенную землю султана, властелина полмира. Эта почитаемая земля по велению султана с распростертыми руками зовет к себе всех мусульман! Я хочу спросить вас, о почтенные члены совета, если так, то что нас задерживает здесь? Чего мы здесь ждем? Дьявольские замыслы царских генералов переселить нас на равнины Кубани могут вселить в нас только отвращение. Как мы, правоверные, будем жить в этом логове гяуров? Кто из нас захочет оказаться в этом аду, когда перед нами открыта дорога в истинный рай на земле?

Для многих из собравшихся в каштановом доме слова Сахаткери давно уже не были новостью. Он еще никогда так открыто и громко не говорил об этом на совете, но уже несколько лет, разговаривая то с одним, то с другим, постоянно призывал к переселению в Турцию.

Я заметил, что на лицах некоторых из тех, кто раньше не хотел слышать об этом, сейчас можно было прочесть одобрение. Однако отнюдь не все разделяли это чувство.

Первым как ужаленный вскочил Ноурыз, сын Баракая, известный своим неукротимым нравом. Низенький, но могучий и широкогрудый, он сорвал с головы папаху, швырнул ее перед собой на пол и, сдвинув густые черные брови, пронзительно выкрикнул:

— Это не собрание мужчин, это сборище старух и гадалок! Зачем мы третий день сидим здесь и гадаем, когда настоящие мужчины сражаются? Если мы будем и дальше гадать, вместо того чтоб сражаться, давайте хотя бы снимем с себя мужскую одежду, не будем ее позорить, и оденемся в женские платья, и будем варить мамалыгу для гяуров и прислуживать им за столом.

Крестьяне перестают платить нам подати, потому что мы, дворяне, перестаем быть воинами. Хозяин коня не станет просить, чтоб ему одолжили коня! У нас есть своя земля, зачем нам просить для себя чужую? Наш дом здесь, а не в Турции и не на Кубани. Пусть трусы уходят куда хотят, а храбрые останутся сражаться, пока жив хоть один убых!

Он поднял с пола папаху, отряхнул пыль и положил папаху рядом с собой.

— Ноурыз прав! — раздалось сразу несколько громких голосов.

— Мы не были и не будем рабами! — стиснув обеими руками тонкую талию, крикнул Мурат, сын Хирипса, высокий, худой, чернобородый, с наголо выбритой головой. — Если мы не сдадимся, вслед за нами пойдут в бой все, кто сейчас боится, что мы сдадимся!

— Да, мы будем сражаться. Еще посмотрим, кто останется живым и кто ляжет мертвым — мы или наши враги! — закричал кто-то — кто, я теперь уже не помню.

— Подождите. Тот, кто решает, не успев подумать, гибнет, не успев выстрелить, — среди общего возбуждения медленно и громко сказал старик Сит. Он был наш родственник, муж старшей из моих теток, и считался среди крестьян мудрым и справедливым человеком. Его приглашали решать споры, даже самые жестокие, — из-за земли и из-за пролитой крови. И сам Хаджи Керантух считался с его мнением.

Услышав голос Сита, все обернулись к нему, но он ничего не добавил.

— Ты мудрый человек, Сит, — сказал Хаджи Керантух. — Раз ты начал — продолжай, мы хотим знать, что ты думаешь.

— Мой маленький ум не для такого большого дела, — сказал Сит. — Три моих сына ушли сражаться, я не знаю, что с ними, но если они вернутся живыми, мы все четверо согласимся с вашим решением, каким бы оно ни было. Но просим вас не торопиться и подумать. Не ошибитесь! Не спутайте утреннюю зарю с вечерней. Мои старые глаза хотят видеть утреннюю зарю, а видят послеза-катную, и мне чудится, что она кровавая и сочится холодными слезами.

Только потом, много дней спустя, я задумался над этими словами старика Сита. Тогда мне было не до них: я глядел во все глаза на двух людей, от которых больше всего зависели — от одного общее решение, от другого — судьба моей семьи.

Шардын, сын Алоу, сидел молча и невозмутимо, так, словно он в душе уже давно все решил.

Хаджи Керантух тоже молчал. Он казался мне неприступной крепостью, которая никогда и никому не сдастся. Грех сказать, но в тот день я верил в него больше, чем в пророка!

В тишине, продолжавшейся, наверное, целую минуту после слов старого Сита, поднялся Ахмет, сын Баракая, младший брат неукротимого Ноурыза. Он был такой же широкоплечий, как брат, но такой статный, что его тонкую талию, казалось, можно было перерезать ножницами. Борода у него была коротко подстрижена, а из-под черкески черного сукна виднелся белоснежный архалук. Я знал, что Хаджи Керантух в душе ненавидел этого человека, но скрывал свою ненависть, боясь, что, если они открыто столкнутся, Ахмет может перейти к русским.

Ахмет, сын Баракая, заговорил не сразу. Сначала погладил рукоять своего щегольского, в серебряных ножнах кинжала, потом вынул свои золотые часы, взглянул на них, щелкнул крышкой, спрятал — и только после этого заговорил тонким, громким, хорошо слышным голосом:

— Мы уже не раз спорили, как нам быть, и дождались того, что все мы, убыхи, висим на сухой ветке над пропастью и слышим, как она трещит у нас над головой. Кто в этом виноват? Больше всего — мы сами. Я не побоюсь сказать открыто то, что каждый из нас понимает про себя. Мы не должны были вести войну с бесчисленными войсками русского царя. И наши предки, и мы сами воевали зажмурясь, боясь увидеть всю силу нашего врага и сравнить ее с нашей силой.

— Разве ты только сегодня проснулся, Ахмет, сын Баракая? — вскочив, крикнул ему Хаджи Керантух. — Не ты ли сам, еще в те дни, когда Хаджи Берзек, сын Адагвы, предводительствовал нашим войском, громче всех призывал народ к войне? Не ты ли ездил в Турцию и в Англию за помощью? Не ты ли возил нам на кораблях пушки и ружья? Почему же ты говоришь сегодня как новорожденный?

— Или как заяц, который хочет замести свои следы! — крикнул мулла Сахаткери.

Но Ахмет, сын Баракая, стоял неподвижно до тех пор, пока не стихли крики и брань.

— Ты прав, Хаджи Керантух, — сказал он. — Я ошибался так же, как все вы, и не реже, чем вы, обнажал шашку против русских. И все-таки, несмотря на всю нашу храбрость, это грозит нам гибелью. Грозит давно, начиная с первых наших выстрелов. Мы бились головой об камень, и голова разбита, а камень цел. И во всем этом нельзя винить только генералов русского царя. Было время, когда мы, вожди убыхов, мирились с ними, соглашались получать от них офицерские чины и брать жалованье. Но потом, надеясь на силу султана, сами возобновили войну против русских генералов. И наша беда в том, что султан, который внушил нам веру в то, что он всемогущ, и хочет, чтобы мы проливали за него свою кровь, сам боится воевать из-за нас

с русским царем. Вот почему наше положение безвыходно, и, уже давно поняв это, мы должны были помириться с русскими!..

На этом месте Ноурыз не выдержал и перебил своего младшего брата.

— Если кто из нас и разбил голову — это ты! — крикнул он. — Ты пришел сюда с разбитой головой, с жалким советом просить пощады у гяуров. Если даже кто-то другой из присутствующих здесь согласится с этим трусливым советом, то ответь мне, мой брат Ахмет, как мы с тобой, рожденные одной матерью, можем примириться с русскими? Кто поднял на штыки наших двух братьев? Кто оплатит за их кровь, если мы с тобой станем друзьями гяуров? Клянусь покойным отцом, если ты повторишь еще раз, что хочешь примирения с гяурами, я зарублю тебя. Не доводи меня до братоубийства. Уходи. Оставь нас!

Он уже до половины вытащил кинжал, и его еле-еле уняли.

— Дай мне возможность договорить, — стоя все так же неподвижно и даже не обернувшись в сторону брата, сказал Ахмет, сын Баракая, обращаясь к Хаджи Керантуху. — Даже если бы вы уже приговорили меня к казни, я все равно по обычаю имею право сказать последнее слово.

— Ты уже все сказал! — крикнул Ноурыз.

— Потерпи. Дослушаем его до конца, — сказал Хаджи Керантух.

— Как вы знаете, грузин гораздо больше, чем нас, и, однако, они не пошли войной против русского царя, — дождавшись тишины в доме, сказал Ахмет, сын Баракая. — Они стали подданными царя, но сохранили свою землю и свой язык и, кто знает, может быть, когда-нибудь еще вернут себе и свободу.

— Я ожидал от тебя всего, Ахмет, сын Баракая, но не знал, что ты способен изменить своей вере, — сказал мулла Сахаткери. — С кем ты нас сравниваешь? Грузины и русские — христиане, у них одна вера, поэтому они и примирились, а мы, мусульмане, были и будем вечными врагами гяуров.

Мулла Сахаткери поднялся, чтобы сказать это, и, сказав, снова сел, словно не мог ожидать возражений на свои слова.

Но Ахмет, сын Баракая, все-таки возразил ему.

— Достопочтенный Сахаткери, — сказал он, — ты знаешь не хуже меня, что в народе до сих пор помнят, как тысячу лет назад мы принимали христианскую веру и, хотя уже давно считаем себя мусульманами, продолжаем праздновать рождество и пасху. Мы не были вечными врагами гяуров в прошлом и можем не быть ими и в будущем...

На этот раз Ноурыз снова швырнул папаху на пол и выхватил из ножен кинжал уже не до половины, а весь.

— Хаджи Керантух, ты слышал, как я поклялся своим покойным отцом? Если ты не выгонишь сейчас же отсюда этого человека, я зарежу его как скотину здесь, в доме! Отныне, Ахмет, ты не сын Баракая, ты не мой брат, ты — втайне крещенный русскими отступник от веры, ты изменник, ты грешник. Оставь нас!

Соседи Ноурыза, навалившись со всех сторон, еле удержали его, а Хаджи Керантух встал и начал ходить взад и вперед. Потом медленно подошел к Ахмету, сыну Баракая:

— Что еще ты хочешь сказать нам? Что русские генералы соблазнили тебя; когда ты был в Англии, тебе подарили там золоченую саблю, а чем подкупили тебя они? Тогда, вернувшись из Англии, ты обнадежил нас, что англичане помогут, и подстрекал нас против русских. Когда сегодня мы висим, как ты говоришь, на сухой ветке, ты хочешь сказать, что ты ни при чем? Да, ты действительно дошел до конца!

— Все мы дошли до конца. Прежде всего — ты,— по-прежнему спокойно, не повышая голоса, сказал Ахмет, сын Баракая.— Разве я виноват, что англичане обманули нас? Да, я привез сюда немало английского оружия. Но чем дальше, тем яснее я вижу, что они сами не будут воевать из-за нас с русским царем. Кто мы для них? Горстка диких людей! Когда я был в Лондоне, они чаще обращали внимание на мою странную для них одежду, чем на наше несчастье. И не пугай меня русскими генералами. Даже в тех местах, которые они захватили силою и пролили много крови, они не убивали тех, кто им сдался, и не истребляли их жен и детей. Они не убили даже Шамиля с его женами и детьми, а только увезли его в Россию. Дагестанцы, которые подчинились их силе, не истреблены, а продолжают жить в своих домах. Наши соседи шапсуги — те из них, кто не ушел за море, — тоже не истреблены и живут в своих домах. Я не хуже тебя знаю жестокость русских генералов, когда они воюют, но когда они не воюют — они не убийцы. Я слышал, что среди них нашелся даже какой-то один, который изобрел для нас, горцев, буквы и хочет издать на них азбуку. Я вижу только два выхода для нашего народа: или погибнуть до последнего человека в битвах, или понять, что враг победил нас и — пусть теперь поступает с нами как хочет, как велит его совесть. Я больше верю тем, кто шел против нас с обнаженной шашкой, чем тем, кто тайно продавал нам свое оружие, но никогда не хотел проливать за нас свою кровь. Я много раз бывал в Турции и знаю, что нас, мужчин, не ждет там ничего хорошего. Мы мужчины, и мы не можем, как наши сестры, стать наложницами в гаремах! Покинувший свою землю будет страдать до конца! Я знаю одно: если мы, убьихи, покинем ее — нас не будет. А теперь делайте со мной что хотите: изгоняйте или убивайте.

Сказав это, Ахмет, сын Баракая, не сел обратно на свое место, а стал среди других толпившихся вокруг людей. Он сам уже не считал себя больше членом совета.

Его последние слова были такими сильными, что все молчали. Вдруг снаружи донесся топот коней, шаги спешившихся, и все посмотрели на открывшуюся дверь, в которой показался дядя Хаджи Керантуха — Берзек Арсланбей, которого посылали для переговоров о перемирии к генералу Гейману. Не оборачиваясь, он скинул с плеч мокрую бурку на руки телохранителю и с низко опущенной головой стоял среди вставших ему навстречу членов совета. Они встали, словно только стоя на ногах можно было выдержать ту страшную тяжесть, которая должна была упасть на их плечи.

— С чем ты вернулся? — спросил Хаджи Керантух.

— Я принес плохие вести, — сказал Берзек Арсланбей. — Генерал Гейман долго не принимал нас, и мы ждали его, как арестованные. Потом, когда солдаты повели нас к нему, он даже не захотел нас выслушать и сказал: «Поздно. Между нами и вами уже не будет мира! Те из вас, кто согласен переселиться на равнины Кубани, пусть идут через нас, мы их пропустим, а для тех, кто хочет переселиться в Турцию, мы освободим три дороги. Пусть они идут по этим трем дорогам к морю и садятся на корабли, которые их ждут. А здесь, где вы жили, мы отныне не разрешим жить ни одному из вас».

Он отправил нас обратно, а сам возобновил войну, сжигая и разрушая все, что попадаете ему на пути. Он идет быстро и через два или три дня будет здесь!

Я еще не понял, что произойдет, но почувствовал, что нас ждет что-то страшное, и с последней надеждой смотрел на Хаджи Керантуха.

Он бессильно опустился на свое место, словно его потянула вниз какая-то невидимая сила, и обхватил голову руками.

Некоторые опустились вслед за ним, другие ошеломленно стояли.

Ты, наверное, видел изломанный ураганом лес? Так выглядели в ту минуту убыхи, собравшиеся в доме совета.

Снаружи снова послышался топот коня, и в дом вбежал задыхавшийся от скачки человек, тиская в руках мокрый башлык и нагайку.

— Хаджи Керантух, главный капитан турецких кораблей Эффенди Сулейман велел передать тебе: «Уже третьи сутки мы стоим у берега, и никто не платит нам за это. Если вы сегодня к ночи не скажете нам, нужны мы или нет, наши корабли вместе с кораблями английских контрабандистов уйдут в море!»

— Убирайся! — свирепо крикнул ему Хаджи Керантух.

Воин вышел с опущенной головой. Он провинился, крикнув при всех то, что должен был сказать Хаджи Керантуху наедине, выдал, что Хаджи Керантух принял решение раньше, чем собрал совет.

Но тогда, в ту минуту, я не понял, в чем он провинился. Понял только потом.

— Пусть выйдут все, кроме членов совета,— сказал Хаджи Керантух.— И ты, Ахмет, сын Баракая, тоже выйди, тебе нечего делать здесь.

И мы, пропуская вперед старших, стали один за другим выходить из дома. Самым последним, пропустив впереди себя всех, вышел Ахмет, сын Баракая.

День уже начинал клониться к закату, тучи разошлись, но дул такой пронизывающий ветер, что солнце казалось холодным. Вся поляна была полна людей — пеших и конных. Я не сразу заметил отца, заметил только, когда он, взяв меня за плечо, вывел из толпы.

— Что решил совет: переселяемся мы или остаемся? — спросил он меня.

— Еще идут споры,— сказал я.

— Кому они нужны? Время уже решило их,— сказал отец.— Наш молочный брат был прав. Ты подожди здесь, пока не выйдут члены совета, а я вернусь в дом Шардына. Я уже был там. Они готовятся к переселению и просили меня помочь. Я говорил с нашими соседями, некоторые из них не согласны, но теперь пусть сам Шардын, сын Алоу, поедет и поговорит с ними!

Я стоял ошеломленный. Отец говорил со мной так, как будто все уже решено. Неужели правда все уже решено? Я стоял в смятении, прислонившись к окружающему дом плетню, когда из дома вышли члены совета во главе с Хаджи Керантухом.

Увидев их, толпа придвинулась к дому.

— Выслушайте наше решение,— сказал Хаджи Керантух, и, услышав его знакомый громкий голос, я подумал, что сейчас он поведет нас в бой. Я все еще хотел этого! — Сегодня в полночь мы прекращаем войну с русскими. Они одолели нас и пусть владеют нашей землей, но не нами! Великий султан, узнав о нашей беде, отвел нам самые лучшие земли в Турции и прислал корабли, на которых мы поплывем по морю. Мы поплывем туда, веря, что еще придет время, когда мы вернемся вместе с войсками султана, а сейчас мы должны уйти отсюда, но не как стадо, разогнанное волком, а все вместе — каждая округа во главе со своими предводителями. Завтра в полдень мы соберемся у нашей святыни Бытхи и произнесем перед ней клятву быть вместе, и да проклянет она того, кто изберет другой путь, чем мы! Седлайте коней, отправляйтесь предупредить всех людей во всех селениях, по всей стране убыхов о нашем решении. Мы пошлем гонцов в

Ахчипсоу, в Псху, в Дал, в Цебельду. Мы долго сражались бок о бок с ними, пусть они теперь едут вместе с нами. После того как мы завтра принесем клятву, мы спустимся к морю и сядем на корабли.

Сказать тебе по правде, я был готов к смерти, к чему угодно, но только не к этому! Где он, тот Хаджи Керантух, герой из героев, который столько раз вел нас, убыхов, в кровавые битвы, которому мы верили, что он никогда не станет на колени ни перед каким врагом?! Я думал о себе, что я телохранитель великана. Сейчас передо мной стоял и говорил эти слова самый обыкновенный человек, советовавший нам, как лучше убежать от врага.

Вдруг кто-то, проталкиваясь через толпу, отодвинул меня плечом и, выйдя вперед, стал перед Хаджи Керантухом. Это был русский Афанасий — так мы привыкли называть его. Он и правда был когда-то русским солдатом, но еще двадцать лет назад по доброй воле перешел к нам, женился на убышке, принял наш язык и наши обычаи. С трудом продравшись сквозь толпу, он встал перед Хаджи Керантухом, стащил с головы войлочную шапку и низко поклонился:

— Прошу, дай мне сказать только одно слово.

И когда Хаджи Керантух не ответил ни да ни нет, старый солдат повернулся лицом к нам и сказал на чистом убыхском языке:

— По вере и крови я один из тех, кто сейчас воюет с вами, и вы вправе не верить мне! Но когда русский генерал придет сюда, он первым повесит на этом дереве меня, и поэтому вы должны верить мне! Я не хотел в вас стрелять и ушел из армии русского царя, и ваша сестра стала моей женой и родила мне двух сыновей. Ради них, ради неба и земли, ради бога и всех святых не спешите уйти отсюда в Турцию, не оставляйте свою землю сиротой! Вы не знаете, что ждет вас здесь, но ведь вы не знаете и того, что ждет вас там! А здесь все-таки наша земля. Не уходите с нее. Пусть как будет, так и будет!

— Молчи, гяур! — крикнул ему мулла Сахаткери и сжал кулаки так, словно готов был ударить его.

— Он русский. Он хочет, чтобы солдаты пришли и проткнули нас штыками!
— крикнул кто-то из толпы.

Стоявший рядом со мной маленький, согбенный в дугу старик, навалившись на посох, который глубоко вошел в мокрую землю, тяжело вздохнул и прошептал:

— Счастливы наши предки — умерли, не увидев этого страшного времени.

— Несите сено, — приказал Хаджи Керантух, и несколько молодых людей бросились к навесу у коновязи, под которым лежало сено для лошадей.

Хаджи Керантух торопил их, и они — один за другим — вбегали в дом с охапками сена и выбегали за новыми. Когда они перетащили туда почти все сено, Хаджи Керантух остановил их, поднялся в дом и поджег сено.

Он вернулся, а сзади него почти сразу же из густого дыма показались острые языки пламени.

Оцепеневшая толпа задвигалась и зашумела:

— Чем виноват этот дом?

— А кому ты хотел оставить его?

— О аллах, пощади нас!

— Пусть лучше бы нас убили здесь, чем потонуть с кораблем по дороге!

— Если ты такой храбрый, зачем стоишь здесь? Бери оружие и встречай генерала!

Вдруг среди этих многих голосов раздался один, самый пронзительный и отчаянный:

— А свои дома тоже сжигать?

Пожар разгорался все сильнее, кругом в ближних дворах сначала лаяли, а потом начали выть собаки.

Хаджи Керантух пошел к коновязи, где стоял его конь, и на полдороге остановился, наверное, ждал, что я, как обычно, поспешу подвести к нему коня и подержу ему стремя, когда он будет садиться.

Но я не подошел. Я стоял в толпе и смотрел, как горит каштановый дом. Наверное, кто-то другой помог Хаджи Керантуху сесть на коня. Я видел, как он проскакал мимо, освещенный заревом.

А дом все еще горел. Пламя, пробив крышу, улетало в вечернее небо, разбрасывая искры.

Люди все еще не расходились, словно хотели взять здесь, на этом пожаре, по последней пригоршне тепла перед тем, как плыть на чужбину. А мне казалось, что я лечу куда-то в бездонную пропасть. Где-то по дороге мелькали искаженные страхом и болью лица, блуждающие глаза, шепчущие что-то губы, дрожащие подбородки.

Кто-то тронул мое плечо. Я обернулся и увидел Шардына, сына Алоу, верхом на его низкорослом муле.

— Скорей садись на коня и поезжай вслед за мной! Слава аллаху, теперь ты наконец узнал настоящую цену своему господину Хаджи Керантуху, за

которого хотел отдать свою глупую голову.— Он зло рассмеялся и тронул своего мула.

«Да есть ли у тебя сердце, если ты можешь смеяться в такое время?» — подумал я о нем, холодея от отчаяния. Я уже не любил Хаджи Керантуха, но Шардына, сына Алоу, в эту минуту я не любил еще больше.

Горсть земли

Удостоверившись, что убыхи переселяются в Турцию, царские генералы остановили свои войска, а турки обещали прислать еще другие, новые корабли,— и наше переселение растянулось почти на две недели. Не знаю, лучше это было или хуже, но мне казалось, что хуже. Когда знаешь, что все равно умрешь, лучше умирать быстрее, чем медленней.

В тот день, когда мы собрались на поляне у нашей святыни Бытхи, хранитель Бытхи — Соулах, зарезав нескольких белых, приготовленных для жертвы коз, нанизал на остро очинённую ореховую палочку только что сваренные, еще горячие, дымящиеся печень и сердце и начал молиться. Мы опустились вокруг него на поляне и тоже молились. Голос Соулаха прерывался, а по щекам его текли слезы. Он молился нашей святыне, не рассказывая ей о том, что мы покидаем свою землю, но сам, наверное, все время помнил об этом и поэтому плакал.

— Не дай погибнуть нам, о Бытха! — со слезами воскликнул он, заканчивая молитву, и мы хором несколько раз повторили вслед за ним:

— Аминь! Аминь!

После этого мы по очереди, один за другим, стали подходить к святыне, принося клятву, что если кто-нибудь из нас не пойдет вместе со всеми, то пусть наша святыня обречет его на гибель и вечное проклятие, его самого, и всех его детей, и всех его родных!

Когда мы после молитвы съели вареное мясо отданных в жертву коз, Соулах сказал нам:

— Мы уходим всем народом в чужую землю. Кто же будет молиться здесь перед нашей святыней? Как мы можем оставить ее без молитвы, как жернов заброшенной мельницы без воды? Я прошу разрешения у народа прикоснуться к нашей святыне и взять с собой ее частицу, чтобы и вдалеке находиться под ее благословением.

Наши старейшины сначала не соглашались прикоснуться к святыне, считая это грехом, но потом, подумав, послушались Соулаха. Три столетних старика вместе с ним вынули Бытху из ее подземного обиталища, в котором никто никогда к ней не прикасался.

Я тогда в первый и в последний раз увидел ее. Она была вырезана из камня и больше всего была похожа на орла. Глаза у нее были сделаны из золотых пластинок, а клюв, крылья и когти из серебра.

После молитвы мы положили ее обратно, в ее подземное обиталище. Это была большая, или, как называл ее Соулах, старшая Бытха. Но там же, вместе с ней, лежала еще и маленькая, младшая Бытха, тоже каменная, с золотом и серебром, но размером с голубя.

Старики вместе с Соулахом взяли ее, обернули несколько раз в облитый воском холст и положили в крепкую кожаную сумку. В день переселения Соулах привязал эту сумку к своему поясу, и по дороге к берегу, и на корабле, и когда мы высадились в Турции, всюду, где бы мы ни были, какие бы страдания ни терпели, младшая Бытха была с нами. Потом, через много лет, с нею случилась беда, из-за нее погиб человек, на которого мы смотрели как на надежду нашего народа. Но я не хочу забежать вперед и рассказывать тебе об этом сейчас, расскажу потом, когда дойдет до этого...

В тот вечер Зауркан так и остановился на полуслове, не захотел больше ничего говорить, и на следующее утро тоже долго молчал. Сидел на обрубке дерева и молча крошил табак, который ему принес Бирам. Я уже заметил, что он любит возиться с табаком сам: сначала режет его длинными нитями, потом сушит на солнце, потом крошит. Он сидел и крошил табак, а я, вспоминая его вчерашний рассказ о Бытхе, сопоставлял услышанное с тем, что я слышал и читал раньше о других, похожих на нее, святынях горцев. Сопоставлял и записывал приходившие мне в голову мысли.

По своему смыслу слово «бытха» обозначает не просто предмет, которому поклоняются, а и сам предмет, и те потусторонние свойства, которые связываются с ним в представлении народа, и то место, где он находился: тот холм, где вырыто для него вместилище, и тот холодный ключ, который непременно должен бежать рядом,— все это единое целое, потому, наверное, ни Соулаху, ни старейшинам убыхов и не пришло в голову взять с собой старшую Бытху. И они взяли только младшую, оставив старшую на месте. А эта, младшая, стала для них как бы представительницей старшей, представительницей всего, что осталось там, на их родной земле.

Что касается этимологии слова «бытха», то, если лингвистически расчленить его, вторая часть его — «тха» — может означать адыгское слово «тха» — бог. Но что в таком случае должна означать первая часть — «бы»? Я мог бы задать старику этот вопрос, но как-то душа не лежала делать это, да и вряд ли он смог бы на него ответить.

У нас, абхазцев, тоже были такие древнейшие божества, и имена их были связаны с названиями тех святых мест, где они обитали: Лидзаа, Лыхны, Дыдрыпшь, Ингал-куба, Елыр, Лашкиндар...

Само божество по-абхазски связано со словом «аныха», и некоторые языковеды расчленяют это слово на две части: «ан» — бог и «ха» — голова,

то есть голова бога. Слово «аныха» обозначает языческое божество, но в понятии «голова бога» присутствуют элементы христианства. Очевидно, появившееся задолго до проникновения христианства слово «аныха» приобрело христианские функции уже задним числом. Во всяком случае, по форме эти материальные символы веры не напоминают головы бога. В одних случаях это камни, похожие на горного орла, в других — на бараний череп, в третьих — на какое-то непонятное существо. Есть исторические данные, говорящие о том, что византийские миссионеры, распространяя еще в IV веке христианство в Абхазии, использовали в своих целях древние языческие святыне места и именно там воздвигали христианские церкви: в Лидзаа, на Пицунде, в Лыхнах, в Елыр, — и в этих церквях, в своем позднейшем значении, слово «аныха» обозначало голову божьей матери, а в других местах оставалось по-старому, и слово «аныха», как и встарь, было связано только с древними языческими обрядами.

Очевидно, так это было и для убыхов. Наряду с древнеязыческой религией существовало и христианство с его пасхой. А позже, когда мусульманство стало господствующим, оно так и не вытеснило до конца остатки двух прежних религий.

Почему, думал я, убыхи, охваченные фанатическими идеями газавата, толкавшими их на переселение в мусульманскую Турцию, покидая свои земли, однако, собрались не в мечети, а у Быт-хи? Может быть, потому, что в их сознании до аллаха было далеко, а привычная святыня — рядом? Сюда они по два раза в год с незапамятных времен приходили молиться всем народом, сюда приходили в одиночку, чтобы отправиться в дальний путь с ее благословения, здесь обвиненный в нечистых делах человек всенародно оправдывался, произнося клятву перед Бытхой. Очевидно, поэтому, переселяясь на мусульманскую землю, убыхи не могли двинуться туда, не взяв с собой младшую Бытху.

Не знаю, что расскажет мне старик о дальнейших событиях, но у меня уже сейчас складывается ощущение, что идеи газавата имели в земле убыхов не такую уж прочную религиозную почву. Они распространялись отсюда, из султанской Турции, и, постепенно овладев душами, туда же, в эту Турцию, и уводили убыхов с их родной земли. Получалось то, что сейчас, через много десятилетий, кажется мне нелепостью: без святыни, без камня с золотыми и серебряными пластинками, они не могли уйти, а святыню своей земли, много раз политую их кровью, покидали.

Докрошив табак и свернув сигарку, Зауркан подошел ко мне и с интересом смотрел на то, как быстро я вожу карандашом по бумаге. Смотрел без всякого нетерпенья. Но едва я остановился, как сразу же заговорил, словно только и ждал этого.

Я уже говорил тебе, мой дорогой Шарах, что из всех наших убыхских дворян первым, еще давно, решил отправиться в Турцию Шардын, сын Алоу. Но разве мог такой человек, как он, переселиться один? Раз он переселялся, вместе с ним должны были двинуться и мы, связанные с ним

узами молочного братства, и наши родственники, соседи и те крестьяне, которые считались ему подвластными, и те, которые были у него в долгу или когда-нибудь за что-нибудь были ему обязаны, за какую-нибудь помощь или защиту. Вот тут-то, когда мы в своих душах хоронили уходившую из-под ног родную землю, и заспорили наши дворяне между собой о том, кто из нас с кем из них поедет.

Хаджи Керантух, кроме четырехсот семей крестьян, считавшихся ему подвластными, хотел взять с собой еще пятьдесят семей, и в их числе нашу. Должно быть, он не так уж сильно верил в разные рассказы о Турции и, переселяясь туда, хотел иметь при себе побольше людей, которые бы служили ему и охраняли его. Он два раза присылал ко мне гонцов, которые наизусть передавали мне его слова:

«Почему мой телохранитель оставил меня? Я привык к нему и хочу, чтобы — куда я ни поехал — он был всегда привязан к моему поясу, и он, и его семья!»

Я был тогда очень силен, дорогой Шарах, и, когда стоял рядом с другими, был выше всех их на целую голову и несколько раз доказал Хаджи Керантуху свою храбрость в боях, — поэтому он присылал ко мне гонцов, я понимал это. Но сам Хаджи Керантух был для меня уже мертвым с того дня, о котором я тебе рассказал. Я не хотел ехать с ним. Да и мой отец сопротивлялся этому: как это наша семья может уехать с кем-то другим, а не с нашим молочным братом?

Шардын, сын Алоу, конечно, узнал о том, что затеял Хаджи Керантух, и не собирался отдавать ему ни нашу семью, ни другие семьи, которые считал подвластными себе.

Они оба в эти дни рыскали по крестьянским дворам, как кровные враги, стараясь не столкнуться друг с другом, чтобы не пролить кровь.

То один из них, въезжая на крестьянский двор, говорил хозяину: «Ты должен отправиться вместе со мной», — то другой вслед за ним въезжал в этот же двор и приказывал плыть в Турцию вместе с ним. Сбитые с толку крестьяне уже и сами не знали, за кем же в конце концов они должны следовать.

Однажды в полдень, когда наша семья собралась обедать, к нам во двор на своем горячем коне въехал Хаджи Керантух. Он был совсем один, без сопровождающих. Отец и я подбежали и взялись за стремяна, чтобы помочь ему спешиться, — он еще никогда в жизни не оказывал нам честь — не переступал порог нашего дома, и мой отец был поражен его появлением еще больше меня. Но Хаджи Керантух, оказывается, не собирался сходить с коня. Конь крутился, кусал удила, а мы, топчась рядом, продолжали держать стремяна.

— Еще недавно многие готовы были скрестить между собой шашки, только бы получить право служить мне,— сказал Хаджи Керантух, продолжая сидеть на своем крутившемся коне.— А сейчас, как видите, я одинок! А уж кому-кому, а тебе, Зауркан, не подобало оставлять меня. Не ты ли давал клятву: «Пока мой господин жив, я привязан к его поясу? Если он умрет, пусть раньше него умру я»?!

Он упрекал меня, и в голосе его была горечь и раздражение, но мой отец, словно не замечая этого, стал уговаривать его спешиться и войти в наш дом:

— Ты никогда не бывал у меня дома. Окажи уважение нашей семье. Мамалыга уже сварена. Отведай нашего скромного хлеба-соли.

Я уже отпустил стремя Хаджи Керантуха. А отец все еще держался за него и толкся около крутившейся лошади, поглядывая на меня.

«Если только он сойдет с коня, мигом беги и зарежь барашка, разве не видишь, какой у нас гость!» — говорили мне глаза отца.

Не знаю, спешился бы Хаджи Керантух или так и уехал бы от нас, не слезая с коня, но, пока отец уговаривал его, вслед за ним во двор въехал Шардын, сын Алоу, как всегда на своем муле. Он считал себя здесь своим и, не ожидая приглашения, сам слез с мула и быстро подошел к все еще сидевшему в седле Хаджи Керантуху:

— Тебе нечего делать здесь, во дворе моего молочного брата. Вспомни дорогу, по которой ты сюда приехал, и оставь в покое эту семью!

Хаджи Керантух сердито посмотрел на него сверху вниз:

— Куда бы я ни заезжал, ты всюду идешь по моим следам, Шардын, сын Алоу. Берегись! Ты, наверно, забыл, кто я и кто ты. Я вправе бывать везде, где хочу, и мои слова остаются законом.

— Ты своей рукой сжег то, что делало твои слова законом,— дерзко ответил Шардын, сын Алоу.

— До сих пор ты умел только поддакивать мне,— сказал Хаджи Керантух.— А теперь ты, кажется, решил стать мне поперек дороги? Так вот: если не хочешь беды, то знай, что эта семья желает переселиться вместе со мной, и не пробуй встать между мной и ими.

Но Шардын, сын Алоу, не собирался уступать:

— Я знаю, что ты давно потерял совесть. Но побойся аллаха! Хамирза — мой молочный брат. И он, и его семья поедут только со мной. Так велит и им, и мне долг материнского молока.

И тут я не вытерпел. Оба они в эту минуту были мне одинаково ненавистны.

— Даже скоту, когда его тянут на веревке, и то не мешают поворачивать голову туда, куда он хочет! — крикнул я им.— А мы ведь не скотина, а все-таки люди. Не грех бы спросить нас самих, в какую сторону мы хотим повернуть голову?

— Молчи. Как ты смеешь так дерзко говорить с такими людьми! — закричал на меня отец.

— Если твоя семья не хочет, пусть так, я не принуждаю ее. Ты поедешь со мной один! — крикнул мне с коня Хаджи Керантух.

Но не успел я еще и рта открыть, чтобы ответить ему, как Шардын, сын Алоу, поспешил ответить вместо меня:

— Хаджи Керантух, тебе уже не впервые разлучать матерей с сыновьями! Ответь, скольких юношей убыхов ты уже продал в Турцию и за какую цену?

— Можно подумать, что это говорит человек с чистой совестью,— усмехнувшись, сказал Хаджи Керантух.— А скольких мальчиков ты продал в Турцию — не наших, а адыгских и абазинских? Купил и перепродал. Скольких — ответь!

Они оба замолчали так, словно не знали, что б еще худого сказать друг о друге.

— Повторяю: не стой у меня на дороге,— после молчания сказал Хаджи Керантух.

— С тобой не знаешь, где тебя встретишь,— сказал Шардын, сын Алоу.— Ты, как подсолнух, вертишь головой в ту сторону, где покажется теплее.

— Замолчи! Ты толкаешь меня на кровь.

— Разве? Я что-то не вижу здесь мужчины, способного пролить кровь,— дерзко глядя прямо в глаза Хаджи Керантуху, ответил Шардын, сын Алоу.

— Эй ты, выродец, теперь я знаю, почему ты берег свою жизнь в боях с врагами! Наверное, хотел принять смерть не от их, а от моей руки! — в бешенстве закричал Хаджи Керантух и, соскочив с коня, пошел к Шардыну, сыну Алоу, с обнаженным кинжалом.

Тот, не двинувшись с места, тоже вытащил кинжал. Но, прежде чем мы с отцом успели им помешать сойтись, моя мать закричала:

— Вспомните, что вы оба рождены женщиной.— И, сорвав с головы платок, бросила его между ними быстрее, чем они успели сойтись.

Только что готовые биться насмерть, они стояли, с ненавистью глядя друг на друга, и молчали. И лишь газыри на черкесках то поднимались, то опускались от их тяжелого дыхания.

— Ты еще пожалеешь об этом, Зауркан! — крикнул мне Хаджи Керантух, когда я подошел, чтобы поддержать ему стремя.

Вскочив в седло, он пришпорил коня и вылетел с нашего двора. А Шардын, сын Алоу, еще несколько минут ходил по двору взад и вперед.

— Ну, ты готов к переселению? — наконец остановившись, спросил он отца.

— А что нам готовить? — Отец кивнул на дом. — Его с собой не возьмешь! Как только ты дашь нам знак, мы отправимся вместе с тобой.

— Мы поплывем на большом турецком пароходе «Нусред-Бахри». Он такой большой, что, говорят, возьмет четыре тысячи душ сразу. Капитан соглашается дешево везти нас, всего по шесть рублей с человека, но хочет деньги вперед, когда будем садиться. Как у тебя с деньгами? — спросил Шардын, сын Алоу, у моего отца.

— Не знаю, смогу ли это осилить, но постараюсь, — сказал отец.

— В другое время все заплатил бы за вас сам. А сейчас нечем, сам остался без денег, — развел руками Шардын, сын Алоу, и пошел к своему мулу.

Мать уговаривала его пообедать, но у него были другие заботы.

— Хаджи Керантух сейчас как бешеная собака, — сказал он, уже садясь на мула. — Боюсь, что он будет переманивать и твоих соседей. Собери их вечером всех вместе в чьем-нибудь доме. Я сам приеду к ним... — Он уже выехал из ворот, но и там еще повернулся, чтобы дать последнее указание моему отцу: — И пусть все, кто могут, к вечеру соберут деньги.

Крикнув на прощанье про деньги, он уехал, а мы все стояли посреди двора в смятении. Никак не могли прийти в себя после всего, что увидели и услышали.

На земле еще лежал белый платок матери. Отец поднял его, отряхнул и сказал ей:

— Пусть он всегда будет на твоей седой голове. Пусть его никогда не заменит черный платок. Он только что спас от крови двух наших гостей, и хотя кровь не пролилась — мне страшно. Мы оставляем свою землю и уходим в путь, конца которого не знаем, а наши покровители спорят из-за нас так, как будто делят между собой скот. Чуть не закололи друг друга. О аллах, неужели ты возненавидел нас!

Отец медленно подошел к матери и отдал ей платок. А я вспомнил слова Хаджи Керантуха: «Ты еще пожалеешь, Зауркан»,— и тревога сжала мое сердце. Весь вечер и всю ночь я не мог отвязаться от этой тревоги и на рассвете поспешил к роднику, где Фелдыш по утрам набирала воду. Это было далеко от нашего, но зато совсем близко к ее дому, и я знал, в какое время и где мне ее поджидать. Мы уже два года встречались с ней на этом месте. Встретились и теперь у родника под большим каштаном. Бывало, мы стояли под ним как под зеленым шатром, не боясь ни дождя, ни солнца. Но сейчас он был голый, и дождь хлестал по его мокрым ветвям и по нашим лицам. Но мы все равно не хотели уходить. Фелдыш несколько раз напоминала, что ее ждут дома, но я снова брал ее за руки, и она снова оставалась.

— Как нам теперь быть, Фелдыш? — спрашивал я.— Правду ли рассказывают о вашем покровителе Хаджи Керантухе?

— Отец говорил мне, что правду. Вчера вечером он рассказывал нашим соседям, что Хаджи Керантух получил согласие царских генералов — перевезти через море подвластных ему крестьян на казенный счет.

— А еще что ты слышала?

— Я слышала, что Хаджи Керантух уже поделил всех крестьян, кто на каком корабле поплывет, и запретил всем до самого отплытия ходить из своего селения в другие. Девушкам запретил выходить замуж, а молодым людям жениться на ком-нибудь из другого селения.

— А жизнь он не хочет остановить? — крикнул я в отчаянии.

И она, увидя мое отчаяние, нежно сжала мне руку.

— Сегодня мой отец обещал пойти к Хаджи Керантуху, на коленях просить, чтобы он позволил нашей семье поехать вместе с вашей. Он не хочет разлучать нас с тобой.

Как она хотела меня утешить! Как горько мне было слышать, что ее отец готов стать на колени с этой бесполезной мольбой.

— Скажи своему отцу, пусть не унижает себя напрасно. Хаджи Керантух никогда на это не согласится назло нашему молочному брату Шардыну, сыну Алоу.

Она еще молчала, совсем обессиленная этим новым ударом, когда вдали раздался тревожный голос ее матери, звавшей дочь. Фелдыш вздрогнула и, взяв кувшин, стала спускаться к роднику.

— Не проси никого и ни о чем,— сказал я, догнав ее.— Послезавтра, как только солнце поднимется, приходи сюда, к каштану, я предупрежу своих

родных и возьму тебя замуж. Послезавтра ты уйдешь отсюда вместе со мной.

— А что будет с моими родными? — сказала она и заплакала.

Я впервые прижал ее к своей груди и стал вытирать слезы с ее заплаканного лица. Она вырвалась, чтоб взять кувшин, но я опередил ее и сам наполнил кувшин водою. По нашим приметам, полный кувшин — к счастью. Разве я мог знать тогда, что этот день был нашим последним с нею счастливым днем!

Я поднял кувшин и сам поставил ей на плечо — и не пошел за ней, а только смотрел вслед: как она шла по дорожке, поднимавшейся в гору как змейка, как изгибался то в одну, то в другую сторону ее тонкий стан и как скользили по ее спине то туда, то сюда две длинные каштановые косы.

— Где ты, Фелдыш? — донесся сверху голос ее матери.

— Иду, иду, не бойся, мама, — откликнулась она.

Мог ли я знать тогда, что в последний раз слышу ее голос?

Хотя нет, неправда, я услышал его еще один раз в своей жизни! Но об этом потом, потом, дорогой мой Шарах! До этого еще далеко. А для того чтобы рассказать тебе всю свою долгую жизнь, я должен рассказывать ее подряд — иначе запутаюсь.

Весь следующий день наша семья провела в сборах, и накануне дня, назначенного для переселения, никто из нас всю ночь не спал. Мы уже сложили все, что брали с собой в дорогу, и сидели молча у своего очага, который горел в последний раз. Отец запретил матери плакать, считая, что слезы могут принести несчастье перед уходом в дальний путь, так же как перед уходом на войну. Но мать не могла удержаться. Чтоб не показывать своих слез, она закутала лицо платком, но слезы и оттуда все равно — капля за каплей — падали ей на платье. О аллах, сколько же слез она пролила тогда! Где у нее было спрятано до этого такое море слез? Она плакала о нас, и о своих братьях из Цебельды, о которых ничего не знала, и о своей старшей замужней дочери, про которую знала, что она уже плывет по морю.

Так прошла эта ночь и настало утро, когда мы вышли во двор. Брат тоже вышел на костылях, которые ему сделали мы с отцом. Отец заставил нас позавтракать, а женщинам еще раз повторил, чтобы они взяли с собой как можно больше еды в дорогу. Коров мы не стали доить и выгонять тоже не стали — оставили их на дворе.

Пока мои родные занимались последними оставшимися перед уходом делами, я, как было условлено с Фелдыш, вышел со двора и поспешил к роднику. Никто меня не удержал и ни о чем не спросил. О таких вещах не

принято говорить вслух, но я еще накануне дал понять матери и отцу, что приведу к ним свою Фелдыш, и знал, что они готовы к этому.

Я бежал через лес так быстро, что, наверное, меня не догнал бы и всадник. Молодость, несмотря ни на что, всегда полна надежд, и я бежал, не обращая внимания на хлеставшие по телу ветки, и уже представлял себе, как подведу ее к нашему дому, вызову навстречу своих сестер и скажу им: «Вот ваша невестка!»

Я знал, что у Хаджи Керантуха много забот, не так-то просто собрать в дорогу все четыреста семей подвластных ему крестьян, и мне казалось, что именно в этот день, среди всей этой суматохи, мне удастся спасти Фелдыш.

Я добежал до нашего каштана, но под ним никого не было. Словно смертельно раненный, который, уже не в силах никуда двинуться, еще крутится на одном месте, я вертелся под этим каштаном, не зная, куда идти. У родника на уже начавшей прорастать весенней траве лежал разбитый на куски кувшин.

«Почему он лежит здесь, разбитый на куски? Может быть, она разбила его случайно, когда поднимала на плечо? Может быть, она сделала это в знак того, что мы больше не увидимся?» Я почувствовал, что случилось что-то непоправимое, и, уже не стесняясь, что меня могут увидеть ее отец и мать, побежал в гору, к их дому, и через минуту оказался у ворот.

Пустой двор: ни скота, ни собак. Дом с наглухо закрытыми дверьми, а вокруг все тихо и пусто. Только черная кошка на крыше, увидев меня, вдруг замяукала, словно спрашивала: «Где ты был и что тебе делать здесь, когда уже все кончено?»

Они отправились в путь раньше, чем я думал. Поняв это, я готов был как зверь растерзать на куски зубами Хаджи Керантуха, за которого я еще так недавно готов был отдать свою жизнь. Но что я мог сделать теперь, когда корабль, на котором плыла Фелдыш, наверное, был уже далеко в море!

Вернувшись домой, я вывел своего коня Бзоу. Он оставался у нас единственным — и конь отца и конь брата были убиты в последних сражениях. Я спустился с конем к ручью, выкупал его, вернулся домой, накормил его в последний раз кукурузой и снова вывел из ворот. Увидев это, мать и сестры закрыли глаза руками и зарыдали. А мой Бзоу, ничего не зная, весело шагал за мной, иногда ласково подталкивая меня в плечо головой, словно хотел сказать: «Садись!»

Мы вышли на широкую поляну, где я иногда джигитовал на нем по вечерам, и он, радуясь, стал крутиться вокруг меня, натягивая уздечку.

— Мой верный Бзоу, сколько раз ты спасал меня от гибели, а теперь погибнешь от моей руки,— сказал я и заплакал, прижавшись к шее коня.

Потом снял уздечку и погнал его по полю. У нас уже было всенародно решено, что наши кони, так же как и мы, не должны попасть в руки врага, и пусть каждый, кто вырастил коня, сам его и застрелит.

Я взвел курок пистолета и положил палец на спуск. Бзоу не отходил от меня, пасся рядом, помахивая своим длинным красивым хвостом.

«Мне было бы легче, если б волки разорвали его на куски», — подумал я, все еще не в состоянии выстрелить.

Наконец, прицелясь в ухо коню, я спустил курок, но пистолет не выстрелил — осечка.

Самое трудное было взвести его еще раз. Смертельно раненный конь несколько раз подпрыгнул, словно хотел перескочить через смерть, и упал на поляну, головой ко мне. Вдали послышалось еще несколько выстрелов — там тоже убивали своих коней. Наверное, в эту минуту я впервые в жизни почувствовал себя безжалостным.

Потом я своими руками закопал Бзоу и, поставив над ним камень, пошел к нашему кладбищу. Я знал, что моя семья уже там. Так оно и было. Еще издали я услышал плач и стоны людей, собравшихся около родных им могил. Когда я подошел ближе, то увидел, что мой отец стоит на коленях перед могилами своего отца и матери и, склонив седую голову, плачет, ударяя себя кулаком в грудь. Рядом стоял на костылях мой брат. Рана мешала ему опуститься на колени. Моя мать и сестры стояли поодаль от них над маленькой могилой, в которой был зарыт мой, умерший еще в детстве, старший брат. Они стояли с распущенными волосами, плакали и срывали с могилы сорняки, уже успевшие прорасти на ней с начала весны. Мои родные редко видали мои слезы, даже в детстве, но в тот день, став рядом с ними, я заплакал во второй раз за это утро.

Поплакав над могилой сына, мать подошла к отцу и сквозь слезы запричитала над могилой его родителей:

— Спи спокойно, дедушки и бабушки, ваш внук рядом с вами, он не даст вам скучать. А мы, бедные, уходим, сами не знаем куда.

Так плакала в тот день вся страна убухов, словно в одно и то же время из каждого их дома выносили по покойнику.

Дорогой Шарах, видел ли ты когда-нибудь, как плачут вместе старики и дети? Если не слышал — не дай бог тебе это услышать. Нет ничего на свете страшнее этого. Как только наши горы выдержали, не рухнули, услышав это! Как только все наши ручьи и реки не стали солеными от слез, пролитых в тот день!

Наплакавшись, мы оставили у могилы кувшинчики с вином и еду, принесенную нами для мертвых, и, насколько могли, успокоив себе этим души, пошли каждый к своему дому.

В доме было холодно, очаг уже потух. Отец взял котел с холодной мамалыгой, вышел со двора и позвал за собой наших собак. Он побросал им там, за домом, всю мамалыгу, чтоб они ели и не шли следом за нами. Потом он вернулся. Мы все стояли неподвижно, зная, что сейчас пойдем туда, откуда уже, наверное, никогда не вернемся. Каким жалким становится человек, когда он не знает, что его ждет!

— Пора! — сказал отец.— Я вижу, что соседи уже выходят из ворот.

Он обнажил голову и, стоя посреди нашего дома, посмотрел в потолок так, словно видел сквозь него небо:

— О аллах, благослови нас, бедных!

Потом отец подошел к очагу:

— Ты согревал своим теплом моих предков, моего отца и мою мать, ты согревал меня и моих детей. Прости меня, что я тебя погасил.

Сказав это, отец потянул к себе черную от сажи очажную цепь и поцеловал ее. Потом вытащил кинжал, разрыл землю около очага и насыпал горсть ее в подвешенный к поясу полотняный мешочек.

— Когда я умру, высыпьте эту землю на мою грудь,— сказал он мне и брату.
— А теперь нам пора идти!

Когда отец, выйдя из дома последним, закрывал дверь, она пронзительно закричала, словно пожаловалась: «Что вы делаете?»

— Не к добру она закричала перед нашим уходом,— печально сказал отец и снова стал молиться.

— О аллах, пусть там, куда мы придем, двери дома не будут закрыты перед нами. Пусть не окажемся мы бездомными!

Чем дальше мы уходили от своего дома, тем все больше и больше людей шло и ехало рядом с нами. Наши соседи везли на арбе свою больную мать, которая уже пять лет не вставала с постели.

— Для чего вы меня везете? — стонала она сквозь слезы.— Закопайте меня здесь и уходите.

А народ все стекался и стекался на дорогу. Теперь, если обернуться, уже не видно было конца всем идущим. Шли понуро и тихо.

Через несколько часов там, где наша дорога соединялась с другой, я услышал громкие голоса: толпа людей загораживала дорогу. Я и несколько других молодых людей побежали вперед, обгоняя стариков и женщин, и увидели, что прямо на дороге, перед остановившейся толпой, с обнаженной шашкой в руке стоит Ахмет, сын Баракая, а его белоснежный конь топчется рядом, привязанный к дереву у самой дороги.

— Убейте меня, но пока я жив, вы не пройдете мимо меня! — кричал он, размахивая шашкой.— Вернитесь, пока не поздно, в свои осиротевшие дома, разожгите свои очаги, в которых еще теплится огонь!

— Уйди с дороги, Ахмет, сын Баракая! Нас ждут корабли.

— Вас ждут корабли. Но когда вы поймете, что вас обманули, они уже не привезут вас обратно. Я не раз бывал в Турции и знаю, что вас там ждет голод, рабство или смерть. Султан отберет у вас ваших сыновей, поставит их под ружье, пошлет их воевать, и они больше никогда не вернутся к вам. Для этого он и зовет вас к себе, только для этого!

Ахмет, сын Баракая, кричал. Но хотя он уже на несколько минут остановил толпу, его никто не хотел слушать.

— Чего хочешь ты? — спрашивали его.— Ты хочешь, чтобы гяуры здесь насильно окрестили наших детей? Мы мусульмане и плывем в мусульманскую землю!

— В пропасть вы идете. В пропасть! — как безумный кричал Ахмет, сын Баракая.

— Люди! Неужели у этого сумасшедшего нет родных, которые могли бы его успокоить?

— Его брат Ноурыз уже давно плывет по морю.

— Не подходите ко мне! — продолжая размахивать шашкой перед растерявшейся толпой, кричал Ахмет, сын Баракая.— Все равно, пока не убьете меня, я не пущу вас! Те, кто ушли,— ушли, но хоть вы вернитесь, сохраните свой род!

— Эй, Ахмет, сын Баракая! Если бы ты желал нам добра, разве б ты отстал от своего народа? Разве б ты не пошел вместе с ним?

— Почему среди вас нет настоящего мужчины, который бы сразил меня раньше, чем я увижу, как погибнет мой народ! — не отступая ни на шаг, кричал Ахмет, сын Баракая.

Но толпа прижала к нему женщин и детей, и он не мог их тронуть и отступил, и, оттесняя его все дальше и дальше в сторону, толпа медленно

двинулась мимо него. И никто, ни один человек, пройдя мимо него, даже не повернулся, чтобы посмотреть, что с ним.

Чем ближе к морю, тем нас становилось все больше. Недалеко впереди, поддерживаемый с двух сторон двумя своими внуками, шел слепой Сакут, сколько я помню себя, на всех праздниках игравший на своей апхиарце. Сначала, когда мы шли, я не заметил его, но теперь, когда мы уже приближались к морю, он снял с пояса свою апхиарцу, настроил, провел по ней смычком, сначала заиграл, а потом начал петь. Он шел, еле передвигая ноги, но голос у него был, как всегда, чистый и такой сильный, что нельзя было поверить, что он принадлежит старику.

О, какая горькая участь,
Какая горькая участь! —

пел он.

Какое большое море
И какая малая горсть
Родной земли!
Бедная земля опустеет,
И кукушка замерзнет на ветке.
Ей некому пророчить года.
Простились ли вы с мертвыми?
Сказали вы, что мы не вернемся?
Надо было сказать им.
Мертвых нельзя обманывать!

Все больше людей, шедших впереди и сзади Сакута, слышали его голос и звуки его апхиарцы.

Обернемся к нашим горам,—

пел он.

Они не знают, куда мы уходим.
Обернемся, оставим им песню,
Чтобы она бродила, как эхо,
От одной горы до другой.
Если ребенок уходит от матери,
Значит, она виновата,
Но разве она виновата?
Разве она виновата?
«Почему вы уходите, дети?
В чем виновата я, дети?» —
Плачет наша земля,
Спрашивает нас земля.
Прости нас, бедных,
Прости нас!

Мы бессильны остаться.
Мы можем тебе оставить
Только одно: свою душу.
Мы навсегда уходим.
Она навсегда остается.

О аллах! Сколько лет, сколько долгих лет прошло с тех пор а в моих ушах так навсегда и осталась эта песня страдания. Я много раз видел, как из упавшего в землю зернышка вытягивается стебелек. Я много раз видел, как рождается жизнь, но только раз в жизни слышал, как рождается песня. Она родилась в тот страшный день по дороге к морю и всегда оставалась с нами. Когда наши плечи не выдерживали горя, мы сходились в круг и подтягивали тому из нас, кто лучше всех знал эту песню. Пели ее до тех пор пока не уставали, и, поверишь ли, мой дорогой Шарах, нам становилось легче от этой усталости.

Когда мы вышли на берег, там негде уже было поставить ногу. На берегу, тесня друг друга, толпились люди и скот. Шардын, сын Алоу, предупредил нас заранее, что можно брать с собой и чего нельзя. Но многие другие напрасно надеялись, что им удастся взять с собой скот, и пригнали его на берег.

В море, подальше от прибрежных скал, стояли пароходы и парусные корабли, и лодки сновали взад и вперед, перевозя на них людей.

Наш молочный брат Шардын, сын Алоу, уже перевез свою семью и все, что он взял с собой, на один из парусных кораблей. Он обещал нам, что мы поплывем на большом пароходе, но это оказалось неправдой. Сам он вернулся с корабля на берег, чтобы не упустить кого-нибудь, чтоб у него не украли в последнюю минуту кого-нибудь из его подданных, и ждал нас на берегу, теребя четки. На голове у него была уже не папаха, а турецкая феска. И хотя я не мог этого сказать ему вслух, но про себя подумал о нем: «Если тебя не узнать уже здесь, то как мы узнаем тебя там?»

— Все ли пришли, Хамирза? — спросил он у моего отца.

Отец ответил, что все — здесь.

— Тогда не ждите, начинайте сажать людей в лодки. Только не берите с собой ничего живого. Ничего, кроме людей, — повторил он еще раз то, о чем уже предупреждал нас.

Ждать нам было уже нечего, и мы взялись за дело. Одна за другой отходили от берега лодки, полные людьми, возвращались пустыми — и снова уходили полными. Турки кричали и торопили нас. Но, дорогой Шарах, как говорят у вас, абхазцев, — на чьей лодке сидишь, тому и подпевай! И мы молча сносили не только брань, но даже пинки.

Когда солнце опустилось, на берегу не осталось ни одной души, кроме ревущей голодной скотины. Я и еще несколько молодых людей оставались самыми последними, пока не отправили всех наших соседей. Поцеловав камни берега, мы вскочили в лодку.

Почему я не умер? Почему у меня не разорвалось сердце, когда я одной ногой еще оставался на берегу, а другой ступил уже на корму лодки? Какое бы это было счастье для меня, скольких несчастий я бы избег в своей долгой жизни!

Наша последняя лодка, покачиваясь, все дальше отходила от берега, как вдруг, повернувшись, я, а вслед за мной и все остальные увидели подскакавшего к берегу на белоснежном коне всадника, в котором мы сразу узнали Ахмета, сына Баракая. Он соскочил с коня, набросил на него уздечку и отпустил его на волю, а сам стал над водой на краю скалы. Он махал руками и что-то громко кричал нам, но встречный ветер относил от нас его слова.

— Давайте вернемся и возьмем его с собой,— сказал я своим соседям по лодке.— Нельзя же оставлять человека совсем одного.

Мои соседи молчали, колеблясь, как поступить, но сам Ахмет, сын Баракая, решил это за нас. Мы услышали пистолетный выстрел, и мне даже показалось, что я увидел маленький сизый дымок. Выстрел уже раздался, а Ахмет, сын Баракая, еще стоял на краю скалы. Потом он качнулся и упал в море, а его конь, испугавшись выстрела, побежал по пустынному берегу.

Мы все были в смятении. Там на дороге, когда он задерживал нас, его не хотели слушать. Но теперь его смерть наполнила наши сердца тревогой.

«Кто так поступил с собой, наверное, знал какую-то правду, которой мы не знали!» — так подумали мы, сидя в лодке, когда уже поздно было об этом думать. Страна убыхов была пуста, а несчастное тело Ахмета, сына Баракая, волны бросали взад и вперед между прибрежными камнями, словно то море, то берег попеременно тянули его к себе.

Наш набитый до отказа людьми парусный корабль, накренясь, развернулся и взял курс в открытое море. Чем дальше мы удалялись от берега, тем резче выделялись очертания наших гор на горизонте. Я привык к ним. Я рос на их груди. Я до сих пор помню каждый их зубец таким, каким я видел его в те последние минуты.

Чем дальше уходил корабль, тем все больше и больше затягивало горы вечерней синевой. Еще немного — и они исчезли из глаз.

Слепой Сакут снова заиграл на своей апхиарце. Теперь он уже не пел, только играл. Звуки ее были слышны то лучше, то хуже — когда их заглушали то шум волн, то скрип мачт, но я сразу услышал, когда апхиарца совсем замолчала. Она замолчала, а у меня почему-то замерло сердце, и я

подошел к старику. Он сидел на палубе в своей старой поношенной черкеске, подложив под себя бурку. Его внуки, шагавшие с ним целый день, спали по обе стороны от него, положив головы на колени деда. «Наверно, и сам он заснул», — подумал я, но, подойдя еще ближе, увидел, что он не спит. Слезы — капля за каплей — катились по его щекам, текли по седой бороде и падали на апхиарцу, которую он прижимал к груди так, словно это была последняя горсть родной земли.

«О аллах! — подумал я. — Неужели он своими слепыми глазами видит сейчас в морском тумане последние неясные очертания родной земли, на которую нам уже не вернуться?»

КНИГА ВТОРАЯ

Где эта райская земля?

Ночью мне не спалось, и рано утром, приготовив блокнот и карандаши, я уже сидел и ждал во дворе старика. О чем-то он расскажет мне сегодня?

С утра все небо в тучах, а вокруг голая равнина, такая тихая, словно и она вместе со мной хочет послушать голос последнего убыха, узнать, что будет с ним дальше на чужой земле, куда он еще не успел доплыть вчера в своем печальном рассказе.

Разве я мог представить себе, когда ехал сюда, что где-то на краю Турции встречу этого единственного, еще говорящего на своем родном языке человека?

Спасибо еще, что мать его была абхазкой и язык моей родины стал той тонкой ниточкой, которая смогла вчера и сможет сегодня соединить меня и его. Он ведь мог и не знать абхазского языка, а мог и забыть его... Что было бы тогда?

При моем слабом знании убыхского нам с ним осталось бы только перейти на турецкий. И в этом была бы еще одна горькая ирония судьбы.

О махаджирство, махаджирство, с которого началась трагедия убыхов! Это слово и мне знакомо с детства, хотя все значение его я тогда еще не понимал.

Три раза оно, это проклятое слово, опустошало Абхазию.

Когда наши старики, сидя вместе, толкуют о каком-нибудь случае из прошлого, один доказывает, что это случилось во время первого махаджирства, а другой — что во время второго. А если спросить моего отца Лумана, когда он родился, он непременно вспомнит, что это было на второй год после третьего махаджирства.

Да, крепко застряло в нашей памяти это слово! Когда говорили, что народ попал в махаджирство, моему детскому воображению представлялось, что какая-то большая мутная вода вдруг подхватила людей и унесла куда-то...

Но хотя эта большая мутная вода и правда поглотила десятки тысяч абхазцев, все-таки судьба нашего народа в конце концов сложилась по-другому, чем у убыхов. Не погас, а все разгорается очаг абхазцев, оставшихся на своей родине. А ведь могло бы случиться и иначе, мог бы и весь наш народ поголовно — кто добровольно, а кто насильственно — оказаться на гибельном пути убыхов!

Кто, спрашивается, тогда по кровавым следам народа приехал бы сюда изучать убыхский или абхазский языки? Кто бы был этот человек? Во всяком случае — не я. Не то что приехать сюда — я и на свет, наверно бы, не смог появиться!

Все, что у меня есть сегодня — мое образование, моя специальность, моя родина, мои учителя и мои ученики, — всего этого просто-напросто не было бы, да и быть не могло.

Все, что я услышал от этого одинокого старика, от этого последнего живого среди мертвых, как будто говорит мне, что гибельный путь убыхов был предопределен, что они не могли избрать себе другую судьбу. Но я ведь тоже сын многострадального народа, народа с похожей историей, но с другой судьбой. Я приехал сюда из страны, чье прошлое говорит: «Да! Вроде бы и с нами все должно было быть так, как с ними!» Должно было, но не случилось! И раз это так, то логика, которая доказывает, что убыхи должны были исчезнуть, содержит в себе какую-то нелепость, какое-то неприемлемое для меня противоречие!

Я перебираю в памяти все, что в нашей собственной истории похоже на историю убыхов, и — нет! — не могу согласиться, не хочу согласиться с тем, что и у них не могло быть другой судьбы! И то, что я, абхазец, сижу здесь сегодня, — тоже против этой безнадежной логики!

— О чем ты задумался?

Я повернулся и увидел Зауркана.

Вскочив, я поздоровался с ним и ответил на его добрые неторопливые вопросы: как мне спалось, удобна ли была моя постель, не успел ли я проголодаться?

Потом он медленно опустился на свою самодельную скамью и прислонился к стволу дерева. Взгляд его сразу ушел куда-то вдаль, и он, не потратив больше ни единого слова ни на меня, ни на все окружавшее нас, вернулся туда, в прошлое столетие, где продолжали жить его мысли. Волны усердствовали всю дорогу так, словно хотели подогнать турецкие корабли, на которых покинули мы отчие пределы. Не скрою от тебя, Шарах, что в

наших душах свили по гнезду не только тревога, но и надежда. И вот позади осталось море, и все мы, избравшие судьбу переселенцев, стар и млад, женщины и мужчины, вступили на берег неведомой нам земли. Но, увы, никто не встречал нас, точно пожаловали мы нежданно и не было любезного приглашения султана. Там и сям по всему берегу расселись убыхи. Они походили на стаи птиц, что сбились с пути, застигнутые бурей, и теперь в изнеможении опустились в незнакомой местности. Среди челяди Шардына, сына Алоу, находилась и наша семья. Прибыли мы на пароходе «Нусред-Бахри». По тем временам он считался большим. Сойдя по трапу, расположились мы неподалеку от бухты, на окраине города Самсуна, стараясь держаться табуном, словно кони, почуявшие опасность. Скарб, захваченный нами в дорогу, был немудрен и состоял из вещей первой необходимости. Глядя на него, можно было принять нас за погорельцев, что выскочили из объятых пламенем домов, прихватив лишь то, что удалось взвалить на плечи.

О господи, до чего же несчастным и даже обреченным чувствует себя человек, когда судил ему рок жить и умереть на чужбине!

Первый весенний месяц только начинался. Земля, на которую я вступил и по которой должен был ходить, казалась мне нелюдимой и пустынной. Дышалось на ней тяжело, впрямь словно воздуха не хватало. А может, происходило это оттого, что тоска камнем свалилась на сердце и все время хотелось вздохнуть поглубже. Как только солнце пряталось за набежавшую тучу, становилось зябко, но стоило ему высунуться из-за нее, как холод мгновенно сменялся солнцепеком. И всякий раз, когда взгляд мой обращался к нему, мне виделось оно белесым, словно выцветшим.

О дорогой Шарах, начало гибели нашей произошло в одночасье с тем роковым шагом, который привел нас на корабли, венчанные зеленым полумесяцем. Будь они неладны, эти корабли!

Я уже тебе сказал, что плыл на пароходе «Нусред-Бахри».

Таких, трехтрубных, пришло несколько. Сколько лет минуло, а всю помню названия их: «Махмедия», «Ассари-Шефкет», «Османия». В подмогу им прибыли парусники. Капитанам судов за перевозку людей платили, как за перевоз скота, — с каждой головы. Не зря говорится, кто жаден, тот выжмет воду из камня. Пароходы набивались живым грузом до отказа. Наш капитан сожалеет: «Еще бы взял, да боюсь — потонем». Плыли долго. Припасы воды и пищи вскоре кончились. Начался шторм. Люди страдали от морской болезни. Даже смельчаков охватил страх. Молитвы сменялись проклятиями, проклятия — молитвами, а помощи от команды — никакой. Если нет сил выдюжить муку — умирай. Похоронить не хлопотно, даже могилы рыть не надо. Ветры дуют не так, как хотят корабли. Во время бури один парусник был отнесен далеко на запад к Варне. На борту его от многодневной качки, отсутствия питьевой воды и скопления нечистот вспыхнула гнилая горячка, тиф брюшной. Смерть косила людей. Когда парусник подходил к самсунской пристани, в живых осталась только

горстка. На берег им сойти не разрешили, опасаясь, что хворь проникнет в город. Парусник бросил якорь на рейде. Несчастные махаджиры, заметив на берегу людей в черкесках, звали на помощь. А что могли мы сделать? Только подплыть к паруснику и привязать кувшины с питьевой водой к спущенным с него веревкам. Береговая охрана, исторгая нещадную ругань, угрожала открыть стрельбу, если мы не прекратим своей помощи.

Люди везде остаются людьми, Шарах. Маленькое селение садзов двинулось в путь вслед за нами на белом паруснике. Разыгравшийся шторм стал швырять суденышко, как ореховую скорлупу. Бушевавшие волны не давали ему приблизиться к суше. Люди, обезумев от жажды, стали пить морскую воду. Первыми начали умирать дети. Они гибли, как мотыльки в ненастную ночь. Матросы выбрасывали трупы младенцев за борт. Среди женщин находилась одна вдова. Ни единой родственной души, кроме малютки сына, не было у нее на всем белом свете. Ребенок этой несчастной женщины заболел и вскоре умер, но мать продолжала баюкать его, прижимая к груди. Если приближались матросы, она запевала колыбельную песню: «Баюшки-баю, баюшки-баю, усни, мой сыночек». Когда матросы удалялись, песня переходила в причитание. Люди все знали, но молчали. На третий день, почуяв трупный запах, матросы вырвали из рук матери мертвого мальчика, швырнули его в море. Почти лишившаяся рассудка, женщина бросилась вслед за сыном. Никто не успел удержать ее.

Человек живой — не кукушка беспамятная. Все те, кого смерть пощадила в море, вступив на пустынный берег, решили, к печали своей, что земля эта богом забыта. Почти начисто лишённая растительности, морщинистая, напоминающая лицо евнуха, ни в какое сравнение не шла она с вечнозеленым побережьем, покинутым нами. Воистину, Шарах, цена достоинства познается с потерей его. Как было не вспомнить нам девственные леса, заполонившие гулкие ущелья, где каждый чинаровый лист переливается, как шкурка кунья, а в подножии могучих стволов притягательно журчат студеные родники, и радостно склонить перед ними колени. Наша земля что скатерть-самобранка. Человек, оказавшийся под ее небом, если даже допустить, что его не приняли ни в одном доме, хотя такого быть вовеки не могло, в любую пору легко избежал бы голода и не страдал бы от холода. Сама природа позаботилась бы о нем. На лесных опушках и полянах — ешь, угощайся всласть — нашел бы он чермные россыпи душистой земляники в гуще разнотравья, а чуть позже, на колючих веточках, вдоволь спелой малины и агатовых ягод ежевики. А под осень, стоило бы ему немного углубиться в пиршественную чащобу, — каких только даров не поднесла бы ему она! Подернутые желтизной гроздья спелого винограда, и винные ягоды саморожденной смоковницы, и грецкий орех, и в полированной кожице каштаны, и карминовые ягоды кизила, а в душах деревьев — белые соты, источающие дикий мед, дарующий силы, — все твое, бери, насладись, сделай милость! А если человек при оружии или умеет ладить капканы, лучшего места для охоты на всем свете не сыскать: горные козлы и косули, вепри и зубры — чем не царские трофеи? А красной дичи сколько? Да какой? Видимо-невидимо. А не хочешь мяса, воля твоя! Распали костер на берегу, и к усладе твоей — форель в золотую крапинку,

лови хоть голыми руками. В мире подлунном такой второй райской земли нет, но если человек сам бежит из рая — все дороги ведут его только в ад. Это мы поняли, когда попали сюда, мой дорогой. Поняли, спохватились, да поздно было: двери ада накрепко закрываются за вошедшими в него.

Бог создал людей равными, только кошельки дал им разные. Наш властелин Шардын, сын Алоу, когда мы прибыли сюда, разыскал без особого труда знакомого малоазийского купца, нашел сытый и удобный приют в его доме под Самсуном. А нам, простым смертным, куда было деться? Где могли укрыться мы от непогоды? Пришла беда — полагайся на себя. Глядим: поодаль, сложенные из булыг, сараи стоят. Счетом около десятка. Оказалось, это хранилища, куда турецкие купцы ссыпали кукурузное зерно, привозимое с кавказского побережья. Все эти каменные постройки, за исключением одной, пустовали как раз. По углам их висела такая густая паутина, что, казалось, ляжет на нее человек — выдержит она его тяжесть. Какие-то бабочки, схожие с саранчой, ползали в темноте по стенам и кружились под потолком. Без всякого на то разрешения мы заняли эти мрачные, затхлые строения и еще считали, что нам повезло, ибо хоть где-то смогли укрыться от дождя и ветра. Господин и благодетель наш, Шардын, сын Алоу, был в сильном недоумении, видя, в какое бедственное положение мы попали.

— Очевидно, произошло какое-то недоразумение, — ободрял он нас. — Я все выясню и постараюсь уладить, а вы соберитесь с духом и на время моего отсутствия запаситесь терпением.

Подав нам стремя надежды, он стал собираться к отъезду в Стамбул. Известно, богатство без присмотра не оставляют. Перед дорогой, усадив жену напротив себя, он строго наказал ей:

— Приглядывай в оба за сестрой моей единственной. В этой стране аллаха женщина — красный товар. Кто сманит или украдет — неплохо заработает. Если что случится с Шандой — ты в ответе...

Можно было понять Шардына, сына Алоу: за такую красавицу, какой была его сестра, двадцатилетняя Шанда, тревога томила бы каждого брата. Еще в краю убыхов слава о ее несказанной прелести облетела горы. Многие достойные удальцы из Абхазии, Адыгеи, Кабарды, блиставшие кто доблестью, кто знатностью, кто богатством, а кто и тем, и другим, и третьим, засылали к ней сватов. И хоть нравились ей иные из удалых женихов, не смела она послушаться брата своего, поэтому каждый раз увозили почтенные сваты вежливые слова отказа. Слишком горд и тщеславен был Шардын, сын Алоу. Решая судьбу сестры, не мог он поступиться своими интересами. Ему снился всемогущий зять, чтобы можно было отраженные лучи его величия носить, как золотую насечку на серебре собственного имени.

Справедливости ради следует сказать, что и восхитительная Шанда знала себе цену. Балованная с детства, она любила красоваться в дворянском кругу убыхов; щеголиха, она обожала наряды, но, принимая поклонение

мужчин, отличалась удивительным легковерием. Последнее обстоятельство особенно тревожило золовку, на которую муж возложил все заботы о родной своей сестре.

Имя Шанды хорошенько запомни, любезный Шарах. Вскорости я поведаю тебе о том, как лукавая судьба изменила ей. Счастье и несчастье одной тропой ходят. Шанда, пленительная Шанда! Кто бы мог подумать, что станет она причиной гибели единокровного брата и усугубит безвыходность нашу.

Где жизнь, там и вера в лучшее. Уехал в Стамбул Шардын, сын Алоу, а мы ждем, предаваясь чаяниям. Неделю ждем, другую, его все нет.

Голод и от камня откусит... Все, что мы захватили из дома, еще в первые дни как волной слизало. Покуда у нас были кое-какие деньги, мы покупали хлеб в ближайших пекарнях. А когда карманы словно ветром выветрило, начали продавать те немногие семейные ценности, которые имели. Продавали задешево, потому что голодные не торгуются. Лавочники и духанщики, увидев, сколь много людей голодают, в испуге закрыли свои заведения. Им ли было не знать, что голод и волка из лесу выгонит. Надевавшее дутые браслеты на запястья людской доверчивости, султанское правительство растерялось и почесывало затылки под фесками. Убедившись, что горцы-махаджирьы вооружены, оно отреклось от своего обещания предоставить нам право добровольно избрать место, где жить. Чувствуя страх перед нами, власти решили разделить нас и расселить в разных частях страны. Легко догадаться, что места эти были отдаленными, малолюдными, с неплодородной, засушливой землей. Быстро завяли обещанные нам райские кущи, быстро испарились обещанные нам молочные реки. Посулы остались посулами. Ни скота, ни помощи, как было договорено, мы не получили.

Стали возмущаться, требовать:

— Выполняйте условия! Было согласие, что убыхи на пять лет со дня переселения освобождаются от земельного налога, а вы его требуете! Клялись на Коране, что наших сыновей в армию брать не будете, а вы их в аскеры! Как так?

Да с кого спросишь? Лукаво улыбаясь, нам в ответ проводят пальцем по ладони:

— Где бумага про это с подписью султана? Ах, слово давали! На слово пошлины не накладывают. Слово — не фирман!* Фирман — указ.

Одно чувствовалось: страшатся они нас. Да еще бы не страшиться — с отчаяния люди на все способны.

Может, поэтому на первых порах они оставили нас словно без внимания: мол, перебесятся, перекипят, а там и приутихнут. Рассчитывали, что

ослабнет дух наш и станет нрав покладистей. «Жернова зерно размелют», — думали они.

Один из каменных сараев, как ты помнишь, был заполнен кукурузным зерном. Голод подал команду. Я бы не позавидовал человеку, который бы осмелился встать на нашем пути. Сорвав запоры с дверей, мы опустошили хранилище. Каждый уволок сколько мог. Мельницы поблизости не было. Одни дробили зерно при помощи камней, другие поступали еще проще: варили его. Голод — лучший повар. Добычи хватило ненадолго, и тогда пошли мы рыскать по окрестным селениям. Скажу по совести: турецкие крестьяне чем могли делились с нами. Человеку в рубище, дрожащему от холода, они выносили кое-какую поношенную одежонку. Хлеб подавали, но не как милостыню, а словно делились хлебом с нами. Но разве столько ртов насытишь? Голодное скопище людское как разлившаяся вода, что ищет выхода: удержу не знает. Вопреки воле своей сделались мы грабителями. Сами в лохмотьях, но оружие хранили в серебре. Молодые сходились в шайки абреков, и предводительствовал ими голод. Они угоняли скот и делили свежину между соплеменниками. Совершали набеги на города, грабя мануфактурные и обувные лавки. Правды не утаишь, Шарах: с обеих сторон лилась кровь. Худая молва пошла о нас, как о разбойниках. Нами пугали детей. По улицам Самсуна бродили горцы, как оборванцы. Их глаза сверкали от голода безумным пламенем. Из дырявых черкесок выглядывали костлявые лопатки и ключицы, а из разбитых чувяков — грязные пальцы. Как одержимые, с блуждающим взглядом входили они в закусовые и кофейни, приводя в ужас хозяев и посетителей. Больные и старики, немощные, обессиленные, обреченные, лежали в тени деревьев на пропыленных, рваных бурках, с ввалившимися щеками и заострившимися лицами, отгоняя роившихся над ними назойливых мух.

Как одна перелетная птица другую, потерял я Фелдыш. Может быть, она умерла в море, на корабле, когда плыли на чужбину? Или... Мрачные картины возникали в моей воспаленной голове. Я знал, что ее родители — люди пожилые и в случае необходимости они не смогли бы оказать ей решительную помощь. Каштановолосая, стройная, с косою до самых пят, с очами как миндалины, она была слишком обольстительна, чтобы остаться незамеченной на анатолийском берегу.

Гаремы турецких пашей и богатых купцов больше всего пополнялись за счет чужеземок. А Фелдыш была убыхской девушкой. Это много значило: молва о привлекательности и достоинствах убыхских девушек и женщин достигла турецкого берега задолго до нашего появления на нем. А может, Фелдыш в отрепьях, умирая от голода, скитается где-то рядом, и сатана себе на потеху лишает меня возможности встретить ее.

«Фелдыш, любовь моя, откликнись, отзовись!» — мысленно кричал я.

«У кого спросить, от кого узнать, кто поведаст о ее судьбе?» — думал я как неприкаянный. С того дня — о нет, не дня, а часа, когда мы оказались здесь, — об одном лишь мне хотелось проведать: куда направился предводитель

убыхов — Хаджи Берзек Керантух? Что касается его самого, то пропади он пропадом, этот Керантух, интересоваться его нынешним положением я не имел ни малейшей охоты, но меня заботила участь Фелдыш. Она с отцом и матерью должна была находиться среди его людей. По слухам, корабль, на котором прибыл сюда Керантух со всеми подвластными ему крестьянами, некоторое время находился в бухте Самсуна, но потом, снявшись с якоря, взял направление на Стамбул.

Часто я приходил на берег моря, словно надеясь, что набегавшие волны или крикливые чайки помогут мне разыскать Фелдыш, подав ненароком какую-нибудь весть о ней. Однажды к берегу подошла фелюга, с ее борта донесся крик, и я увидел, как четверо турецких матросов выбросили на пристань связанного человека в черкеске.

— Адлиа!* Адлиа — собаки (убыхск.). — негодовал он, присовокупляя к этому слову крепкое ругательство.

Фелюга отчалила. Я подошел к этому человеку и помог ему подняться. Каково же было мое удивление, когда я узнал в нем одного из молочных братьев Хаджи Керантуха — Саида Дашана.

— Что стряслось? Почему тебя, связанного, выбросили на берег? — спросил я.

— Что стряслось? — как эхо отозвался он и, еще не остыв от ярости, добавил: — Стряслось то же, что и со всеми, самое худшее, Зауркан.

Когда-то он был богатырем, который мог, точно нарт, одним движением разорвать канат или повалить на землю быка, ухватив его за рога. Теперь он походил на тень прежнего Саида Дашана и еле держался на ногах.

— Все во рту пересохло, — провел он языком по запекшимся губам. — Если ты мужчина, достань мне хоть глоток воды.

— Сейчас, Саид, сейчас, — подбадривал я его, перерезая кинжалом веревку, которой были связаны его руки.

Мы двинулись вдоль берега, он шел, опираясь на меня. Солнце закатывалось. В море таяли его последние лучи. Смеркалось. Город остался в стороне. Саид все тяжелее опирался на мое плечо. Я понял, что он совсем изнемог и еле волочит ноги. Я уложил его возле тощего кустарника и, пообещав скоро вернуться, отправился искать воду.

С трудом раздобыл я кусок хлеба и бутылку с водой. Саид жадно пил. Его кадык двигался в лад глоткам, и было слышно бульканье в пересохшей глотке. Слегка утолив жажду и переведя дыхание, молочный брат Хаджи Берзека поднял на меня глаза, полные скорби. На дне их мерцали слезы.

— Конец нам, Зауркан!.. Всем убыхам... Самоубийцы мы!..— прошептал он, словно осуждая себя и других за роковую ошибку.

От его слов аркан безысходности стянул мне сердце, и не потому, что пророчество Саида подтверждала зловещая действительность, а потому, что говорил это он — человек, некогда сильный духом, не терявший надежды ни при каких обстоятельствах.

Вдали, где море сливалось с небом, багрился прощальный луч. И словно видение на миг предстала мне Фелдыш. И вот уже образ ее растаял, слившись с пространством. Я очнулся. Тонюсенькая ниточка упования была в моей руке, и я потянул за эту ниточку:

— Саид, не скажешь ли ты, где ныне названный твой брат Хаджи Берзек Керантух?

— Гостеприимные правители этой дружелюбной страны отвели ему землю на острове Родос. Кроме нашей семьи, вся челядь его — с ним,— ответил он с горькой насмешкой.

Ток крови ударил мне в виски, душа встрепенулась, и осторожно, словно боясь спугнуть удачу, я опять потянул за ниточку надежды:

— Скажи, любезный Саид, среди людей Керантуха был крестьянин Абидж Вардан...

— Он твой кунак?

— Да,— обрадовался я.

Саид, посмотрев на меня внимательно, не торопясь, точно бинтуя рану, молвил:

— Когда я уходил, Абидж с домочадцами был жив и здоров. У него красивая дочь, очень красивая... Они со всеми отправились на остров...— И, опустив голову, добавил: — Гибели красивых женщин будет предшествовать позор.

Но я, казалось, не расслышал его последних слов. Словно гора свалилась с моих плеч. Человек в беде живет сегодняшним днем. Благая искорка способна озарить его радостью. А всего того злого и ужасного, что будет завтра, он как будто еще не осознает или не хочет осознавать, потому что получил передышку между пережитым вчера и тем, что предстоит ему пережить завтра.

«Сегодня счастливая нога вывела меня из мрачного каменного амбара,— подумал я.— Фелдыш, моя ненаглядная Фелдыш жива! Теперь я разыщу ее! Непременно разыщу, если даже для этого мне вплавь придется добираться до острова, на котором она сейчас находится»,— торжествовал я, чувствуя решимость.

Опустив голову на грудь, Саид сидел передо мной в той же позе, и моя внезапная, бедная радость, похоже, не была замечена им. Отщипывая крошки от куска зачерствевшего хлеба, он отправлял их в рот с каким-то безразличием. Посмотрев на него, я вдруг устыдился собственной невежливости, ибо не удосужился спросить его до сих пор, почему он оказался здесь, выброшенным турецкими матросами на берег, когда все люди Хаджи Берзека Керантуха находятся в другом месте.

Когда я поинтересовался этим, Саид, перестав отправлять крошки хлеба в рот, нахохлившись, как сокол-подранок, начал издали:

— Не запомнил ли ты, Зауркан, как однажды мы, обнажив клинки, готовы были убить друг друга, словно кровники? А поводом для ссоры была моя обида...

Саид, сев поудобней, так, что спина его упиралась в земляной выступ, и глядя в море, где закатный луч сиреневел, угасая, продолжал:

— Тебе оказали честь, предложили быть одним из телохранителей предводителя убыхов, моего молочного брата Хаджи Керантуха, а ты отказался. Твой отказ был равносильен оскорблению. Кровь ударила мне в голову. И если бы нас тогда не развели силой, неизвестно, чем бы все кончилось.

Он перевел дыхание, не переставая вглядываться в даль. Взгляд его был сосредоточен и неподвижен, казалось, он к чему-то прикован, хотя на чешуйчатой поверхности моря не было видно даже одинокого паруса.

На всякий случай, выждав минуту-другую, чтобы не оказаться человеком, перебившим речь собеседника, я напомнил:

— Ты знаешь, Саид, что с отрочества я почитал Хаджи Керантуха. Он был для меня богом. Не раздумывая, я бы отдал за него жизнь. Но нельзя, Саид, одновременно обращаться с молитвой к небу и топтать все святое на земле. Когда, сложив оружие, Керантух согласился на переселение в Турцию, жизнь предводителя нашего лишилась для меня цены. Поэтому я и отказался охранять его. Коронуют голову, а не ноги. Прости меня, но он предводитель бегства — твой молочный брат.

Тут я спохватился: Саид не может нести ответственности за того дворянина, который воспитывался в их семье и которого он боготворит. Такими словами можно поранить, а то и убить невинного. Но Саид с каменным хладнокровием выслушал мои неуважительные слова о Хаджи Керантухе, лишь на мгновение страдальчески исказилось его лицо.

— Для меня Керантух умер, — добавил я.

Голос мой прозвучал примирительно: мол, бог с ним, с Керантухом, не будем ворошить прошлого. Но неожиданно для меня Саид швырнул камень в этот же огород:

— Он подход для всех убыхов! Слепцы прозрели на краю могилы!

Я даже растерялся от недоумения, потому что произнес это не кто-нибудь, а человек, для которого Хаджи Керантух считался больше чем родственником.

— Слушай меня, Зауркан,— тихо произнес он, словно коня за повод потянув к себе мое внимание.— Об этом вряд ли я поведаю еще кому-нибудь...— И словно плетью ожег: — Доподлинно известно мне, что продали нас всех по сходной цене, как баранов. Переселение... Растопырили уши. Куда предводители, туда и мы! Ослы несчастные!.. Среди тех, кто неплохо заработал, был и он, мой молочный братец Хаджи Керантух, чтоб чума его взяла!

— Полно, Саид, бритая голова еще не плешивая. Обиду гневом не успокоишь.— Сопrotивляясь страшному смыслу слов его и боясь в него поверить, я остановил Саида.

Но он не сдался:

— Клянусь святыней нашей Бытхой, что слово мое правдиво. Оно развяжет перед тобой узелки тайны. Думаешь, мне тяжело от мук телесных? Нет, Зауркан, нет! Запасись мужеством и слушай в два уха. Что бы ты почувствовал, храбрый горец, если бы знал, что генералы русского царя подкупили убыхского вождя? А?

Я был поражен и хотел выразить сомнение свое, но Саид не дал мне открыть рта:

— Молчи, молчи! Они предложили ему сделку: «Когда, прекратив кровопролитие, склонишь народ свой на переселение в Турцию, то получишь от государя нашего столько, что и правнукам твоим на три жизни хватит. Прекращение войны — благо для обеих сторон. Все будет выглядеть как нельзя лучше».

— Это предположение, а где доказательства? — не вытерпел я.

— Прямых доказательств у меня нет, но косвенные значат не меньше улик. Я был телохранителем моего знаменитого собрата и не отходил от него ни на шаг. В тот день, когда мы грузились на корабль, к нему приезжали два русских офицера из штаба, и я воочию видел, что после дружеского разговора они поднесли ему дорогой ларец. Я не могу утверждать, что внутри того ларца было золото, но и ты не можешь предположить, что в нем было овечье дерьмо. К тому же, я это слышал своими ушами, наш

предводитель просил их передать благодарность наместнику Кавказа, дяде царя. Не кажется ли тебе странным это?

У меня было такое ощущение, Шарах, будто обвал в горах застиг меня врасплох на горной тропе. Вот над головой моей пролетел камень, а вслед за ним уже неся другой. Слова Саида были неумолимы и походили на безжалостные камни, ринувшиеся с вершины, которой еще недавно любовался я. А Саид, похоже, хотел меня доконать. Речь его была как самобичевание, и все время чудилось, что между слов ее звучит исполненная укоризны мысль: «Так нам, дуракам, и надо!» И новый валун ударял меня в грудь.

Преступность действий Керантуха с каждым словом Саида обретала неопровержимость, и ее уже нельзя было объяснить случайным стечением обстоятельств.

— Наш корабль,— говорил Саид Дашан,— вначале, как и все корабли, держал курс на Самсун. Когда мы были в нескольких верстах от берега, на борт корабля с пришвартованной фелюги поднялся турок, похожий на портового чиновника. Этот человек оказался личным представителем султана. Он предложил Хаджи Керантуху направиться со всеми людьми в Стамбул. «Там ждет тебя великий визирь»,— уведомил турок. Когда не повезет, то и на суше утонешь. Миновав Босфор, мы прибыли в город, над которым возвышался купол голубой мечети. На берег разрешили сойти одному ему — главе убыхского народа. Но мы потребовали, чтобы его сопровождали телохранители, мы — трое братьев, чья мать была когда-то его кормилицей.

Приемная великого визиря «Арз адасы» — богатый дом с полукруглыми окнами. У дверей — стража. Нас провели в покои, застланные узорчатым ковром, на котором звук шагов становился неслышным, как полет птицы. На красном мягком диване сидел, поджав под себя ноги, чернобородый старик в высокой феске. Перед нами был великий визирь. Он не встал с дивана, этот, казалось, дремавший человек, не подал руки Хаджи Керантуху, а только, сложив ладони перед собой, чуть заметно кивнул ему. Откуда-то как тень, полусогбенно, вошел слуга с чашечкой ароматного кофе и поставил ее перед великим визирем на маленьком столике. Сонно отпив глоток кофе, полусмежив веки, визирь обратился к Хаджи Керантуху, который стоял перед ним в белой черкеске с шестнадцатью газырями по обе стороны груди, положив ладонь на серебряную рукоять кинжала:

— Наместник великого аллаха на земле, святой отец всех правоверных мусульман, милостивый и милосердный султан и халиф наш выражает свое высочайшее удовлетворение тем, что ты, не дав погибнуть народу своему от адского огня и ненависти гяуров, привел его в спасительное лоно райских владений несравненного повелителя нашего, приняв его подданство и покровительство...

Великий визирь прервал свою речь и закрыл глаза.

Хаджи Керантух, приложив руку ко лбу, поклонился великому визирю, который с едва заметной лисьей ухмылкой продолжал:

— Русский посол обратился к нам с просьбой, чтобы ты, благородный Хаджи Берзек Керантух, был удостоен особой милости нашей высокой стороны. Всемогущий султан, владыка полумира, великодушно согласился исполнить эту просьбу. К тому же, учитывая твои заслуги, Хаджи Берзек Керантух, властелин полумира во славу аллаха и пророка его Магомета, исполненный щедрости и являя свое расположение к твоей особе, присваивает тебе звание турецкого паши с выплатой содержания из казны соответственно почетному чину и дарует тебе поместье на острове Родос. Ты заберешь четыреста душ своих крестьян и отправишься туда, чтобы в благоденствии и радости вознести молитвы в честь доброты и великодушия великого султана.

Хаджи Керантух выразил благодарность великому султану и его великому визирю. Мой старший брат шепотом, как советник во время переговоров, предостерег Хаджи Керантуха:

— По праву сородича молю тебя — подумай. Ты немало невзгод перенес во имя отчего народа. Ты всегда, как шелковое знамя, был на высоте, предводительствуя нами. Тебе нельзя уходить на покой в такое время. Убыхи смотрят на тебя с надеждой, предать их упования — смертный грех. Ради собственного благополучия ты не смеешь обречь соплеменников на гибель.

Керантух озлился. С улыбкой, не подавая вида, что между ним и моим старшим братом возникла распря, он процедил:

— Прекрати свои наставления! Им здесь не место! Скорее мертвого воскресишь, чем вернешь мое предводительство. Оно сгорело еще там, за морем, вместе с каштановым домом. Что чужой бог, что свой черт — цена одна.

И, словно давая понять моему старшему брату, что тот, кто играет с барсом, должен привыкать к царапинам, Хаджи Берзек Керантух почтительно приблизился к великому визирю и, приложив одну руку ко лбу, а другую к сердцу, низко поклонился:

— Милость султана безмерна! Под этим благословенным кровом, великий визирь, хочу заверить вас, что готов верой и правдой служить первой звезде восточного неба — великому султану и вам!

Великий визирь оживился, черные глаза его сверкнули, и во взгляде, которым он окинул всех нас, промелькнула властная искра самодовольства.

— Быть пашой великого султана — высокая честь, — произнес визирь. — Чтобы оправдать доверие и гостеприимство владыки полмира, ты должен

выполнить два условия...— И, пересев в кресло, стоявшее рядом с диваном, добавил: — Они соответствуют вере нашей...

Керантух в знак внимания склонил голову, но не спросил, какие это условия.

Умный визирь оценил осторожность главы убыхов и, словно совершая намаз, произнес:

— Нет бога, кроме аллаха, и Магомет — пророк его! Кому даровано звание паши, тот обязан носить имя, любезное Корану. У нас, в отличие от христиан, нет фамилий. С сегодняшнего дня вместо Хаджи Берзека Керантуха ты будешь зваться Хаджи Сулейман-паша. В книгу пашей государства имя твое впишут золотыми буквами. Это первое! Каждому паше приличествует одежда, соответствующая званию. Тебе придется расстаться с кавказским одеянием. Это — второе,— тоном, не терпящим возражений, сказал великий визирь. Куда девалась его дремота?

Лицо Хаджи Берзека Керантуха побледнело. Чувствовалось, что в душе предводителя убыхов идет нелегкая борьба: перед ним сидел великий визирь, а за спиной стояли мы — три сына единоплеменного народа. Старший из нас не выдержал:

— Золотые Берзеки, рожденные властвовать, неотделимы от славы Кавказа. По древности и знатности ни одна дворянская фамилия не сравнится с твоей. Тебе предлагают сменить ее на кличку. Опомнись! Скажи ему, что ты не раб и не пленник...

— Молчи,— в смятении, еле слышно процедил Хаджи Керантух.

Но мой старший брат не подчинился:

— Вспомни, как белый сардар, чтобы заручиться твоей дружбой, присвоил тебе звание полковника, но ты нашел в себе гордость отречься от такой чести и швырнул золотые погоны в костер. А теперь задумали боевого сокола превратить в гусыню. Позор! Ты не наложница из гарема, чтобы носить шаровары с разводами. Уступишь — чадру наденут. Скажи этому чернобородому, что для мужчины нет лучше одеяния, чем черкеска.

Великий визирь не понимал по-убыхски, но по лицу брата моего, наверно, смекнул, что слова его схожи с огнем, поднесенным к пороховой бочке. Однако первый министр султана был опытной лисицей и потому не подал вида, что встревожен, напротив, благодушно перебирал янтарные четки.

— Я жду твоего решения,— произнес визирь.

Но тот, к кому он обратился, казалось, пропустил мимо ушей его вопрос и ничего не ответил.

Глаза великого визиря прищурились:

— В священном нашем Коране сказано: «Сумей услужить тому, кто осыпал тебя». — И вдруг его голос обрел жесткость: — Я хотел бы знать, принимаешь ли ты, посоветовавшись со своими людьми, — визирь бросил на нас уничтожающий взгляд, — предложение всемилостивого султана, или не ты, а они решают за тебя, как тебе поступать?

На скулах Хаджи Керантуха вздулись желваки ярости. Он, стиснув зубы, резко повернулся к стене, но потом, взяв себя в руки, приблизился к великому визирю:

— Я желаю видеть самого султана, в подданство которого вступил со своим народом.

— Сейчас девятый месяц мусульманского календаря. Рамазан. Великий пост. Наместник аллаха — сиятельный султан, отрешась на это время от дел земных, никого не принимает. Молитвам предается он. В молитвах очищение. «Ла илаха ила-ллахи. Мухаммад ар-расулу-ллахи»*. Нет бога, кроме аллаха, и Магомет — пророк его.

Хаджи Керантух знал, что сейчас рамазан и что правоверные мусульмане воздерживаются от пищи и питья от восхода до захода солнца, но он не верил в благочестие султана и, обходя уловку визиря, напомнил ему:

— Мать великого султана родом из Адыгеи. Она по крови близка убыхам. Ей легче понять наши страдания и наши обычаи. Во власти великого визиря сделать так, чтобы эта благородная женщина приняла меня хоть на минуту.

Великий визирь, сложив ладони перед собой, отвечал, словно совершая намаз:

— «И вставайте на молитву, и делайте очищение, и кланяйтесь с поклоняющимися!»* Из молитвы. Когда глава всех мусульман беседует с аллахом, то приближенные его, отрешась от забот мирских, тоже устремляются помыслами к небу!

Великий визирь снова прикрыл глаза, словно задремал.

Хаджи Керантух понял, что старик не уступит. Упорствовать, да еще в нашем присутствии, было бы опрометчиво. Поэтому он повелел нам отправиться на пристань и там ждать его возвращения.

— С глазу на глаз мне легче будет уломать эту лисицу, — добавил он. — Ступайте!

Мы остерегли его:

— Держи гнев в узде. Не сорвись! Ярость плохая советчица!

— Не тревожьтесь! Я головы не потеряю и приму лишь достойные условия!
— успокоил он нас.

Мы ушли и до восхода луны терпеливо ожидали его на пристани. Поверь, Зауркан, это был самый черный день в моей жизни.

Как же поступил, по-твоему, этот человек, который предводительствовал героями, не склонившими головы перед целой армией генерала Евдокимова, человек, имя которого столько лет было на устах убыхского народа, о котором пели матери над колыбелями своих сыновей: «Вырастай, мой мальчик, ты будешь храбрым, как Хаджи Керантух». Не лелей надежды, Зауркан! Он предал нас, переменял угодливо имя, стал турецким пашой и одел шаровары. Если бы наша мать узнала об этой измене, она бы бросилась в море с корабля, обвинив себя в том, что не смогла воспитать, как надлежало, молочного сына.

На следующий день после полудня корабль с полтысячей дворов переселенцев отошел от Стамбула и взял курс на остров Родос. На этом корабле, сопровождаемом белоснежным парусником, принадлежащим великому визирю, не было ни нас, братьев, ни нашей бедной матери. Мы заранее свели ее на берег. Уплывавшие на Родос убыхи думали, что за ними на прекрасном облачном паруснике следует их шелковое знамя — Хаджи Берзек Керантух. Они еще не ведали, что плыл на нем не он, а новоявленный паша Хаджи Сулейман. Наша мать осталась в неведении о том, что случилось, мы не решились сообщить ей об этом. Она все время повторяла нам:

— Дети мои, не оставляйте его! Когда я умру, он похоронит меня с почестями!

После всего случившегося одна мысль сжигала мой мозг: вернуться на родину. Если не смогу это сделать, застрелюсь. Я отозвал в сторону братьев и потребовал от них права распоряжаться собой. Они не соглашались.

— Умирать, так вместе! — был их ответ на мое требование.

Тогда я тайком покинул их. Мне удалось проникнуть на пароход, что уходил на Самсун. От одного моряка я проведал, что из Самсуна на Адлер завтра должно отойти судно, чтобы перевезти с того берега горсточку ахчипсовцев. Я готов был привязаться веревкой к мачте этого судна, чтобы вернуться домой. Но турецкие стражники разнюхали, что я проник на пароход, вышедший из Золотого Рога, связали и выбросили на берег.

Круглая луна, как отрубленная башка, обливаясь кровью, поднималась все выше. Вторя рассказу Саида, глухо ревели волны.

— Понапрасну погубишь себя, если вздумаешь еще раз забраться на пароход. Присоединись к нам! Даст бог, наступят лучшие времена! — уговаривал я Саида.

Но тот оставался глухим к моим увещаниям. Завязав концы башлыка, он поднялся и сказал:

— Ахмет, сын Баракая, поступил как мужчина!.. Он был провидцем. Прощай, Зауркан, может, еще увидимся...— И добавил: — В стране убыхов...

Молочный брат Хаджи Керантуха отправился в сторону пристани, сливаясь с собственной тенью.

«Эх, Саид, Саид! Лучше бы мы оставались кровными врагами»,— подумал я тогда, глядя ему вослед...

Через много лет, не по моей воле, он погиб от моих рук. Этот невольный грех я ношу на душе всю жизнь. Как это произошло, ты еще узнаешь...

Горы горят

На малоазийском побережье Черного моря от Трапезунда до Стамбула в любом городе, в каждом селении ютились оборванцы — махаджиры, с глазами, мерцавшими от голода. Их мечта о райской земле обернулась жестоким раскаяньем. Но потерянного уже не воротить. Среди этих людей, походивших на перекасти-поле, были не только убыхи, но поднявшиеся еще до них на эту сторону моря и натухайцы, и бжедухи, и шапсуги — сородичи адыгов, да и кабардинцев, хоть породнились они когда-то с белым царем, приплыло сюда немало. А родственные абхазам садзы и ахчисовцы все до едина оказались здесь.

Теряя счет переселенцам с севера, турецкие власти всполошились. Они даже сделали попытку остановить нашествие инородцев, но было уже поздно. Кто не побывал в нашей шкуре, тот беды не знал. Ветер смерти часа не назначает. Голодный человек перед болезнями — как безоружный перед врагом. Тиф и холера, не зная на себя управы, устроили черное пиршество. В иные дни они уносили столько людей, что некому было оплакивать и хоронить мертвых. Конечно, будь люди бессмертными и плодись они несчетно, земли бы не хватило им. Но смерть смерти рознь. Одно дело погибнуть в бою за правое дело: такая смерть почетна, даже желанна. Удалец, павший на поле брани, не исчезает бесследно: он оставляет после себя имя. Не зря смертельно раненный убых пел перед кончиной гордую песню. И разве удивительно, что те, кто, как бродячие собаки, умирали здесь, на чужбине, завидовали людям, почившим еще дома? Смерть — чаша, которой никто не минует, но тихо умереть близ родного очага воистину счастье, Шах! Сам посуди: вот ты лежишь на смертном одре, домочадцы стоят близ изголовья твоего. Их лица освещены любовью и печалью, а в очах светлые, неподдельные слезы. Ты прощаешься с близкими, наказав им жить долго и дружно, умиротворенно и спокойно. А слово твое — закон, отдаешь последние распоряжения о своих похоронах и о разделе наследства, милостиво и великодушно отпускаешь кому-то грехи, а тебе отпускают твои. А когда ты издаешь последний вздох и господь примет твою душу, родственники и друзья из соседних сел и дальних, в

траурных одеждах, верхом и в повозках, съедутся, чтобы отдать тебе последний долг, оплакать тебя. Бережно, на поднятых руках, неторопливым шагом, они отнесут тебя к месту вечного покоя твоих предков, опустят в милую материнскую землю и, засыпав могилу, уйдут благоговейно, с глазами, озаренными печалью, переговариваясь почти шепотом, словно смерть твоя приобщила их к чему-то возвышенному, святому, отмеченному великим таинством. А потом устроят по тебе поминки и, не чокаясь, станут пить за каждый год тобой прожитой жизни и говорить о том, каким достойным, честным и добрым человеком был ты в этом несовершенном мире. Потом заботливо огородят твою высокую могилу, чтобы ни волк, ни собака, ни какой другой зверь не осквернили ее, и еще долго будут носить траур, воздавая почет и уважение тебе.

Несчастливые махаджиры даже мечтать не могли о такой прекрасной смерти. Об одном пеклись они перед тем, как исчезнуть в нищенской бесприютности, — чтобы кости их были зарыты, а не стали добычей воронья и шакалов. Мы — обреченно теснившиеся в каменных стенах сарая — раньше других обнаружили признаки рокового недуга. Старики считали, что холера возникла вследствие того, что люди ели заплесневелую кукурузу, смешавшуюся с мышинным пометом. Чудом казалось мне, что опасная хворь еще миновала нашу семью. Мать, отец, брат мой Мата и обе младшие сестры оставались покуда здоровы. Но слезы не высыхали на щеках матери; она таяла как свеча в тревоге за мою старшую сестру Айшу. Мать в суеверном трепете сообщала, что видит дурные сны, а это, мол, плохое предзнаменование. «Ох, горе мне, — замирая от страха, твердила она, — чувствует сердце мое, что бедная Айша не вынесет мук, выпавших на долю нашу. Лучше бы я умерла там, дома, чем испытать участь матери, пережившей свою дочь. Ведь дитя во чреве ее...» Действительно, Айша ждала ребенка. Подумай только, Шарах, смерть вокруг, лихо, беда, а женщина на сносях. Тяжелее жребия сам сатана не смог бы придумать. Айша с мужем высадились по прибытии, как и мы, под Самсуном, но затем они направились пешком вдоль берега на запад. Где остановились и пребывали они теперь, мы не знали.

Пока есть жизнь, живет и надежда. Видя слезы матери и желая утишить тревогу всей нашей семьи, я решил отправиться на поиски Айши. С отцом и братом мы условились так: если я разыщу ее, то постараюсь, чтобы она с мужем присоединилась к нам. Я отправился в путь, держась берега моря. Проснувшееся солнце всходило у меня за плечами. Все, что я увидел в дороге, не поддается описанию, достопочтимый Шарах. Клянусь хлебом, если бы об этом узнал я даже из верных уст, и то бы, пожалуй, усомнился в услышанном. Отсутствовал недолго, а вернулся седым. Бедные махаджиры, доверчивые махаджиры, то, что выпало им на долю, по своей бесславности и мучительности было горше любого бедствия, которое способно было представить их воображение. Погибельная хворь, проникающая в человека с пищей и водой, свирепствовала среди переселенцев. А как было не злодействовать ей, если питались они отбросами. Рожденные в горах убыхи, брезгливо не употреблявшие воды из рек, что брали свое начало с заоблачных ледников, а утолявшие жажду только из родников; не

варившие мамалыги из муки, если она не просеяна дважды; считавшие тыкву задушенной, когда черенок ее был оторван, теперь как бездомные шелудивые собаки рыскали по зловонным свалкам. Девушки и женщины в жалких лохмотьях, завидев меня, прятались, отворачивались, закрывали лица, стесняясь вида своего, своей наготы и убожества. Дети грязные, босые, живые скелетики, бежали мне навстречу, протягивая руки:

— Хлеба! Дай хлеба!

Даже в каменном мужчине при виде этих детей должно было бы дрогнуть сердце. Однажды в поисках моей сестры и ее мужа я забрел на базар. Ты не поверишь, Шарах: там продавали людей. Еле передвигая распухшие ноги, вдова моего давнего знакомого Казырхан вела, держа за руки, двух сыновей-подростков и выкрикивала:

— Продаю мальчиков! Мальчиков продаю!

Ошеломленный, схватясь за рукоять кинжала, я метнулся к ней:

— Будь проклята старость твоя! Как смеешь ты продавать сыновей, чудовище?!

Она подняла на меня глаза, полные муки, с иссиня-черными полукружьями, и, словно прощая мою запальчивость, покачала головой:

— Кто доживет до старости, Зауркан? О чем ты говоришь? — И, кивнув на детей, добавила: — Лучше пусть купят их и покормят, чем умрут они от голода на моих глазах.

Моя ладонь на рукояти кинжала пристыженно разжалась.

— Да сразит молния или холера Хаджи Керантуха, погубившего весь род убыхов! — бросила вдова на прощанье и двинулась с детьми дальше: — Кому мальчиков? Мальчиков продаю!

Она души не чаяла в своих сыновьях и, продав их, вряд ли прожила бы еще день. На горластый базар, переваливаясь с ноги на ногу, как ожиревший селезень, пожаловал в это время тучный бей в синей феске. За ним следовал поджарый, согбенный в полупоклоне слуга.

Бей приблизился к Казырхан. Остановив ее знаком, он стал ощупывать мальчиков. Потом на пальцах показал цену, которую намерен был дать за них. Она не торговалась, и потому, достав из кармана шаровар деньги, покупатель бросил их к ногам женщины. Уголки землистых губ Казырхан дрогнули. Трясущейся рукой, в каком-то оцепенении она подобрала деньги и только раз взглянула на своих ненаглядных мальчиков перед вечной разлукой с ними. Но что это был за взгляд, Шарах! Казырхан была любящей матерью, и только мать способна совершить ради спасения жизни своих детей то, перед чем собственные страдания и гибель не имеют для нее

никакого значения. Слуга бея увел детей, сунув им по куску хлеба. Закрыв глаза согнутой в локте рукой, я почувствовал такую боль и тоску в сердце, словно в грудь мою всадили турецкий ятаган.

Вольные убыхи! Гордые убыхи! Когда в семье родился сын, счастливый сородич оповещал горы, солнце, всех соседей о том, что у него появился наследник по крови. Как эхо в ответ звучало: «Да приумножится род убыхов!»

Шатаюсь как раненый, я ушел с базара, будь он трижды проклят! Оттоманская Порта промышляла живым товаром, а в ту злополучную пору цена на самых красивых горянок была не дороже, чем на овец. Проданных девушек ждала судьба наложниц в гаремах Стамбула, Ангоры, Трапезунда и других городов. А мальчики шли на торгу еще дешевле. Ах, лучше бы они не родились, несчастные убыхские мальчики! Сказать не хватает дыхания, как поступали с ними. Злодеи барышники, оскопив их, предназначали им удел евнухов в гаремах больших и малых властителей этой страны.

Земляки, встречаемые мною в дороге, походили на живые мощи. У некоторых из них не было сил даже ответить на мое приветствие. Бесприютные люди на скорую руку сооружали себе какие-то шалаши и балаганы, чтобы укрыться от ветра и дождя. Плач и стенания живых, горячечный бред умирающих — все это походило на разверзшийся ад, в который угодили люди среди людей. Некоторые знакомые горцы советовали мне вернуться:

— Матери твоей не станет легче, если и ты сгинешь. Возвращайся, покуда ноги носят.

Но я не внял их предостережениям. Меня заботила участь сестры моей и ее мужа. Повальный мор свирепствовал среди моих соплеменников. Местные жители турки, перепуганные насмерть, старались держаться подальше от них, выставляя кордоны. Но кто алчен, тому все нипочем, хоть живот сыт, глаза — голодны. Владельцы кофеен, чебуречных, духанов, караван-сараев и других заведений мигом смекнули, что на беде можно отменно заработать. На самую грязную и тяжелую работу нанимали они некогда гордых и непоколебимых кавказцев, а расплачивались одной водянистой похлебкой. Изморенные голодом люди за ничтожную еду готовы были трудиться от зари дотемна. И еще благодарили как благодетелей тех, кто нанимал их. Богатство прихоти рождает. Расторопные уездные начальники шныряли по рынкам и грели руки на перепродаже молоденьких убышек. А муэдзин поднимался пять раз на дню на минарет мечети и призывал правоверных мусульман к совершению намаза:

— Во имя аллаха милостливого, милосердного!..

Зычный голос муэдзина возносился над головами обманутых и отвергнутых убыхов, бессильный приглушить их стоны и проклятия. Мне казалось,

Шарах, что вздохи женщин превращались в тучи и летели через море на осиротевшую родину, оплакивая там каждый погасший очаг.

Чем больше удалялся я от города Самсуна, шагая приморской полосой, тем картины бедствия моего народа становились все ужасней. Вскоре мне стали встречаться трупы, разлагающиеся трупы сородичей. Сладковатый смрад висел в воздухе. Это был верный знак того, что здесь вымерли все расположившиеся станом махаджирь. И уже некому было предавать земле мертвых. Зловещее предчувствие все явственнее вкрадывалось в мою душу. Перевалив через возвышенность, усыпанную галькой, я спустился в низину и вышел к мутной речке. Усталость подвесила к моим ногам пудовые гири, хотя прошел я за день не так уж много верст. В другое время для меня, молодого парня, чьим сухожилиям мог бы позавидовать горный козел, одолеть такое расстояние не представило бы никакого труда. Преклонив колени перед беззвучной водой, я вымыл руки, ополоснул лицо и, не ощущая особой жажды, лишь пригубил тепловатую речную струю. Вода воде рознь, Шарах. Там, где мы раньше жили под вековыми платанами, если, бывало, занедужит человек, то принесут ему студеною воду в глиняном кувшине из ясного родника — и глядишь, исцелился горец, здоров, снова на ногах. И не считалось такое чудо — чудом. Достав ломоть зачерствевшей лепешки, завернутой в башлык, я размочил этот скупой хлеб в речке и слегка заморил голод. Привал мой был краток. С нелегким сердцем двинулся я дальше, закинув за спину башлык. Вскоре поодаль возникла убогая хижина. Очевидно, это было жилище рыбака, так как у порога сушились сети. Направившись к этому жилью, я заметил женщину, которая лежала ничком на обочине тропинки, прижимая к груди ребенка. Рядом валялся в еще не подсохшей лужице кувшин. Самое простое было предположить, что женщина набрала в реке воды и, возвращаясь, упала. Опрометью кинувшись к ней, чтобы помочь ей подняться, я вскрикнул от неожиданности. Передо мной была моя сестра Айша.

— О аллах! Что с тобой? Очнись! Почему ты молчишь?

И, поднимая сестру, вдруг похолодев, понял: она мертва! По-видимому, смерть наступила недавно, так как тело еще таило тепло. Ребенок был жив, он не плакал и жадно сосал грудь покойницы. Присутствие духа на какое-то мгновение покинуло меня, я не знал, что мне делать. Свинцовые капли пота покрыли мой лоб, а руки повисли, как в параличе. Наконец самообладание вернулось ко мне. Я осторожно, но решительно оторвал ребенка от груди матери. На губах его белела капелька молока. О Шарах, с тех пор, кажется, тысячелетие прошло, но плач младенца, на чьих губах белела последняя капелька материнского молока, слышится мне и поныне. Знаешь, дорогой, я сегодня подумал, что есть смысл в моем загадочном долголетии. Кто-то должен был дожидаться тебя, чтобы повесть о гибели убухов осталась жить на земле... Корабль достигнет берега, а правда — людей...

Видно, хворь поразила и мальчика. Тельце его горело. Сжав, как игрушечные, похожие на два грецких ореха, кулачки, он плакал так, что казалось, вот-вот задохнется. Прижав его к груди, я почти бегом направился

к глинобитной хижине и, еще не достигнув ее порога, закричал, словно взывая о помощи:

— Выйди кто-нибудь!

Но никто не откликнулся и не появился в дверях. Когда я, ступив на порог, заглянул внутрь ветхого убежища, то услышал мучительный стон. Сделав еще шаг, я увидел, что как раз против света, проникавшего через распахнутую дверь, упираясь спиной в стену, скорчившись в три погибели, сидит мой зять Гарун, крепко сжимая живот сложенными крест-накрест руками. Глаза его были воспалены, а веки их словно обуглились. Горбатый нос заострился, обросшие щеки провалились, на челе лежала тень смерти. Знаменитый некогда во всей Убыхии наездник, стремительный, сильный, объезжавший полудиких коней, удачливый и разудалый, он сейчас напоминал собой полупустой, сморщенный мешок.

С трудом узнав меня, Гарун сделал попытку подняться.

— Ох, Зауркан, прости, нет мочи подняться, чтобы приветствовать тебя. Айша пошла за водой, сейчас вернется...— Голос его прерывался приглушенными стонами и висел на волоске последнего часа. Сквозь пелену помутненного сознания Гарун, очевидно, не замечал, что я держу на руках его сына. И вдруг все понял. Задыхаясь, он прохрипел: — Если ты мужчина, Зауркан, то прикончи меня. Сделай милость, прикончи! Айша умерла, и я подохну, как запаленная лошадь. А если и остануть жить... Нет, не хочу... Я старше тебя... Я приказываю тебе: прикончи! Пристрели!..

По лицу его пошла судорога, ноги вытянулись, голова склонилась набок, а на губах запузырилась кровавая пена. Извини, Шарах, я тебя, наверное, утомил своим печальным рассказом. Но если ты готов слушать меня и дальше, то не сетуй, что рассказ мой будет походить на кровотокающую рану, в которую злая рука бросила горсть соли. В старину говорили: лекарства сладкими не бывают.

Итак, мой зять Гарун умер, и я остался с младенцем на руках, больным и голодным.

Положив племянника на нары и закрыв глаза покойному зятю, я отправился, чтобы принести тело Айши. Бережно поднял его, и черные как смоль косы сестры моей упали к ногам моим. Вспоминать и то страшно. Вскоре умершая чета лежала бок о бок. Крошечный племянник мой, имя которого я даже не знал, только что надсадно кричавший и плакавший, вдруг замолк на нарах. Бедняжка, несмышлениш, чья жизнь трепетала, как светлячок свечи на ветру, притих. Горевшее от жары личико его было покрыто испариной. Когда мой взгляд встретился с глазами ребенка, то я вздрогнул, ибо взгляд его был осмыслен и словно молил о помощи. В кувшине, что обронила Айша, я принес воды из речки, напоил малыша и, смочив какую-то тряпицу, омыл ему личико. Положив ладошку под горячую щечку, он забылся сном. «Что же мне делать? — подумал я, стоя в

изголовье мертвых.— Может быть, злодейка судьба хотя бы новорожденного пощадит и мне удастся найти ему кормилицу? Но где найти ее?» А сначала надо еще предать земле мертвых. Обычай требовал, чтобы были они погребены, оплаканные близкими людьми. Но где найти вестника, который сообщил бы родным о смерти Айши и Гаруна? «Неужели я не найду ни одной живой души окрест, которая бы мне подсобила?» Подперев дверь хижины палкой, чтобы вовнутрь не проникли собаки, я, уцепившись как за соломинку за эту призрачную надежду, двинулся к берегу моря и, пройдя немного, подал зов, потом трижды разрядил в воздух пистолет.

— Хоу,— послышалось в ответ через некоторое время, и навстречу из пыльного кустарника вышли трое мужчин и пожилая женщина. Все они были измучены и еле волочили ноги. Мужчины держали на плечах лопаты, а женщина, облаченная во все черное, шла с распущенными волосами.

Я сразу догадался, что это верующие богомольные люди, которые приняли добровольно каторжную обязанность хоронить тех, кого некому было предать земле. Я поведал им о смерти сестры моей и ее мужа, а также о малютке племяннике, что лежал на нарах, покрытый испариной недужного жара.

— Эй, дорогой,— посочувствовала женщина,— то, что случилось с твоими благородными родственниками, случилось со многими. Аллах повернулся к нам, убухам, спиной. Покинув родину, совершили мы великое прегрешение. По греху и возмездие.

— Мы разделяем твою горе, любезный! Поможем похоронить усопших, но сделать большее бессильны,— вонзив в землю лопаты, добавили мужчины.

Я привел их к хижине. Ребенок снова плакал, чмокал губами, задыхался. Женщина взяла его на руки, прижала к груди и покачала скорбно головой:

— Этот тоже не жилец!

Укачивая и успокаивая младенца, она вышла с ним за порог. Мужчины поудобней уложили мертвых. Сняв башлык, ударяя себя в грудь, я принялся оплакивать почивших. Я оплакивал их от своего имени, от имени матери, отца, брата и сестер, я оплакивал их от имени осиротевшей родины убухов, такой близкой и такой далекой теперь. Солнце опустилось на высоту дерева, когда к подножию холма мы перенесли мертвых. Пока мы предавали их земле, умер и ребенок, словно не хотел он оставаться без отца и матери на этой облюбованной шайтаном земле. Безымянного мальчика мы похоронили рядом с его родителями.

— Прощай, Зауркан,— сказали добрые люди, помогшие мне.— Дай-то бог, чтобы не видел ты с этого дня горя большего, чем то, которое обрушилось на тебя сегодня. Мы ничем уже не можем помочь тебе, потому что каждый из нас обречен. Не избежать нам гибели среди людского мора.— И, указав

на свежие могилы, они позавидовали: — Счастливые! Удел наш горше окажется. Нас некому будет похоронить, и воронье выклюет нам глаза и растащит наши кости. Помолись за наши души!

Они ушли, и я остался один посреди могильной тишины. Солнце, окровавив горизонт, ушло на покой. Сумеречным становилось небо, удлиннились тени. Я решил остаться и охранять могилы в первую ночь, как это делали предки мои, чтобы какой-нибудь зверь не приблизился и не осквернил место погребения.

Когда совсем стемнело, я разжег костер в изголовий у мертвых. Огонь вскидывал багровые руки и являл мне лики тех, кто лежал у его ног. Вскоре взошла ущербная луна. В небе, которое было светлее земли, как саваны, проплывали облака. Каждая мышца моего тела ныла от усталости, мысли путались, веки смежались сами собой. Я положил голову на башлык и тотчас уснул. Мне приснился мой дедушка. Я никогда в жизни не видел своего дедушку, он умер до моего рождения, но отец мой не однажды рассказывал о нем, и потому я понял, что это — он. На нем была белая черкеска, такая белая, словно сшили ее из первого, незапятнанного снега. И голова у дедушки была белая. В руках он держал огромный черный котел, через край которого плескалась вода.

«Зауркан,— с укором проговорил он,— как смеешь ты прохлаждаться, когда весь народ поднялся, чтобы одолеть напасть?»

«А что стряслось?» — спросил я.

«Или ты ослеп? Глянь окрест — горы в огне». — И, протянув руку в направлении вершин, он провел в воздухе дугу.

Я, бросив взгляд в очерченное им пространство, увидел, что горы горят. Косматый огонь, словно стадо заживо освежеванных зубров, поднимался от подножия по склонам. Уже отсвет его лег на вечные снега. Краснели облака, и небо трещало, как сухой хворост в огромном костре. Невиданные, размером с горячие парусники, взметывались искры.

«Что это такое?» — в ужасе прошептал я.

«Кара божья! Господь отлучил нас от себя и решил низвести с лица земли весь род убыхов. Всю ночь шел войлочный снег. Столько намело войлока, что горы исчезли под ним. А потом невесть откуда ударила молния и взметнулся вселенский огонь. Беги, Зауркан, беги, внук мой, спасай горы!»

Вырвав из рук старика огромный котел с водой, я кинулся заливать огонь и в эту минуту пробудился. Со сна я не соображал, где нахожусь, но затем в забрезжившем свете утра, при виде могильных холмов, все вспомнил. Кто-то заскулил за моей спиной. Обернувшись, я увидел собаку, чьи ребра можно было сосчитать. Облепленная репейником, она скулила, поджав хвост.

— Прочь пошла! — присвистнул я и взмахнул рукой, точно собираясь бросить камень.

Собака боязливо отбежала в сторону, присела и стала выть. Несколько раз я пробовал отогнать ее, но все было напрасно. Пес отбегал на несколько шагов и начинал протяжно выть. «Может статься, пес принадлежал хозяевам рыбацкой хижины,— подумал я,— тогда он здесь хозяин, а я — гость».

Похороны, страшный сон, вой собаки — все перемешалось в моей голове. «Живы ли те, кого я оставил? А если нет?»

Я закрыл глаза и словно смотрел на солнце — все было кроваво-красным. Поднявшись, я поспешил обратно.

«Нет бога, кроме аллаха»

Приближаясь к тому становищу, откуда вышел, я издали приметил серую толпу махаджиров и услышал нестройный говор. Нагнав старика, направлявшегося к сборищу, я спросил:

— По какому случаю сход?

— Самсунский губернатор Омер-паша пожаловать должен. Имеет намерение потолковать с нами,— тыча посохом в жесткую землю, ответил старик.

Мы поравнялись с толпой. Кроме людей Шардына, сына Алоу, были в ней и незнакомые мне горцы. Собравшиеся возбужденно переговаривались, спорили, размахивая руками, одни предавались мрачным прорицаниям, другие — надеждам. Глаза у всех походили на искры из костра, в который швырнули камень. Рядом с мужчинами в черных одеждах стояли женщины. Старухи, сухие, прикрывавшие рты кончиками темных платков, поминутно вздыхали. Окинув взглядом толпу, я заметил отца: он стоял, опершись на самшитовую палку. Наши взгляды встретились. «Сейчас он все поймет по моему виду»,— в отчаянье подумал я.

— Хамирза! — кто-то окликнул отца, и тот повернул голову в другую сторону.

Запыхавшись, ко мне подбежал мой брат Мата.

— Слава аллаху, что ты вернулся живым и невредимым! — воскликнул он вместо приветия. И, прижавшись к моему плечу, заглянул в глаза: — Ты нашел Айшу?

В прямом, нетерпеливом вопросе звучал плохо скрытый страх. А вдруг я убью его надежду?

— Нашел! Нашел! — милосердно солгал я.— Все в порядке у них.— И, чтобы не успел он задать нового вопроса, сам спросил: — А вы как здесь?

— Ничего, Зауркан! Мать очень беспокоилась, что ты пропал. Три дня не вставала с постели и только сегодня поднялась, словно знала, что ты вернешься.

Сквозь толпу протиснулся плечистый, моложавый, несмотря на седину, горец в залатанной черкеске и язвительно сказал:

— Хотел бы я знать, куда подевался духовный пастырь наш — благочестивый Сахаткери? — Он обращался не к кому-то одному, а разом ко всем.— Еще задолго до переселения этот благочестивый мулла ходил по селам и рассказывал нам, дуракам, сказки, соврашая ехать сюда.— Подражая голосу Сахаткери, он блаженно и сладко запричитал: — «Ведайте, добрые люди, Турция — это цветущий полистан. Райский сад для праведных. В этом благоуханном саду не бывает жары и не бывает холода. Никто не оскверняет там уста проклятиями, лелея на устах благодарные молитвы». Где он, этот гнусный лжец? Попадись он мне, я мигом из него душу вытрясу! — И великан потрянул в воздухе сжатыми кулачищами, словно держал за горло незримого Сахаткери.

— Ищи ветра в поле!

— Как только сошел с корабля, так и след простыл!

— Говорят, отправился паломником в Мекку.

— Чтоб его там черным камнем придавило! — ворвалась в мужскую разноголосицу старуха Хамида, утирая слезу кончиком головного платка.

— Турция — страна широкая... Может, мы, высадившись на окраине Самсуна, как та курица, дальше своего насеста ничего не видим. А если вправду Сахаткери отправился разыскивать для нас обетованные места? Ведь и предводителя нашего Шардына, сына Алоу, тоже не видать,— уцепился за веточку надежды добряк Шрин из племени садзов.

— У кого есть деньги, тот и в аду будет жрать сласти! Мы подыхаем, дорогой Шрин, а ты еще веришь, что за нами явятся наши благодетели и поведут нас в райские кущи. Не будь слепцом! —как ударом плети хлестнул по розовой веточке надежды Шрина тот разгневанный горец, который завел разговор о пройдохе Сахаткери.

Оглядываясь, словно разыскивая кого-то, в середину толпы проталкивался Дзиапш Ноурыз, сын Баракая. Нрав этого человека всегда был горячим. Он походил на пистолет, у которого всегда взведен курок. Дзиапш Ноурыз не вставал, а вскакивал, мог прервать собеседника на полуслове и действовал сломя голову.

— С постели поднялся,— кивнул на него мой брат Мата.

Действительно, сын Баракая был смертельно бледен и так сутулился, что без сострадания на него нельзя было смотреть.

— В споре, кто виновен в нашем злосчастье, не вижу прока,— начал он хриплым, словно застуженным голосом.— Одно ясно: обмануты и проданы мы, как бараны. Куда канул Хаджи Керантух? А? Не знаете! Могу поклясться, что он, в отличие от нас, благоденствует. Такому и чужбина что родина. Здесь не меджлис, где чешут языки и спорят, стуча бычьими лбами. Буду краток: родственникам, молочным братьям и друзьям я объявил, что готов стать во главе тех, кто пожелает вернуться на родину. Если это не удастся нам сделать мирно, возьмемся за оружие. Предпочитаю упасть в бою головой к отчему краю, чем подохнуть от голода невесть ради чего в этой чужой стране. Пора действовать! — И, выбросив руку в направлении моря, крикнул: — Завтра в дорогу!

Для большинства собравшихся слово Дзиапша Ноурыза, сына Баракая, было неожиданным. И хотя люди привыкли к скоропалительным поступкам Ноурыза, его «завтра в дорогу» их немало озадачило. У каждого за плечами находились женщины, старики и дети. Взять домочадцев с собой — легко сказать, а бросить здесь на произвол судьбы — кто же решится на такое? Дзиапш Ноурыз знал это. Ропот нерешительности прокатился по толпе.

Но Ноурыз понимал, что щека не загорится, пока по ней не ударишь.

— Ведь и среди вас имелись порядочные и храбрые люди, которые предостерегали, что угодим в западню! Но где там! Как овцы за блудливым козлом, полезли вы с детьми и женами в эту холерную дыру!

— Что правда, то правда, Дорогой Ноурыз,— не выдержал старик Сит, забросив концы башлыка за спину.— Твой брат Ахмет старался удержать народ от погибельного шага. Но ведь и ты сам тогда...

— Паша приближается! Паша!

Этот крик так и не дал договорить старому Ситу то, что он собирался сказать.

По дороге, ведущей из Самсуна, в сопровождении конвоя из десяти аскеров приближался всадник. Вскоре он поравнялся с толпой. Она расступилась, и паша въехал в самую середину. Смуглолицый, огромного роста, в феиз шапке с аспидной кисточкой, он лиловыми, как маслины, глазами обвел собравшихся. Над слегка вывернутой, одутловатой верхней губой его, как приклеенные, рыжели усы. Восседал он на дородном, высоком чалом скакуне. Стремена были опущены до отказа, и казалось, что длинноногий седок почти касался ступнями земли. Многие убыхи, дад Шарах, знали турецкий язык. Но обычно им владели дворянские семьи, их челядь,

торговцы-контрабандисты, а не простолюдины. Омер-паша не мог без толмача разговаривать с толпой, которую составляли люди простого звания. Поэтому рядом с левым стременем паши в роли переводчика оказался толковый малый, грамотей Мзауч Абухба. Этот садз-абхазец был родом из Гагра.

Поздоровавшись, паша спросил:

— Все ли здесь мусульмане?

— Все, губернатор! — ответил старик Сит.

— А если все, то почему не посещаете мечети и не совершаете пяти намазов, как должно правоверным?.. — Начать разговор с укора — это было по меньшей мере невежливо.

— Почтенный паша, позвольте заметить вам, что аллах избавил голого от того, чтобы стирать белье. Мы бы пошли в мечеть, но там нет хлеба, чтобы унять голод, нет лекарства, чтобы погасить огонь заразы, испепеляющей нас.

Я сам удивился своему голосу. В нем звучала сталь, а моя правая рука стискивала рукоять клинка. Как в бреду расплывалось передо мной лицо паши, а по нему, словно призрачная тень, проплывала мертвая Айша, чью грудь сосал еще живой ребенок. Черные косы сестры ниспадали к ногам коня, на котором сидел паша. Мата мгновенно оказался впереди, чтобы прикрыть меня. Но переводчик из разъяренного быка сделал смиренного барашка.

— Мы голодны, господин паша, — так перевел он содержание моих слов.

— С завтрашнего дня каждая семья будет получать по буханке хлеба, — торжественно изрек Омер-паша с такой благодетельной величавостью, словно впрямь с завтрашнего дня открывал перед нами ворота рая.

Ликующих криков паша не услышал, напротив, к нему подскочила похожая на больную птицу старуха Хамида и заклекотала:

— Чем может помочь один черствый хлеб? Без молока все дети погибнут!

«Экие неблагодарные», — и в глазах паши полыхнуло недовольство.

— Это не по-мусульмански, — взъярился он, — женщины не могут присутствовать, да еще без чадры, там, где собираются мужчины. Вы должны забыть порядки гяуров. Здесь не Россия! Пусть женщины немедленно уберутся отсюда!

— Сделай милость, господин, выслушай меня! — седобородый Соулах, сложив ладони, поклонился сановитому всаднику. — У нас, убухов, есть своя

святыня — всемогущая Бытха. Я имею честь быть ее верховным жрецом. Когда мы славим нашу святыню, совершая молитвы, женщины стоят рядом с мужчинами. Таков обычай! Мы унаследовали его от предков.

Когда Мзауч Абухба слово в слово перевел сказанное жрецом, паша повесил плеть на седло и, воздев руки к небу, взмолился:

— Ла илаха ила-ллахи...— И, прервав молитву, угрожающе крикнул в толпу:
— Ступайте, нечестивые, в мечеть! Все ступайте! Искушайте молитвами грехи ваши, иначе вам рая не видать!

Меня начал душить гнев:

— Дайте нам возможность жить как людям на этом свете, а рай мы уступаем вам!

Мата снова изготовился к схватке, прикрывая меня, и я заметил недовольный взгляд отца: «Где твоя выдержка, сынок?»

Омер-паша, чье краснбайство я прервал, оглянулся. Верховой аскер рукоятью плети показал в мою сторону.

— Шайтан! — выругался самсунский губернатор и, сбросив личину благотворителя, объявил: — От имени великого султана, наместника аллаха на земле, я повелел занести в списки имена молодых людей, способных нести военную службу. Занесенные в списки будут призваны в армию. Кто пойдет в армию добровольно, получит вознаграждение, а его семья — покровительство государства.

Воцарилась тишина. Первым нарушил ее мой отец:

— Они хотят забрать наших сыновей! Лишить нас всякой надежды и опоры!

— Эх, Хамирза,— смалодушничал кто-то,— не отдашь подоб-ру сегодня — завтра силой возьмут. Меч власти длинный...

Люди были в замешательстве. Но тут перед Омер-пашой вырос Ноурыз. Воткнув короткий посох в землю и повесив на него свою шашку, он без обиняков на турецком языке отчеканил:

— Слушай, начальник, ваша райская земля не подошла нам. Или мы ее недостойны, или она недостойна нас. Половина приплывших сюда уже в могилах. Остальным уготована эта же участь. Слышишь, начальник: мы решили вернуться на родину! Дайте нам корабли! Не дадите — пойдем пешком, только откройте границу. Когда окажете нам такую великую милость, век станем молиться за здоровье вашего султана.

Толпа замерла. Но слова Ноурыза, сына Баракая, не ошеломили Омер-пашу. Он, наверно, был подготовлен к такому требованию махаджиров и потому не раздумывал:

— Это невозможно! Была бы моя воля, но разве я властен отменить условия договора двух великих государств — Турции и России. Под нашим полумесяцем вы не пропадете. И пророк вначале был не признан. Ваши жертвы не будут забыты. Терпение — сестра удачи. Ла илаха ила-ллахи! Каждую пятницу не забывайте ходить в мечеть, очищайте души свои...— с этим напутствием, чуть погарцевав перед нами, Омер-паша пришпорил коня и рысью поскакал прочь.

За ним двинулся его конвой. Тучи пыли скрыли всадников. Люди стали расходиться в мрачной подавленности. Вскоре я, отец мой и брат оказались друг против друга. Отец пронизательно взглянул мне в лицо. Я не выдержал и опустил голову:

— По твоим глазам вижу, что с Айшой беда! Рассказывай все как есть, пока мы одни...— И добавил, положив руку на плечо Маты: — Мужчины!

И я, ничего не скрывая, поведал о том, что стряслось. У отца задрожала челюсть, но других признаков того, что черная весть прострелила ему сердце, он не показал и даже снял руку с плеча Маты, опираясь лишь на самшитовую палку. А бедный мой брат — конечно, сказывалась его юность — разревелся, как маленький. Дав ему вволю излить слезы, отец голосом человека, превозмогшего самое страшное потрясение в жизни, сказал:

— Это горе, как тайну тайн, храните за крепостной стеной ваших зубов. Ни мать, ни сестры знать о нем не должны. Если узнают — это станет причиной их гибели. Ты, Зауркан, поспеши к ним и постарайся подлить масла в светильник их надежды. Ступайте, сыны мои!

Отец оставил нас с братом и двинулся на край каменистого дола, где росли редкие чахлые деревца. Он души не чаял в своей старшей дочери Айше. Она была первенцем в семье. И сейчас отцу необходимо было побыть одному, чтобы в тени пыльных ветвей оплакать ее. Он искал одиночества, которое приличествует раздумьям, молитвам и слезам.

Мата плелся за мной. Он уже не всхлипывал, а только вздыхал. Еще до своего ухода на поиски Айши я заметил, что он похудел, потерял покой и часто вскрикивал во сне. Я почувствовал, что его точит не телесный, а духовный недуг. Он страдал и не находил сил умерить муку, с которой и зрелому мужу не легко совладать. Стоило ему открыть рот, как то и дело слышалось: «Наши горы», «Наш двор», «Наша земля».

— В последнее время,— признался он,— недобрые сны мне снятся. Нынче ночью привиделось, будто с полным мешком кукурузы пришел я чуть свет на нашу старую мельницу. Гляжу: дверь распахнута, а на пороге — незнакомая серая собака и вот-вот метнется мне на грудь, чтобы вцепиться

в горло. Лает, проклятая, а лая не слышно. Немая собака. Схватив камень, я швырнул его в собаку, и она отскочила в сторону. Вхожу на мельницу и дивлюсь: нижнее колесо крутится полным ходом, а жернова лежат без движения, и пыль на них в три пальца. А вместо деревянного корыта, куда должна сыпаться мука, стоит черный гроб. Жуть меня взяла, выскочил наружу, а на дворе тьма, хотя минуту назад ярко светило солнце. В черном, как порох, небе вместо солнца виднелся тусклый круг, похожий на круг копченого красного сыра. Наверно, я кричал со сна, и отец разбудил меня...

«Одному отрубили руку в бою, а ему все еще мерещилось, что пальцы ее шевелятся и болят»,— подумал я.

— Потерпи, Мата, может, все изменится к лучшему.

— Зауркан,— помолчав, отозвался он,— знай, если мне не удастся вернуться на родину, я умру.

Холод прошел у меня по спине. Я понял — это не слова.

— Не дури и не пой себе отходную,— устыдил я брата, стараясь одновременно предостеречь его от опасности и отвлечь от мрачных дум.

Но он пропустил сказанное мною мимо ушей:

— Ноурыз и его друзья уже готовятся к возвращению домой. Если о моем намерении присоединиться к ним узнают мать с отцом, то скорее умрут, чем согласятся не препятствовать этому. Молю, Зауркан, будь посредником. Говорят, это дело рискованное, можно запросто башки лишиться, но ведь беда законов не признает. Все дело в удаче, брат. Конечно, мать, отец, сестры, но если погибну, ты останешься с ними. А если доберусь до заброшенного дома родного, в охладевшем очаге его вспыхнет огонь. Стану хозяйничать, пахать, сеять, собирать урожай. Мне не привыкать. Скот заведу, охотой промышлять буду, а потом, сколько бы это ни стоило, найму шхуну и приплыву за вами.

Передо мной стоял горский парень, похожий на сокола, у которого отняли свободу, но не смогли отнять мечту подняться в небо. Я был осторожен, держась золотой середины: не хотел подрезать ему крылья и не обольщал верой в успех.

— Только что Омер-паша отверг твои надежды. Его устами говорила турецкая власть. А кто уверен в том, что получит право на жительство в бывшей Убыхии, если даже ему удастся вернуться туда? Здесь надо семь раз отмерить. Что ж, если Ноурыз и его сообщники избрали этот тернистый путь и ты решил быть с ними, я помехой тебе не стану. Вольному воля...

При этом я сам чувствовал непреодолимое желание быть среди удальцов Ноурыза, сына Баракая, и воображение мое рисовало радужную картину: огонь, как красный петух, машет крыльями в очаге нашего дома, дверь

которого гостеприимно открыта настезь. Но чувств своих я не выдал. Ни единый мускул не дрогнул на моем лице. Самсунский губернатор, наверно, сказал правду о согласии двух держав. И это обрекало на гибель и тех людей, чью решимость выражал Ноурыз, и тех, кто остались бы здесь. Где выход из этого замкнутого круга? Кто, какой человек мог бы заставить царя и султана, этих старых врагов, пересмотреть свое решение о махаджирах? Голова моя походила на улей, из которого мысли вылетали, как пчелы, но не приносили медовых взятков. Горечь истины была сильнее. Мы подходили к нашему похожему на склеп жилью, когда Мата коснулся моего плеча:

— погоди, Зауркан, не торопись...

— Ты что, устал?

Он покачал головой и попросил:

— Пойдем послушаем старого Сакута. Ненадолго...

— Подумай о матери и сестрах...

— Ты еще успеешь рассказать им благую сказку. И я покуда не вполне пришел в себя... Заметят...

— Не время, Мата, слушать нам музыку. Не время!

— Нет, Зауркан, самый раз. Только апхиарца может утолить печаль нашу и хоть немного утешить. Пойдем, прошу тебя...

Мы направились к одинокому дереву, что стояло на берегу моря. Седобородый Сакут, прислонясь спиной к стволу, незрячим взором смотрел туда, где волны, как белогривые кони, возникали в рокошующем просторе.

Вокруг Сакута стояли люди, вернувшиеся со схода. Их было десятка полтора — не меньше. Рядом со слепым певцом лежали на выцветшей попоне апхиарца и смычок. Для меня было не ново, что ежедневно на закате мальчик Астан, как поводырь, приводил своего деда к одинокому дереву. Вскоре собрались люди, чтобы послушать песню ашуга, украдкой пролить слезу и ощутить просветление в своей печали. Так уж повелось, что Сакут не пел своих песен дважды. Всякий раз он пел новую песню, словно одаривал ею людей. А кто же дважды подносит один и тот же подарок? Старый Сакут, с той поры как ослеп, привык узнавать людей по голосам. Всякого поздоровавшегося с ним он приветствовал и называл его имя.

— Добрый день, Сакут, — приблизился я.

— О, Зауркан. Я узнаю тебя по шагам. Пусть бог благословит старшего сына Хамирзы. Знаешь, дорогой, стоит мне услышать твой голос, как воскресают в памяти герои времен моих предков. Они жили долго, как нарты... Желая

тебе их долголетия, дад! Как хорошо, что ты пришел. У меня к тебе есть поручение. Мой внук Астан слишком молод и неопытен, а все наши родственники погибли. Сделай милость, Зауркан, не оставь его после моей смерти без совета. Будь ему за старшего брата. А меня, грешного, я уже завещал людям похоронить здесь, под деревом, головой к родным вершинам. В нем,— он указал на кожаный мешочек, притороченный к поясу,— горсточка отчей земли. Ее высыпьте мне на грудь, когда опустите в могилу. А мою апхиарцу повесьте на этом дереве, рука ветра сможет касаться ее струн, и до меня будут доноситься их звуки.— И погладил корявый ствол дрожащей ладонью.— А где твой брат, Зауркан?

— Привет вам, дедушка,— тихо отозвался Мата.

— А ну-ка, подойди ко мне поближе. Нагнись! Нагнись!

Мата склонился перед стариком, и тот провел чуткими, зрячими тонкими пальцами по его лицу.

— Ты плакал, мальчик?

— Да!

— Ничего. Не стыдись. Слезы — не позор. Пусть обернутся они мужеством!

Пошарив рукой вокруг себя, он нащупал апхиарцу и смычок. Привычно приложил инструмент к щуплой груди и провел для настройки несколько раз кряду по струнам, сделанным из конских волос. Сакут не спешил. Он устремил глаза к небу, словно мог видеть его свет, пролетающие облака, парящих птиц и бездонную, не знающую границ вышину.

— И сегодняшнему дню своя песня,— объявил он.

Люди притихли. Смычок, подвластный его руке, плавно опустился и ринулся вверх...

Уа-райда, не смолкай
Ты, моя апхиарца,
И надежду подавай,
Словно стремя ездоку.
Трону струны я, слепец,—
Свет забрезжит среди мглы.
И для тысячи сердец
Оживет надежда вновь.
Сын от жажды изнемог:
— Мама, дай напиток мне!
— Потерпи, ушла, сынок,
К роднику твоя сестра.
— Я не ел какой уж день!
Дай поесть — не то умру.

— Мелет твой отец ячмень,
Потерпи, сыночек мой.—
Спят в могиле муж и дочь,
Утешает сына мать...
Уа-райда, вашу ночь
Пусть надежда озарит.

Назад в страну убыхов

Русский консул находился в Трапезунде. Фамилия его была Мошнин. Мы знали, что этот человек проявил большое усердие, чтобы переселить нас в Турцию. Расчет таких, как он, был прост: если удалить вооруженных горцев с их подоблачной земли, то без лишних кровопролитий полное покорение Кавказа станет явью. А прочно утвердиться в этом издавна мятежном крае было давней мечтой белого царя. Когда наместника Кавказа и его приближенных обескуражил недостаток кораблей для переселения махаджиров в Турцию, не кто иной, как расторопный и решительный Мошнин, договорился с властями Порты о предоставлении дополнительных парусных судов. Мошнин старался не пользоваться сведениями из вторых рук, если имелась возможность самому убедиться в достоверности интересующего его события. Получив сообщение о бедственном положении переселенцев, он в сопровождении нескольких подчиненных отправился пешком вдоль моря. Картина, воочию представшая ему, привела его в угнетенное состояние. Совесть возмутилась в нем. К тому же махаджиры, как ни говори, были выходцами из Российской империи. И Мошнин, да не будет забыто имя его, потребовал приема у губернатора Омер-паши. С вежливой твердостью он выразил ему недовольство бесчеловечным отношением турецких властей к тысячам кавказцев, перешедших под покровительство султана.

— Они гибнут от голода и болезней, а ваши состоятельные соотечественники, воспользовавшись этим, скупают за бесценок их детей, особенно красивых девушек. Вы обещали предводителям убыхов, что будете гостеприимными хозяевами... Слово султана в вашей стране равно закону, а милосердие завещал пророк...

— Извините, господин консул, но, к моему великому сожалению, я не имею достаточно времени сегодня, чтобы подробно беседовать о махаджирах,— сдерживая раздражение, ответил Омер-паша. И, поднявшись, давая понять, что у него действительно нет времени, сказал: — Я, ваша светлость, встречался с переселенцами. Это неблагодарные и несговорчивые люди. Они не уважают законов страны, которая дала им прибежище... Своевольничают, отказываются отдавать сыновей в армию, разбойничают... Теперь у большинства из них возникло неодолимое желание вернуться на родину. Вот только не знаю, как отнесется к этому ваше правительство? — Омер-паша победно улыбнулся...

Покидая губернатора, Мошнин понял, что его встреча с ним вряд ли что изменит в судьбе махаджиров. Да и сам губернатор был ему неприятен.

Консул доподлинно знал, что Омер-паша, который называл переселенцев разбойниками, держал у себя купленных задешево пятьдесят горянок — одних как прислужниц, других — в гареме, как наложниц. Омер-паша был одним из виновников нашего бедствия, не главным виновником, но все равно заслуживал казни через повешение. Но руки возмездия были коротки. Уже одно, Шарах, что русский консул теперь сочувствовал нам, значило немало. Это подавало хоть какую-то надежду на возвращение. По поручению всех тех, кто желал вернуться домой, Мзауч Абухба трижды ездил в Трабзон, где имел встречи с Мошниным. Помню, когда в последний раз он возвратился оттуда, собрался сход. На нем присутствовали не только убыхи, но и представители других горских племен. Знаешь, Шарах, в старости человек лучше видит вдаль. Бог мой, сколько лет прошло, а словно вчера это было, и как живой стоит передо мной Мзауч Абухба. Широкоплечий, с черными усами. Его дом и поле остались возле гагринской крепости. Раскаявшись, как большинство из нас, в роковом переселении, он жил теперь единственным чаянием: вернуться на родину. Но, в отличие от Ноурыза, сына Баракая, готового ради этого взяться за оружие, Мзауч был сторонником мирных переговоров с властями обеих стран. И, выйдя к людям на сходе, он стал утверждать, что следует действовать через русского посла в Стамбуле — Игнатьева, человека влиятельного и не лишённого благородства.

— К его слову прислушивается сам царь. Это ведомо туркам. Давайте напишем прошение на имя его императорского величества и в челобитной нашей, как недавние подданные Российского государства, изложим все беды, которые обрушились на нас... Три человека, которых вы выберете, должны будут отвезти это послание в Стамбул русскому послу... Так посоветовал консул Мошнин. Он, дай бог ему здоровья, вручил мне собственноручно письмо. Оно должно быть приложено к бумаге нашей, чтобы ее приняли в посольстве... Не будем терять дорогого времени...

На мгновение воцарилась тишина. И вдруг раздался зычный голос:

— С вашего позволения, я хотел бы напомнить, что еще вчера вы кричали: «Смерть гяурам!», преграждая путь царским солдатам в горы...— Это произнес садзский князь, член бывшего убых-ского совета, Уахсит Рыдба. Его узкая серебряная борода походила на поток, мчащийся по отвесному склону, и ее сухопарый владелец казался от этого выше ростом. О благородстве происхождения говорило его обличье. В последнее время князь был известен как человек, противящийся стремлению большинства вернуться на родину. Некоторые даже утверждали, что князь возглавлял противников возвращения. — Мы сами предпочли Турцию прикавказским долинам... То к царю спиной, то к султану. Кто же после этого станет нас уважать? А если и вернемся, что найдем мы в отчих пределах? Слышал я, что в моих владениях поселились казаки... Может, вы хотите, чтобы я с хворостиной в руке пас казацких гусей? — Тонкой рукой огладив холеную бороду, князь гордо окинул взглядом толпу.

За спиной князя послышался язвительный смех:

— Вы только поглядите на приверженца султанских милостей! А что, высокочтимый Уахсит, ты получил в этой благословенной стране? Райскую жизнь? Мир?

— Да, мир! Если мы вернемся, нам опять придется браться за оружие, а война хороша только для тех, кто смотрит на нее издалека. Здесь хоть пули не свистят,— ответил Рыдба.

— Погоди, погоди, князь! Кто сказал тебе, что здесь не свистят пули? Они не слышны, но они уносят по двести человек в день. И у живых нет сил похоронить мертвых. Это хуже войны, это убийство...— лицо Ноурыза было блее савана. Он закашлялся.

Воспользовавшись этим, Мзауч напомнил, что консул Мошнин советовал написать прошение на имя царя и разумно было бы приступить к делу.

— Эх, Ноурыз, где твоя дворянская честь? Тот, кто пас вчера баранов, сегодня ведет переговоры, а что же будет завтра? — насмешливо сказал князь.

Мзауч вздрогнул, как от ожога плети, но сдержался.

Неожиданно из круга женщин вышла старуха Хамида. Она была во всем черном, ибо справляла траур. Темные круги лежали под ее печальными очами. Сорвав черный платок с высоко поднятой головы, отчего седые волосы ее, подобно снежной осыпи, упали на плечи, Хамида выкрикнула:

— Что с вами? Может быть, вы все уже на том свете и у вас полно времени, чтобы вести досужие разговоры о знатности, о потерянном богатстве и о прочих пустопорожних вещах? Сочтите могилы на берегу! Пусть извинят нас дворяне наши, но эти могилы на их совести. Где же был ум наших воспитанников и предводителей? Где, я спрашиваю? Вы, благородные дворяне, в ответе за то, что мы очутились здесь! Вы еще и сегодня чванливо печетесь об утерянных имениях. Не хотите пасти гусей! А нам не привыкать пасти их. Лучше б мои внуки на родине пасли гусей! Из четырех остался один. Трое уже умерли...— Голос Хамиды сорвался, но она проглотила комок в горле и продолжала: — Ради последнего внука, ненаглядного Тагира, я цепляюсь за жизнь. Чего бы я ни сделала ради его возвращения на родину! — И снова голос Хамиды обрел жесткость: — Я не узнаю горских мужчин! От века мерилом вашего достоинства было мужество! А ныне вы словно платки надели! Может быть, мне с непокрытой головой стать предводительницей вашей и повести на тот берег? Хватит разговоров! Делайте что-нибудь! Если прошение писать — пишите! Я первой подпишусь! Просить царя — просите! Я первая готова встать перед ним на колени. Заносчивость нам сейчас не к лицу. У нас одна забота — вернуться в страну убухов.

После Хамиды никто не хотел говорить. Наступила тишина, которую прервал Сит:

— Дорогой Мзауч, кто нам напишет послание, если писарь умер от тифа? Покойник знал русскую грамоту, а среди нас второго такого не найдешь. И тут судьба не пощадила нас.

— Такой человек есть! — ответил Мзауч и подал кому-то знак рукой.

Из толпы вышел невзрачный старичок в городском костюме. Нос незнакомца был оседлан очками. Седые волосы, зачесанные назад, свисали до плеч. Из нагрудного кармана старичка выглядывала золотая цепочка от часов.

— Этот почтенный господин родом грек. Он в свое время с купцами объездил всю Россию в качестве толмача, а теперь служит переводчиком в русском консульстве. Если мы скажем ему все, что следует изложить, по-турецки, он наши слова запишет по-русски,— представил старичка Мзауч.

Старичок достал из потертой кожаной сумочки бумагу, перо и чернильницу и разложил все на невесть откуда взявшемся столике. Протерев очки краем носового платка, он встал на колени перед столиком и взглянул на Мзауча, словно говоря ему: «Я готов!»

Князь Уахсит Рыдба усмехнулся:

— О наших мусульманских муках что может накорябать христианская рука? От нелюбезного пророка не жди проку!

— Не каркай, князь,— обрезала его Хамида.

Старики и пожилые женщины подковой сели вокруг писца, а мы, молодые, стояли чуть поодаль. Первые слова послания взялся произнести Сит. Люди обмозговали эти слова, кое-где сократили, кое-где дополнили их. Когда старики отладили сказанное Ситом, Мзауч перевел его слова на турецкий, и сжимающий перо грек записал их по-русски. Покуда грек писал, наступило такое безмолвие, что было слышно, как скрипит перо. Потом на суд и совет стариков вынес мысли свои другой горец. И снова они были обсуждены, дважды переведены и записаны. Так повторялось много раз. Подобно тому как ручьи сливаются в один поток, помыслы и чаянья всех нас двигались сверху вниз по строкам послания, сливаясь в одну надежду. Как только старичок грек брал перо, люди не дыша, вытянув шеи, устремляли взор на листок бумаги, освещенный солнцем. От этого листка теперь зависела их судьба.

«Если бы Черное море обернулось вселенской чернильницей, а деревья на обоих его берегах — писчими перьями, а вся земля стала бы бумажным свитком, и то не хватило бы чернил, перьев и бумаги, чтоб описать все страдания махаджиров»,— думал я, глядя на листок бумаги.

«Но почему не свершится чуду,— предавался я упованиям,— ведь в мире бывали чудеса? А вдруг этот листок, как белокрылый голубь, поднимется с

ладони посла в Стамбуле, пересечет море, равнины и леса России и доберется до царского дворца в Петербурге. Много окон в белокаменном дворце, но листок, обернувшийся белокрылым голубем, найдет нужное, чтобы опуститься на стол перед самым императором. Почему не может произойти чуда? Почему? А вдруг владыка полумира проснется в это утро исполненный бодрости, радости и великодушия?.. Он возьмет лист бумаги со стола, испещренный вязью прошения нашего, и, вызвав адъютанта, спросит: «Что это такое?» — «Прощение убыхов, ваше величество!» — ответит с улыбкой офицер, которому, как и другим придворным, уже передалось прекрасное настроение царя.

«Ах, убыхи? Да, да! Храброе племя, храброе,— морща чело, вспомнит император. И с уважением произнесет: — Они ведь жили на побережье Черного моря и в донесениях наместника именовались «непокорными». — «Так точно, ваше величество», — щелкнет каблуками адъютант. «Доблестно воевали с нами, отказались принять наши условия и переселились в Турцию. Достойный противник, достойный! Как вы считаете, генерал, заслуживает такой противник уважения?» — «Непременно, ваше величество», — ответит адъютант, чью грудь украшает медаль «За покорение Кавказа». — «Ах, несчастные! — не скрывая сострадания, воскликнет царь. — Я и не предполагал, что они попадут в такую беду... Ведь среди махаджиров немало стариков, женщин и детей... Конечно, они виноваты — эти убыхи, но не настолько, чтобы я лишил их своей милости». И, взяв белой рукой перо, царь на нашем прошении напишет всего два слова: «Просьбу удовлетворить!» И справедливость восторжествует. За нами придут корабли, и мы вернемся на родину, в страну убыхов. Откроются двери наших заброшенных жилищ, опять крестьянин выйдет в поле пахать и сеять, воскреснут радость и веселье, снова будут играть свадьбы и рождаться дети.

А вдруг произойдет все наоборот: царь встанет не в настроении, злой, хмурый, разгневанный вчерашним отказом красивой женщины, и адъютант, когда зайдет разговор об убыхах, подаст царю жестокий совет: «Прощать этих разбойников, ваше величество, было бы крайне неблагоразумно, к тому же у нас есть договоренность с Турцией». И самодержец, взяв белой рукой перо, напишет: «Дело решенное, пересмотру не подлежит!» И мы, убыхи, погибнем, погибнем все до одного. Казалось, судьба наша уместилась на кончике царского пера. Жизнь и смерть целого народа теперь зависит от прихоти случая, от настроения царя, находится во власти одной руки, сжимающей высочайшее перо».

Пока мысли и видения, связанные с прощением убыхов и подписью царя под ним, проносились в моей голове, писарь и переводчик — старичок грек — кончил свое дело.

С той поры, Шарах, кажется, промчалась вечность, а я и поныне почти дословно помню содержание послания убыхского народа царю. Словно память моя — надгробный камень, а слова прошения — заупокойные письмена, высеченные на нем. Ты спрашиваешь, дорогой, что было сказано

в этом прощении? В нем описывались страдания наши, коих со дня творения не ведал ни один народ, говорилось о том, что турецкое правительство, пригласившее нас, не выполнило ни единого условия обещанного гостеприимства. «Находясь на краю неминуемой гибели, искренне раскаиваясь и честно признавая всю тяжесть совершенной нами ошибки, мы, убыхи, во всем оставшемся числе своем, мужчины и женщины, стар и млад, склоняя головы перед Вашим императорским величеством, слезно молим Вас о разрешении возвратиться на родину, к осиротевшим очагам нашим. Клятвенно обещаем Вам, что если будет даровано нам разрешение вернуться в отчие пределы, то не только мы, но и потомки наши вовеки не забудут Вашей царской милости, верой и правдой служа государству Российскому. Стоя на коленях перед Вашим величеством, заклинаем Вас: не дайте исчезнуть народу убыхскому с лица земли!» Вот такие, дад, были слова в этом прощении.

Когда оглашен был текст прощения, Мзауч Абухба пригласил подписать его. И первый поставил подпись свою. Старуха Хамида отродясь не знала ни одной буквы, поэтому она, обмакнув большой палец в чернильницу, приложила его к бумаге. Что старуха Хамида — даже наш почтенный жрец Соулах был безграмотным и потому последовал ее примеру. Должен тебе сказать, дад, что людей, которые брали в руки перо, чтобы начертать свое имя, было совсем немного. Можно сказать даже, что было их раз, два — и обчелся. Каждый, кто подписал бумагу или приложил к ней палец, приходил в хорошее настроение, словно услышал добрую весть. Дошел черед и до моего отца Хамирзы, но он заколебался.

— Хамирза, ты что мешкаешь? — удивился Сит.

— То, что в согласии решил народ, и для меня закон, но здесь отсутствует мой воспитанник и господин Шардын, сын Алоу, а без его ведома я не могу приложить палец.

Мы с Матой переглянулись и оба разом подошли к столу:

— Вместо отца подпишем мы!

Вначале я, как старший, а потом Мата оставили отпечатки больших пальцев на бумаге.

— А ты, Ноурыз, чего медлишь? Или ты заодно с Рыдбой? — спросил Мзауч.

Ноурыз поднял опущенную голову и, стуча по привычке коротким посохом о землю, сказал:

— Если бы я хоть самую малость был уверен в том, что из этого выйдет толк, поверь, я бы подписался десять раз. От этой затеи ни вреда, ни пользы не будет. Подай перо — подпишу. Хватит строить воздушные замки! Вот завтра Соулах благословит нас перед святой Бытхой, и уж тогда, поверьте, я буду

знать, что мне надлежит делать. А сегодня, если вам угодно...— И Ноурыз, сын Баракая, поставил имя свое рядом с отпечатками наших пальцев.

Надо признаться, что сторонников князя Рыдбы Уахсита оказалось немало. Они стояли в стороне, не решаясь открыто покинуть сход, ибо такой поступок был бы равноценен вызову, брошенному большинству собравшихся. Вручить прошение русскому послу Игнатьеву люди уполномочили трех человек во главе с Абухбой Мзаучем. Они должны были немедля отправиться в Стамбул. Святылица для нашей святыни Бытхи в Турции не нашлось. Народ сокрушался, что она вынуждена была находиться в убогом жилище жреца, как какой-нибудь заурядный кувшин или прялка. Когда началась холера, иные в страхе предположили, что обиженная Бытха отказала нам за святотатство в своей защите и покровительстве. Чтобы люди не пали духом, жрец Соулах с Быт-хой в руках направлялся к каждому, кого свалила хворь, и молился за исцеление заболевшего. Люди верили в чудотворную силу Бытхи, и немало было случаев, когда заболевшие преодолевали смертельный недуг. Люди должны во что-то верить, Шарах...

Все махаджиры, кроме больных, собрались на берегу у самого моря перед одиноким деревом, где недавно сиживал апхиарцист Сакут. Каждый понимал: сегодняшняя молитва особая. Сама Бытха должна благословить тех, кто, возглавляемые Ноурызом, сыном Баракая, отправляются не куда-нибудь, а в страну убыхов. Соулах в белом одеянии, помолвившись, достал из кожаного чехла Бытху и приставил ее к стволу дерева. Мы все опустили на колени.

— О всемогущая и всеильная покровительница наша Бытха! Благослови нас!

Молитвенный напев жреца, излучая тепло, проникал в сердца нам. Казалось, сладостный дым оставленных очагов коснулся наших ноздрей. Милые видения явились очам. Вспоминали родину, вспоминали умерших, и слезы текли даже по щекам мужчин. Воздев руки к небу, Соулах продолжал:

— О всемилостивая Бытха! Нынче многие из нас отправляются на родину. Разрушь преграды на их пути! Воздвигни перед нами мосты над безднами! А когда поплывут морем, одари их попутным ветром! Защити их, опеки, укрепи их дух!

— Аминь! Аминь! — откликнулись стоящие на коленях.

Когда кончилась молитва, воодушевление охватило людей. Мужчины надевали кинжалы, брали свои пистолеты и винтовки, которые они сложили в стороне на время молитвы.

— Получившие благословение, в час добрый! С богом! — воскликнул Ноурыз, сын Баракая.

Подхватив заранее приготовленные узлы, переметные сумы и кувшины, толпа мужчин и женщин устремилась за ним. Старуха Хамида, держа за руку маленького внука Тагира, даже не оглянулась. Они направлялись в сторону Трабзона, надеясь раздобыть корабль, чтобы на нем отплыть по направлению к Сухум-кале. Если не удастся раздобыть корабль, как было решено, они должны были пешком достичь границы. Полагаясь на бога, оружие и благоприятное стечение обстоятельств, люди надеялись так или иначе добраться до страны убыхов. Вся наша семья находилась на берегу. Мы обнялись с Матой. Взяв его поклажу, я шел с ним некоторое время рядом. Потом мы обнялись еще раз. И я долго, стоя на обрыве, смотрел вслед уходящим. Не полагается завидовать родному брату, но я завидовал ему. Какой он счастливый: возвращается домой! А я? Свидетель бог, что я кинулся бы догонять ушедших, если бы не оставались здесь мать, отец и мои сестры. А разве только они? Перед взором моим возник неведомый остров Родос. На этом острове находилась моя любимая, моя Фелдыш. Сердце разрывалось на части. i

Вынужденное безделье для человека, привыкшего трудиться, подобно недугу. Чем могла заняться наша семья? Мы не имели земли, чтобы завести хотя бы маленький огород, мы не имели не только коровы, но даже захудалой козы, чтобы пасти ее. Что нам было делать? Благо еще, что отец захватил из дому сеть. Теперь он целыми днями пропадал на море. Рыба стала единственным пропитанием семьи. Я сам вначале умирал от безделья. А потом приноровился рыскать по деревням и городам. Чтобы принести в дом буханку хлеба, я то становился грузчиком в порту, то колол дрова для очага богатого турка, то нанимался чистить хлев. Ничем не брезговал. Да много ли заработаешь, когда рабочие руки обесценились до предела? Ты, милый Шарах, наверно, и не знаешь, что такое жить впроголодь. Если у самого пусто в животе — это еще полбеда, а когда голодает твоя семья — это уже беда. Тут на все пойдешь. Казни или милуй, но знай, что и я принял на душу грех поневоле. Когда полсотни хорошо вооружившихся парней вышли на «охоту», я был в их числе. Как тебе уже известно, худая молва о нас, махаджирах, ходила по всей Турции. Перед человеком в черкеске наглухо закрывались двери. Между вооруженными горцами и полицией не раз случались перестрелки. Даже войско было наготове на случай, если полиция сама не совладеет с делибашами. Мы старались действовать в отдаленных местах, бездорожных, где нашего брата еще не видели. Крестьян мы не трогали. Что возьмешь с таких же голодранцев, какими мы сами были? Но приезжих купцов и лавочников потрошили на славу. И деньги, и мануфактуру, и обувь, и снесь разную забирали у них подчистую. И еще промышляли мы угоном коней. Нам без лошадей, сам понимаешь, обойтись было никак нельзя. В стычках с полицией, чего таить, были жертвы с обеих сторон. А тех из нас, кто живым попадался полиции в руки, ждала кара мученическая.

К лихим парням я примкнул как раз в то время, когда проводил Мату. Не каждый набег бывал удачным. Однажды полицейские решили взять нас в кольцо. Их было много. Мы по двое, по трое выскользнули из их западни и через леса и горы по ночам, как тени, начали спускаться к побережью. За

время нашего отсутствия среди махаджиров в окрестности Самсуна произошло немаловажное событие: вернулся Шардын, сын Алоу. Его ждали многие, в том числе и мой отец. Глаза господина нашего смотрели весело, на челе — ни тучки печали. Вместо черкески на нем был турецкий наряд. На голове алела феска с черной кисточкой. Пальцы перебирали янтарные четки. В походке, в голосе Шардына появилось что-то надменное, самодовольное, движения обрели медлительность. Он осведомился о том, как тут люди жили без него, какие события произошли? Ему по старой привычке без обиняков поведали о погибельной судьбе, выпавшей на долю почти каждого.

— Война не унесла столько людей, сколь чужбина за полгода.

Это сообщение не слишком огорчило нашего молочного брата. Его больше расстроило то, что мы написали прошение царю, а также то, что многие ушли с Ноурызом, сыном Баракая.

— Где ваша выдержка? — выговаривал он. — Потоп, что ли, начался, землетрясение? Экие вы несуразные! Вас, словно малых детей, и на день нельзя оставить без присмотра! Какой презренный негодяй надоумил писать прошение царю? Или забыли, как русские дырявили нас пулями? Захотели быть рабами гяуров? Позор, какой позор! Запомните: прежде всего мы — мусульмане и находимся на земле правоверных! Сам наместник аллаха, благороднейший султан, — первый подданный этой страны. Когда думаешь о чести такой, сердце от гордости, подобно боевому соколу, рвется ввысь! Не скрою, я был представлен матери великого султана Абдул-Азиза. Она, как вы знаете, адыгейка. Ее и мои предки находились в родстве. Одна кровь течет в наших жилах! Мать султана вручила мою судьбу, а значит, и вашу судьбу человеку, который является правой рукой правителя страны. Нам предоставлены плодородные земли с лесами, полями и водами. Там вы забудете о всех пережитых страданиях. Готовьтесь к переселению, до наступления холодов мы должны быть уже там.

О возвращении Шардына, сына Алоу, я рассказываю тебе, дад, со слов других. Ведь я в это время, ничего не подозревая, пробирался с конными удалцами к побережью после неудачного набега. Мы уже преодолели большую часть пути, когда вдруг увидели, что с востока, еле перебирая ногами, движется серая толпа полумертвецов, а позади ее с винтовками идут солдаты. Вскоре мы приблизились к ней. Ты можешь себе представить, Шарах, какое чувство охватило нас, воочию убедившихся, что эти истерзанные, обессиленные, босые люди — убыхи, малая часть тех, кто хотел пробиться на родину!

— Мата! — как безумный закричал я и кинулся в толпу.

Он шел согбенный, опираясь на палку, и прижимал к груди мальчика. В мальчике я сразу узнал внука Хамиды — Тагира. Не обращая внимания на окрики солдат, мы вытащили из переметных сум все съедобное и стали делить между изнуренными голодом, павшими духом, подконвойными

людьми. После привала, который был разрешен только потому, что солдаты не на шутку перепугались неожиданного появления вооруженных всадников, мы, подняв раненых и вконец изнемогших махаджиров на седла, слились с толпой.

Я посадил Мату с Тагиром на своего коня. Мата стал рассказывать мне о том, как они добрались до Трапезунда. Владелец парохода, обещавший за кругленькую цену переправить возглавляемых Ноурызом, сыном Баракая, людей на кавказский берег, в последний момент испугался и ушел в море, не взяв ни единого пассажира. Тогда, как было решено заранее, они направились пешком к границе. На реке Чурук-Су турецкие пограничники встретили их в штыки. Две недели горцы искали лазейку, чтобы перейти на другой берег, но тщетно: граница охранялась зорко. В отчаянии решили прорываться с боем. Началась перестрелка. Первым был убит Ноурыз, сын Баракая. Пуля прострелила ему сердце.

— Завидую ему, — прошептал Мата. — Эх, почему я не оказался среди тех парней, которые там полегли в полверсте от отчей земли! — Мата вздохнул, словно кузнечный мех, и добавил: — А несчастная Хамида, не пощадив своего маленького внука, бросилась в реку. Еще по дороге она усыновила меня и вручила мне судьбу своего внука. Тагир теперь стал моим братом и твоим братом, Зауркан. Если со мной что-нибудь случится, ты станешь заботиться о нем...

Маленький Тагир, которого Мата прижимал к груди, жалостно сопел во сне.

Добрые вести лежат на месте, а худые ветер обгоняют. Убыхи, что оставались в окрестностях Самсуна, неведомо от кого уже знали, что земляки, ушедшие с Ноурызом, сыном Баракая, не смогли перейти границы и что многие из них погибли. И когда оставшиеся в живых, похожие на призраков, вернулись, берег огласили душераздирающие крики и стенания. Один среди вернувшихся не увидел своего брата, другой — своего сына, третий — близкого родственника. И не потому ли сообщение, исполненное горького разочарования, привезенное из Трапезунда Мзаучем Абухбой, было встречено лишь скорбным молчанием. А сообщение это было жесточайшим: на нашем прощении царь начертал собственноручно: «Убыхский вопрос решен, пересмотру не подлежит!»

— Я же вам говорил, что так будет! — с веселым злорадством отозвался Шардын, сын Алоу, когда услышал о решении царя.

В приморской кофейне под белым пологом он играл в нарды с Омер-пашой. Черное известие, привезенное Мзаучем, озарило все нутро его самодовольным светом. Он понимал, что хочет народ или нет, но должен будет теперь подчиниться его, Шардына, воле. Ему и в игре сегодня везло: косточка нарда чуть ли не каждый раз оборачивалась шестеркой. Сафьяновый бумажник паши худел на глазах, из пухлого сделался плоским. Единственное, что нашему предводителю портило настроение, это то, что паша обмолвился о Хаджи Керантухе.

— Пропади он пропадом! — не сдержался Шардын, сын Алоу. Что означало: «Я единственный властелин убыхов!»

Вскоре стали прибывать пароходы, чтобы переправить нас на те благодатные земли, о которых говорил Шардын. Мы стали грузиться на эти суда. Через два дня в окрестностях Самсуна не осталось ни одного убыха, кроме тех, кто лежал в могилах.

Два чувства, как два бугая, столкнулись лбами в моей душе. Одно — печальное, что мы еще больше удаляемся от страны убыхов, а другое — светлое, что наши корабли приблизятся к острову Родос и, да смилуется небо, я, может быть, увижу Фелдыш. Я стоял на палубе, вглядываясь в очертание берега с одиноким деревом. Под этим деревом белел надгробный камень на могиле Сакута. А над ним, привязанная к высокой ветке, качалась апхиарца, еще так недавно заставлявшая трепетать наши сердца. И вдруг мне почудилось, что струны ее зазвенели и моего слуха коснулись слова последней песни слепого певца:

Всадник спрашивал: — Где мой
Конь под боевым седлом? —
Хоть сидел на скакуне,
Опершись на стремяна.
Вопрошаем мы в слезах:
— Где ты, райская земля? —
Хоть оставлена она
Нами в отчей стороне.

Корабли шли курсом на Стамбул. На третий день были брошены якоря на стамбульском рейде, но на берег никого не выпустили, ибо портовые власти опасались, что мы занесем тиф или холеру в город. Вода за бортом кипела, как в котле, и волны, как в белой горячке, кидались на причал. Моряктурок, бросив с палубы взгляд на клокочущую за бортом воду, сплюнул сквозь зубы:

— Шайтан акынтасы!* Шайтан акынтасы — дьявольское течение.

Суеверные люди сокрушались: «Плохое предзнаменование».

Из Стамбула корабли направились в Емзид, но и там нам не разрешили сойти на берег. Единственным человеком, на которого не распространялся этот запрет, был Шардын, сын Алоу. Вернувшись из города, где находился продолжительное время, он, хвастливо улыбаясь, сказал:

— Здесь, уважаемые, живет мой друг, спаситель всех вас, Селим-паша. Пока мы находимся под его покровительством, нам нечего бояться.

Корабли повернули в сторону Бандырмы. Пришвартовавшись, мы высадились и пешком, следом за подводами, на которых двигалась семья Шардына, сына Алоу, направились в местечко Осман-Кой.

Позже местные жители рассказывали, что еще задолго до нашего переселения в эту местность появился здесь некий убых по имени Осман. Ходил, приглядывался, что-то смекал, а потом исчез так же неожиданно, как прибыл. Может, досужий вымысел все это, а может, то был Шардын, сын Алоу?

Осман-Кой

Вечерело, когда я с полным мешком кукурузы на плечах вошел во двор. Синеватый дым слегка клубился над крышей мазанки. Наша белая собака с рыжими подпалинами подбежала и стала ласкаться к моим ногам. Кудахтали куры, готовясь сесть на насест. Моя мать Наси бранила маленького Тагира за то, что он тянет за хвост теленка. Ее голос, ласковый и нестрогий, отозвался покоем в моем сердце. Отец, сидя на маленькой скамеечке, доил нашу безрогую корову, и мне слышалось, как струйки молока глухо стекали в деревянный поддонник. Куна с пучком зеленого лука спешила из огорода в дом, боясь, как бы не убежала kloкочущая вода из котла, приготовленная для варки мамалыги. А младшая сестра Джуна выбивала палкой вывешенные матрацы. «Господи,— подумал я,— может, с твоей помощью мы заживем, как прежде?»

Каждый занимался своим делом. Вскоре, когда сели ужинать, появился Мата. Он был чем-то расстроен.

— Что-нибудь случилось, сынок? — спросил его отец, кончая ужин.

— В господскую усадьбу я больше не пойду,— ответил Мата, встав из-за стола.— Я сегодня, когда уходил оттуда, слово дал: «Все! Сюда я отныне— не ходок!»

— Ты погорячился, дад! — успокаивая его, посочувствовал отец.

— Прополку нашего поля мы давно просрочили. Сорняк заглушил кукурузу. И табак гниет на корню, сестры не справляются с его ломкой.

— Сам знаю, а что сделаешь? Не нами, а предками утвержден обычай, по которому из каждой семьи один человек два дня в неделю должен отработать в имении дворянина. К тому же Шардын, сын Алоу, наш самый дорогой и близкий родственник.

Затеплив свечу, отец сел на скамью шить чувяки.

— Не я один,— выпалил Мата,— все парни, что нынче там работали, поклялись завтра не приходиться.

— Когда все вместе, значит, по справедливости,— заметил я.

Отец оставил шитье и строго взглянул на меня:

— Я вижу, ты герой подливать керосин в огонь? У него мозги набекрень,— кивнул он на Мату,— а ты потакаешь ему. Или вы забыли, что Шардын мой молочный брат? Имейте совесть! Не только наша семья, но все убыхи, поселившиеся в Осман-Кое, обязаны ему за то добро, которое он сделал. Или вы забыли, как мы жили под Самсуном? Грех быть такими неблагодарными.

— А разве твой молочный брат, перевозя нас сюда, думал не о своем благополучии? Если бы он этого не сделал, кто бы стал на него работать? А к тому же быть дворянином без дворовых крестьян — честь невелика. Теперь же он живет припеваючи. Со вчерашнего вечера гостит у него Селим-паша... Встали они сегодня позже солнца после веселой попойки и сразу давай играть в нарды. Шардын просадил кучу денег. Я глазам своим не верил, когда он отсчитывал лиры. За всю жизнь я не заработаю столько... У нас на соль нет ломаного гроша, а этот бездельник швыряет деньги, заработанные нашим потом, как простые бумажки. Не при сестрах будь сказано, но я своими ушами слышал, какие словечки он со своим дружкой отпускал насчет девушек, пришедших к княгине с гостинцами.

— Ты еще молод, сын мой! Не тебе судить, что кому дозволено. Одни рождены повелевать, другие — подчиняться. Это не чья-нибудь прихоть, а воля аллаха! И запомните оба,— отец погрозил нам пальцем,— мы в чужой стране и, не дай бог, если что случится, нам не на кого больше положиться, только на защиту Шардына, сына Алоу. Он наш покровитель! — Отец, отложив шитье и задув свечу, добавил: — Послезавтра пятница, не забудьте в мечеть сходить!

— Обойдутся без нас,— не сдержался я.

— Да простит аллах тебя,— испуганно прошептала мать.

Намаявшись за день, мы рано легли спать, но сон обходил меня стороной. Лежа с открытыми глазами, я думал и о словах брата и о словах отца.

Несмотря на то что мы действительно получили небольшие участки земли и построили жилища, благополучия не было. Жили трудно и несытно. Если в стране убыхов мы знали одного господина, на которого работали или платили ему натурой, то здесь ашар — вы, абхазцы, называете это ашьара — мы должны были платить сразу двум господам. Один из них был все тот же Шардын, сын Алоу, а другой — владелец земли Селим-паша. Нам оставалась третья часть. А поле величиной было разве как там, в Убыхии? Здешнее поле можно было укрыть бычьей шкурой. Прокормись-ка всей семьей с третьей части его. И от налога государству освобождены мы не были. В эту ночь я заснул поздно, и снились мне худые сны.

В полдень следующего дня, когда мать накрывала к обеду стол, во двор на арабском скакуне влетел как бешеный Шардын, сын Алоу. Конь под ним был в мыле: видно, что хозяин гнал его во весь опор. Он грыз удила, косил лиловыми глазами, гарцевал на тонких, увлажненных пеной ногах.

Всадник, не спешившись, не поздоровавшись с нами, гневно заорал:

— Хай, Хамирза, за что возненавидел ты меня?

— Что случилось, дорогой мой брат, что случилось? — перепугался отец.

— Иль ты не знаешь, что твой спесивый юнец, — Шардын, сын Алоу, ткнул рукой, сжимающей плеть, в сторону Маты, — вздумал бунтовать? По его примеру сегодня никто не явился в мое имение. Твое воспитание, Хамирза!

— И, вскинув плеть, он двинул коня на побледневшего Мату.

— Не смей! — кинулся я наперерез его лошади и схватил ее за повод.

В ярости Шардын, сын Алоу, хотел было опустить плеть на мою голову, но, очевидно, выражение моего лица остановило его: плеть повисла в его руке. Я и он — мы оба прерывисто дышали.

— Слушай, Шардын, сын Алоу, — отдышавшись первым, заговорил я, — будь ты хоть трижды нашим родственником, нет у тебя права вздымать над нами плеть! Поостерегись! — И, взяв под уздцы его коня, повел к воротам: — Прощай, Шардын, сын Алоу.

— Век не забуду этого! — прохрипел он и, пришпорив коня, бросил его в намет.

— Что ты наделал? — дрожащими губами бормотал мой отец. — Как ты смел прогнать со двора человека, которого вскормила твоя бабушка? Однажды вечером я направился в кузницу, чтобы забрать мотыги, отданные точить, и заодно потолковать с Дурсуном, сыном кузнеца, что был моим другом. Кузница находилась от нас неподалеку, в какой-нибудь версте, не далее. Шел дождь, который заставил многих кончить работу до времени. Перед кузницей сидело несколько крестьян, спрятавшись под навесом. Они судачили, обменивались новостями, высказывали предположения и перемывали чьи-то косточки. Неисповедимы пути, по которым приходят к людям новости. Не знаю как, но все село узнало о нашей ссоре с Шардыном, сыном Алоу. Многим она пришлась по душе.

— Привет, Зауркан! — встал мне навстречу добряк Омар. — Лихо осадил ты родственника вашего!

— И поделом ему! — проворчал старик Рашид, вдевая ручку в ушко мотыги.

Мне не хотелось подбрасывать хвороста в костер их разговора о нашем раздоре с Шардыном, и я спросил:

— Дурсун не появлялся?

Кузнец Давид по крови был грузином. Когда-то его предков вынудили принять мусульманство и с захватом турками южных областей Грузии

переселиться сюда. Давид родился в Турции. Жена его рано умерла, оставив ему сына по имени Дурсун. Мальчик вырос и, приобщенный с детства к кузнечному мастерству, стал помощником отцу. Это были работающие, отзывчивые люди. Когда махаджиры прибыли в Осман-Кой, скольким они помогли! Бесплатно выковывали мотыги, топоры, делились хлебом, а больным детям приносили молоко. Уж не знаю, как получилось, но между кузнецами и нашей семьей возникла особая дружба. Они всячески помогали нам, и когда у нас не было денег, чтобы уплатить налоги, Давид одалживал их нам с легкой душой. А с его сыном Дурсуном мы сделались закадычными кунаками. И дня не проходило, чтобы мы не встречались. Отцу Дурсуна была по сердцу наша привязанность.

— Вы оба, — сказал он как-то, — отпрыски народов, носящих черкески, и потому должны быть едины, как лезвия одного кинжала.

Дурсун был лихой малый. Такие в огне не горят. Несмотря на молодость, сын Давида объехал почти всю Турцию. Как сам он говорил: «Не был только у черта на рогах». Однажды я в минуту душевной откровенности поведал ему о Фелдыш. Он сочувственно отнесся к моей тревоге и не замедлил поднять парус над суденышком моей надежды.

— Говоришь, увезли ее на остров Родос? Это, — протянул он руку в сторону моря, — не так далеко отсюда. Не отчаивайся, что-нибудь придумаем... — В переводе на язык товарищества его слова означали: «Знай, с этого дня я твой верный сообщник».

Смеркалось. Дождь утих. Досыта наговорившись, сидевшие перед кузней крестьяне собрались уже было расходиться по домам, когда, измокший до нитки, появился Жантемир. Он возвращался из города.

— Какие новости? — спросил Омар.

— Худые! Султан завяз в войне на Балканах. Не сегодня — завтра сельские старшины начнут шнырять по домам, чтобы всех способных носить оружие взять в солдаты.

Эти слова погрузили собравшихся в тревожное молчание. Стало слышно, как падают капли с крыши навеса.

— Если заберут наших сыновей, все пойдет прахом! — в печальной задумчивости произнес Саат.

— Мало напастей на нашу голову!

— Государи землю делят, а жизнью расплачиваться за это должны сыновья других.

Смятение звучало в словах соседей.

От этой вести я не мог двинуться с места, словно обухом меня ударило по спине. И первая моя мысль была о Фелдыш. «Если заберут в армию, тогда конец всему, Фелдыш мне не видать». Верный друг в час напасти необходимей, чем на пиру. Обсудить бы с ним возникшее положение, глядишь — и выход нашелся бы, но Дурсун в эту ночь не вернулся домой.

Было полнолуние. В бездне неба мерцали зеленоватые звезды. Дуновение ветра рождало шелест листвы. Душевное смятение и неугишая любовь довели меня до такого состояния, что я, стыдно признаться, стал разговаривать с ветром. «Сделай милость, ветер, лети в сторону моря, туда, где находится остров Родос. Разуши на этом острове мою любимую, но не хлопай створками окна, чтобы не разбудить ее. Овей ее прохладой, если ей жарко, а если по щеке Фелдыш катится слезинка, осуши соленую капельку. Окажи милость, ветер, лети на остров Родос! И когда на заре проснется моя ненаглядная и начнет заплетать в косу свои шелковые каштановые волосы, шепни ей: «Не теряй надежды. Зауркан в пути. Пред ним расступятся горы, пред ним расступится море. Жди его...»

Как неприкаянный бродил я под ущербной луной. Несколько раз приближался к воротам нашего дома, но порога не переступил. Может, и лег бы я в постель, когда бы почувствовал дрему, но в эту ночь она бежала от меня. Вскоре, втайне от нас, отец мой отправился во двор Шардына, сына Алоу. С повинной головой бросился он в ноги молочного брата:

— Молю тебя, дад, прости великодушно моих безмозглых сыновей. Они обидели тебя, но я прочул их за это. Сделай милость, не гневайся, ветер у них в головах.

— Не заслуживают они, Хамирза, того, чтобы их прощать, но из уважения к тебе я постараюсь забыть их вину,— снисходительно отвечал Шардын, сын Алоу.

— Мои сыновья — истинные убыхи. Поле боя им что пахарю пашня. Зауркан уже доказал это на деле, да и Мата, как знаешь, не робкого десятка парень. Слух идет, что скоро молодых убыхов начнут забирать в армию...

— Таким удальцам только там и место...

— Так-то оно так, да я немощным стал, и жена моя болеет часто. В этой чужой стране, когда останемся мы без сыновей, то пропадем, как старые кони без корма. Заклинаю тебя памятью моей матери, вскормившей нас обоих, сделай так, чтобы хоть одного сына оставили мне...

— Нашел фокусника... Ты думаешь, Хамирза, легко избавить рекрута от призыва?

— Да разве я не понимаю, что трудно? Но ты...

— К тому же мои молочные племянники не заслуживают такого потворства.

— Огонь нельзя гасить маслом, обиду нельзя успокаивать гневом, дад.

— Ладно, не поучай! Родство есть родство, постараюсь помочь, если головорезов твоих на войну погонят.

Вопреки худшим ожиданиям моего отца, Шардын, сын Алоу, был обходителен и гостеприимен. Он угостил его, сыграл с ним в нарды и даже подарил ему папаху. Когда они расставались, хозяин сказал как бы невзначай:

— Я освободил твоих сыновей от работы на моем дворе и в поле, пусть они занимаются своим хозяйством. А ты, брат мой, почаще навещайся в мой дом, чтобы приглядывать за прислугой. Родной глаз — верный глаз. Да, чуть было не забыл, княгиня просила, чтобы два раза в неделю по очереди приходили к ней твои дочери. Она желает, чтобы уборкой ее комнат и стиркой белья занимались близкие люди.

Как мог отказаться отец от такой чести! Вернулся он домой словно помолодевший, считая, что осчастливил всю семью. Откуда было ему, доброму бедняку, знать, что показное доброжелательство Шардына, сына Алоу, таит в себе черное коварство.

С этого дня мои сестры Куна и Джуна поочередно два раза в неделю ходили в княжеский дом, где от света до темна прислуживали его хозяйке. И отец большую часть времени проводил в господском дворе, повинуюсь каждому слову дворянина.

Куна и Джуна были славными девушками, отзывчивыми и простодушными. Куна была светлоликая, с длинными волосами цвета золотого вина. Ее серые большие глаза выражали задумчивость, и печаль, и степенность. Она редко смеялась, была тиха и жалостлива, все принимала близко к сердцу и от малейшей обиды могла расплакаться. Ходила она мелкими шажками, как голубица. А Джуна, напротив, была смугла, с вьющимися, цвета вороного крыла волосами, такими густыми, что и дождь не промочил бы их насквозь. Глаза напоминали ежевику с дымчатой лиловатой поволокой. Веселого нрава, неутомонная, хохотушка, плясунья, она не умела хранить тайны, и если ее что-то обижало, она говорила об этом открыто. Обе сестры отличались статностью и высоким ростом. Тот, кто не знал их, вряд ли мог бы сказать, что они родные сестры. Немудрено, что вся радость семьи заключалась в них.

Однажды Джуна в урочное время не вернулась из дворянской усадьбы. Раньше случалось, что она задерживалась там допоздна, но ночевать приходила домой. Мы глаз не сомкнули всю ночь. Дом, где богато живут, как тебе известно, не отличается строгими нравами. А девушка, как вы, абхазцы, говорите, подобно стакану, выскользнет из рук — пропадет. Я уже решил было отправиться за сестрой, когда к нашим воротам подкатил, звеня бубенцами, красный фаэтон, запряженный тройкой соловых коней.

— Что за люди подъехали к нашим воротам, может, хотят спросить дорогу?
— удивилась мать.

И — о ужас! — из фаэтона вышла Джуна...

— Дочь моя, что произошло? — крикнула мать, кидаясь ей навстречу.

— Ничего особенного. Дом Шардына, сына Алоу, посетили высокие гости, и всю ночь шел пир... Надо было прислуживать гостям, и княгиня задержала меня. Я очень устала, и княгиня отправила меня на фаэтоне гостей.

Вечером, когда наша семья собралась к ужину, мы заметили, что Джуна грустна и неразговорчива. «А может быть, она вправду с ног валится от усталости», — подумал каждый из нас.

На следующий день, когда солнце стояло в зените и мы собрались к обеду, в наш двор въехал на гарцующем арабском коне Шардын, сын Алоу, и не торопясь спешил. С того дня, когда этот знатный всадник был выдворен мною, он впервые появился перед нашим порогом. Всем своим видом он старался показать, что не помнит нанесенной ему обиды, словно и не было того случая. Шардын, сын Алоу, радушно улыбался, расцеловал всех нас и, дружески хлопнув меня по плечу, одобрительно приговаривал:

— Аферим! Аферим!* Аферим — браво.

«Странно, — подумал я, — чем мы обязаны такому вниманию?» От моего взгляда к тому же не ускользнуло, что Джуна, как только именитый гость появился во дворе, скрылась в доме. «Нет, здесь что-то неладно», — насторожился я.

— Благодарю аллаха, Хамирза, благодарю аллаха! — с напускной радостью проговорил Шардын, сын Алоу, усаживаясь на кожаную подушку, поданную моей матерью.

— Поблагодарить не трудно, да узнать бы за что.

— Твоей дочери Джуне выпало такое счастье, что не только она сама пожизненно обласкана будет его золотыми лучами, но и вы, ее родители, и мы, ваши родственники, да и, может быть, все убыхи осенены будут ими.

— От добрых гостей ждут добрых вестей...

— Так вот, слушайте. Три дня гостил у меня почтенный Вали Селим-паша, предоставивший нам эту землю. Когда бы не он, страшно подумать, что было бы с нами. Я принял его, как султана. Увидел Вали Селим-паша Джуну, и голова его пошла кругом. Он полюбил и пожелал ее...

Я заметил, что лик моей матери побелел, а Шардын, сын Алоу, продолжал, как сотворивший великую благодать:

— Подумать только, кунак самого султана, обладатель несметных богатств, потерял разум от любви к вашей Джуне. Он чуть ли не на коленях просил меня передать тебе, Хамирза, что желает взять в жены красавицу Джуну. Пусть, говорит, все женщины во дворце превратятся в ее покорных служанок. Пусть, говорит, ключи от ларцев с моими сокровищами перейдут в ее руки, лишь бы скрасила она закат моей жизни. И вас не забыл! Экие счастливики! Пусть, говорит, переезжают в Измид, милости просим, а не хотят — остаются здесь. При всех случаях позаботиться о них — мой долг отныне!

Кроме Шардына, сына Алоу, никто не выражал радости.

— Что молчишь, Хамирза, или удача оказалась такой неожиданной, что отнялся твой язык?

Я взглянул на отца. Лик его был мрачен, губы побелели. Он, не повышая голоса, печально, но твердо произнес:

— Нет, мой единственный, я не могу последовать твоему совету! Право, в голове моей не укладывается, как мог ты собственную племянницу продать в гарем старого турка? Не для гарема растили мы дочь свою. А твой Селим-паша воистину благородный человек. Еще церемонится. Другой на его месте, имея такого посредника, как ты, предложил бы мне за дочь деньги — и весь разговор!

— Деньги карман не обременяют. Без денег, будь ты хоть женихом на свадьбе, никто на тебя не посмотрит.

— Свадьба свадьбе рознь. Поблагодари достопочтимого Селим-пашу. Пусть и дворец, и сокровища его пребывают при нем, пусть не разлучается он со своими женами, а моя дочь останется в этом бедном доме.

Шардын, сын Алоу, нервно пощипывал ус. При иных обстоятельствах он бы вспылал, но сейчас сдерживал норы свой:

— Воля твоя, Хамирза! Я думал тебя обрадовать, а когда огорчил, не обессудь: гонец за весть не в ответе. Однако не забывай: если девушка сама полюбовно избереет себе жениха и пожелает выскочить за него замуж, то хоть в темницу сажай ее — не удержишь. Коли случится так — мое дело сторона.

С этими словами Шардын, сын Алоу, сел на коня и уехал.

На следующий день, когда дома находилась только мать, к воротам вновь подкатил — чтобы он сгорел! — этот красный фаэтон. Двое мужчин вынесли из фаэтона увесистый сундук и богатую шкатулку. Поставив вещи перед матерью, приехавшие поклонились и сказали:

— Это вам! Селим-паша прислал!

Мать отказалась принять дары, потребовала, чтобы приехавшие забрали их, но они, снова отвесив поклон, сели в красный — будь он трижды проклят! — фаэтон и скрылись из глаз. Маленький Тагир галопом примчался в поле.

— Бабушка наказала, чтоб вы скорей шли домой,— выпалил он, запыхавшись.

Мы почуяли неладное. Прибежали; мать стоит над сундуком и шкатулкой, утирая слезы. Открыли сундук, а в нем, как в дорогой лавке, чего только нет: и сукно, и бархат, и шелка, расписанные павлинами да розами. А на самом дне — шуба для Джуны из белого руна. Заглянули в шкатулку, спаси аллах: полна драгоценностей. Кольца и браслеты из чистого золота, серьги жемчужные, бусы мешхетской бирюзы. Джуна, как увидела, обмерла, а потом с криком: «Отдайте! Это мое!»—схватила шкатулку и скрылась в своей комнатке. Такой поступок немало удивил нас. А вскоре зашел к нам наш сосед Уазамат. Мы ушам своим не поверили, когда объяснил он нам цель своего прихода:

— Джуна застенчива, как всякая убышка. Духу у нее не хватает признаться отцу с матерью о своем решении выйти замуж за Селим-пашу. Вот и выбрала она меня в посредники, чтобы моими устами сообщить вам, что никто ее не принуждает за него идти. Сама так хочет. Завтра — помолвка.

У меня ноги сделались войлочными.

— Что нашла она в этом похотливом старике, у которого жен больше, чем пальцев на руках? — спросил я горестно.

— Пути любви неисповедимы,— словно утешая меня, заметил Уазамат.— Я когда влюбился в нынешнюю старуху свою, дружки надо мной посмеивались: мол, где глаза твои, дуралей? Смотреть не на что! А если бы я одолжил им тогда хоть на миг глаза свои — о, клянусь, насмешники эти превратились бы в моих соперников. Ты со своего минарета не гляди. Селим-паша, правда, в годах, но мужчина он еще крепкий, да и деньги в жизни не помеха. Покуда богатый похудеет, бедный — помрет. Вы Джуну не корите, может, она не только о себе думала, когда на свадьбу с ним решила...

Сосед свой час знал. Пожелав нам благополучия, он ушел.

Молча, как пришибленные, сидели мы, стараясь не смотреть друг на друга. Мать, покачивая головой, всхлипывала, утирая слезы уголком черного платка.

— Обух плетью не перешибешь. Сама захотела, отговаривать поздно,— поднялся отец. И, взяв косу, поплелся в поле.

«А может, обольстили ее в господском доме блеском богатства, доступностью услад и красными словами,— подумал я.— Надо бы ее

вызвать на откровение, с глазу на глаз, по душам поговорить», — подумал я и направился к сестре. Открыл дверь и вижу: Джуна в дареном платье сидит перед зеркалом и примеряет сверкающие сережки. На пальцах ее играют золотые кольца. И так она была упоена занятием своим, что даже не обернулась на скрип дверей. Пораженный, не сказав сестре ни слова, тихо ушел я прочь.

Шардын, сын Алоу, оказался прав.

На закате следующего дня подкатили к нашему двору фаэтоны, коляски, пролетки, сопровождаемые верховыми. Сосед Уазамат вошел в дом. Джуна уже ждала его. Вместе с ним она, разодетая, улыбаясь, вышла на улицу, села в красный фаэтон и через миг исчезла в клубящейся пыли.

В глубокой печали мы склонили головы. Казалось, что тень покойной Айши вступила на порог дома. И неотвратимым горем повеяло на каждого из нас.

Вскоре родственники, кунаки, соседи стали заходить к нам с поздравлениями. Их радостные возгласы казались мне нелепыми, как смех на кладбище:

— Рады за вас! Очень рады!

— Молодец Джуна! Славно вышла замуж! Славно!

— Будет жить как в раю: богат и знатен Селим-паша!

— Счастливая!

«Боже, — удивился я, — как могут они говорить такое? Сестра моя стала одной из наложниц старого сладострастника, а они поздравляют! И многие даже завидуют нам». Почему-то лезли в голову строки из старой абхазской песни:

У старого коршуна в клюве цветок
Может лишь гибель найти.

В это самое время негаданно-нежданно появился в Осман-Кое Сахаткери. Его давно уже считали пропавшим без вести, сгинувшим на чужбине, отдавшим богу душу. А он возьми да и воскресни со всеми домочадцами своими. И не в рубище скитальца предстал перед земляками, не бродячим дервишем, а в одеянии богатого хаджи, увенчанного белоснежной чалмой.

— Совершил я паломничество в Мекку, уважаемые, и, стоя на коленях перед черным камнем Каабы, вознес молитвы за ваше спасение. Как видно, услышал аллах меня и ниспослал вам спокойную жизнь в этом райском уголке, да славится имя его! Нет бога, кроме аллаха, и Магомет — пророк его!

Вскоре в Осман-Кое была открыта новая мечеть, и Сахаткери стал в ней главным муллой. Несмотря на то что жалованье ему платила казна, он самовольно обложил налогом «на мечеть» каждую семью. Трудно было узнать в главном мулле прежнего Сахаткери. Стал он высокомерен, чванлив и заносчив. Люди остерегались не только откровенничать с ним, но даже заговаривать. И вопреки духовному званию своему глядел он на них искоса, недобрый глазом. Возвращение Сахаткери привело к событиям, похожим на междоусобную войну. Между новоявленным имамом и жрецом Соулахом началась распря не на жизнь, а на смерть. Каждый из них старался утвердить свое превосходство над соперником. Дело, дорогой Шарах, дошло до того, что они оба тайно обзавелись пистолетами, и каждый мечтал только о том, как бы без свидетелей всадить пулю в лоб другого. Носить оружие, как ты знаешь, не пристало духовным лицам. Но оба решили, что праведником и на том свете не поздно стать. Раздор ожесточался, из скрытного стал явным и волей-неволей втянул в противоборство почти всех убы-хов, населяющих Осман-Кой.

Все познается в сравнении. Когда из-под Самсуна мы переселились в Осман-Кой, то показалось нам, что наконец-то снизошла на нас божья благодать. Подумав о себе, мы не забыли подумать и о нашей святыне Бытхе. Местом для нее избрали зеленый холм, увенчанный раскидистым грабом. Был принесен в жертву козел и совершено торжественное молебствие. Святыня объединяла нас памятью о покинутой родине, связывала нас узами племени, возвышала над земными заботами. Видение Убыхии являлось нам во время молитвенного поклонения Бытхе.

Возвратившийся Сахаткери счел, что в стране аллаха поклоняться чему-то, кроме аллаха, — великий грех. Он пригласил в мечеть жреца Соулаха и стал церемониться:

— Ты это что, козлиная борода, призываешь людей к идолопоклонству!

— Истинны слова твои, но...

— Никаких «но», — прервал его имам, — закопай в землю свой ястребообразный камень — свою Бытху — и сруби дерево на вершине холма, под коим определил ты ей убежище.

Жрец возмутился:

— Что ты говоришь, Сахаткери! Как это можно закопать святыню, которую пуще собственной жизни завещали нам хранить предки? Ой, гляди, обрушит она на тебя свой гнев!

— Не стражай!

— Это же надо сказать такое: «Закопай святыню!»! — не унимался Соулах. — Легче будет вырвать сердце из груди убыхов, чем предать земле Бытху.

— Неразумный ты старик,— стоял на своем имам,— кости предков остались за морем, в другой земле, а на этой правит один для всех мусульманский закон, и следует ему подчиняться!

— Если единоплеменники узнают о твоём требовании, несдобровать тебе!

— А если до великого султана, наместника аллаха, дойдет слух, что убыхи предпочитают мечети твой ястребообразный камень, то дело плохо кончится, Соулах!

С этого дня началась война между ними.

Имам Сахаткери ни перед чем не останавливался для того, чтобы утвердиться в должности единственного духовного вождя убыхов. Он несколько раз ездил в Измид к Селим-паше и там наушничал на единоплеменников. Имена многих уважаемых горцев попали в черный список опасных, по его мнению, лиц. Первым, конечно, значилось в нем имя жреца. «Чтобы спасти всю отару, надо удалить из нее заразных овец»,— вручая ему этот черный список, увещевал он Селим-пашу.

Когда Шардыну, сыну Алоу, пожаловались на то, что Сахаткери облагает людей незаконными платежами на мечеть, он пропустил слова жалобы мимо ушей. И от второго рапорта отмахнулся: мол, служители аллаха вольны поступать, как подсказывает им совесть, я не судья имаму.

Но жрец Соулах тоже не дремал. Он не стал скрывать от людей требование имама закопать святыню Бытху в землю и срубить дерево над ее святилищем. Жрец словно бросил искру на сухую стерню вблизи порохового склада. В душах убыхов воскрес огонь непокорства.

— Родину потеряли по их милости, тысячу людей погибли от мора, а теперь заступницу и покровительницу нашу, святыню Бытху, как покойницу, предать земле надумали! Не допустим!

— Если посмеют тронуть святыню, сождем мечеть!

Так говорили убыхские парни, природная гордость и воинственность которых не признавала осторожности. Те, кто поступают сломя голову, не думают о последствиях. «Спалить мечеть не трудно, а что за этим последует?» — остерегали их те, кто трезво отдавал себе отчет в таком роковом поступке.

То, что Сахаткери предался туркам со всеми потрохами, было для меня ясным как белый день. Приводило в бешенство другое: как он, убых, осмеливается не щадить самолюбия убыхов? Зачем толкает их на отчаянный шаг, который в мусульманской стране привел бы к гибели многих соплеменников? И у меня возникло желание встретиться с имамом с глазу на глаз. Я пришел к дверям мечети к окончанию богослужения. Дождавшись, когда последний из молившихся покинет ее, и убедившись,

что внутри, кроме Сахаткери, никого нет, тихо, крадучись, я вошел в мечеть. Стоя между двумя зажженными свечами и не слыша моего появления, он считал деньги. Но вот слух его учуял, что кто-то приближается, мягко ступая по коврам. Имам, сунув деньги в карман, склонился над Кораном. Я приблизился вплотную, и наши взгляды сошлись.

— Опоздал, служба кончилась,— сказал он с напускной укоризной, а глаза его в свете трепещущих свечей тревожно зашмыгали.— Почему кинжалом опоясан, или не ведаешь, что вступать в обитель аллаха запрещено при оружии? — спросил Сахаткери строго, а глаза продолжали трусливо бегать.

— А я собираюсь отправиться в рай вооруженным. На всякий случай! — И с этими непочтительными словами придвинулся к нему.

Губы у него затряслись:

— Что тебе нужно?

— Вот что мне нужно! — И, вырвав из ножен кинжал, я приставил его к груди имама.

— Ты с ума спятил, разбойник! Эй, кто-нибудь! Помогите! — завопил он с помертвевшим лицом.

— Не ори, здесь никого нет, а всевышний далеко — не услышит,— слегка надавил я на кинжал.

Сахаткери, отступая, издал какой-то нечленораздельный вопль.

— Прекрати мычать! Не веришь ты ни в аллаха, ни в шайтана, собака! Соплеменников предаешь, отступник!

Имам, в грудь которого упиралось острие кинжала, пятился, причитая:

— Опомнись! Что тебе надо? Ой, люди, спасите!

— За что им спасать тебя? За то, что совратил, призывая к переселению? Где этот мусульманский гюлистан, в котором нет ни вражды, ни нужды, ни жары, ни холода, ни беды, ни голода, где, я спрашиваю? Когда мы подыхали на набережной Самсуна, где ты скрывался, где спасал свою шкуру? — Острие моего кинжала еще плотнее уперлось в его грудь.

— За что убиваешь друга отца своего? — стуча зубами и заикаясь, спросил мулла.

Он сделал шаг назад, я — шаг вперед. Вскоре его спина уперлась в стену, а мой кинжал, прорезав одежду, коснулся острием тела под левым соском. Ноги Сахаткери стали подкашиваться.

— Признавайся! — приказал я.— Час твой пришел, старый лжец. Признавайся, где, у кого твой черный список? — Я еще немножко нажал на упертое ему в грудь лезвие.

Белея от страха и боли, он забормотал:

— Список у Селим-паши! Мне повелели, не сам я, не сам! Чтобы властвовать, надо разделять подвластных! Это закон султанского государства! Знай: меня убьешь — другого поставят.

Я оценил его искренность и вложил кинжал в ножны. У Сахаткери подкосились ноги, и он сел. Я принес ему Коран:

— Слушай, имам, что я тебе скажу. Нынче соберется сход перед святой Бытхой, и я надеюсь, что ты придешь на этот сход.

— Что мне остается делать,— отозвался он, дрожа мелкой дрожью.

— Придешь и покаешься: мол, так и так, единокровные братья, было меж нами недоразумение, но я убух и вы убухи, и нет у меня к вам никаких требований. Молитесь когда хотите ястребинообраз-ной Бытхе, да поможет она вам!

— Как пожелаешь, Зауркан,— согласился он.

— Жаль, что твой черный список попал в руки Селим-паше и его не вернешь.

— Жаль,— отозвался имам.— Не вернешь!

— Поклянись на Коране, что исполнишь все, что обещал мне.

— Умоляю тебя, Зауркан, избавь от клятвы на Коране,— поднялся старик. По его щекам текли слезы.

— Прощай, Сахаткери! Поглядим, как ты сдержишь слово! Хочу верить, что в тебе еще течет убухская кровь. И помни: меня в мечети не было и того, что здесь произошло, не было.— Я положил руку на рукоять кинжала и оставил муллу одного.

Вскоре Сахаткери сложил с себя обязанности имама, сославшись на нездоровье, и переехал в город Измид. Никогда я больше не встречал его и ничего не слышал о нем.

Прибывший из города Измида офицер третий день разъезжал по окрестным селениям и на площадях зычным голосом читал перед людьми ираде* Ираде — указ (турецк.).султана. Офицер уже наизусть запомнил слова указа и только для пущей важности разворачивал каждый раз бумагу и подобно глашатаю выкрикивал:

— «Наместник аллаха на земле, великий султан имеет целью защитить священные права мусульман во всем мире! Из-за вероломства гяуров он вынужден призвать правоверных к джихаду!* Джихад — священная война, газават. Все подданные султана, способные носить оружие, перед лицом аллаха обязаны выполнить свой священный долг, подняться на защиту ислама и сокрушить его врагов!..» — В глотке офицера першило, слова звучали сипло.

Указ повелевал всем лицам, поименованным в списке, явиться в соответствующей одежде с запасом провизии на площадь завтра утром. Семьям новобранцев указ обещал предоставление помощи, а также освобождение от уплаты государственных налогов. Население уведомялось, что отказ от воинской службы будет караться смертной казнью через повешение.

Хвала аллаху, господу миров!

...Настало утро следующего дня. Материнскими слезами, а не росой омылась земля. Многие прощались в тот день навсегда со своими близкими, но ни моего имени, ни имени моего брата в указе не записано.

Человек — не скотина: совестливо было перед ушедшими в армию, особенно перед Дурсуном, но в то же время меня охватила такая бешеная радость, какой я давно не испытывал. Я мысленно обращался к Дурсуну: «Прости, друг! Не осуждай за внезапное мое счастье. Случись наоборот, я бы не стал упрекать тебя». И перед взором моим возникал остров Родос, окруженный поседельным рокотом моря. Милый, верный Дурсун, он собирался сопровождать меня на этот остров. Как жаль, что нас разлучили. Я отправился к владельцу парусной лодки, с которым ранее меня познакомил сын Давида. Рыбак как свои пять пальцев знал дорогу к заветному острову, и мы ударили по рукам.

Как раз в этом году у нас на славу уродился табак. Если мы его уберем без потерь, рассчитывал я, то после уплаты налогов останутся кое-какие деньги, и я смогу внести лодочнику оговоренную сумму. И я начал готовиться к долгожданному отплытию. Подумать только, четыре года прошло, как разбросала судьба нас с любимой в разные стороны. И все это время я был одержим одним скрытым от всех желанием, одной неотвязной мечтой о встрече с Фелдыш. И света не было мне без нее.

Судьба горянок

Три месяца минуло с того дня, как уехала Джуна. Уехала — как в воду канула. Только Шардын, сын Алоу, порою передавал от нее приветы, которые якобы содержались в дружеских посланиях Селим-паши на его имя. И вдруг почтальон вручает нам письмо. Сроду нам никто не писал, и

потому мы смекнули сразу — это от Джуны. Сама она грамоты не знала, и, видимо, предположили мы, весточку написал кто-то по ее просьбе. Никто из нас читать не умел, да к тому же письмо было написано по-турецки. Обратились за помощью к старому грамотею Мзаучу Абухбе. Джуна сообщала, что она жива-здоровая, довольна своей судьбой и только очень скучает по каждому из нас, особенно по дорогой Куне. «Вот было бы славно, — не скрывала своего желания сестра, — если бы Куна согласилась приехать в Измид. Погостила бы недельку-другую, сама развлеклась бы и меня порадовала». Письмо было коротким, как летняя ночь, но принесло оно сердцам нашим большое успокоение.

Вскоре к воротам нашим подкатила богатая коляска с двумя женщинами в черном глухом одеянии. Лица их были под чадрами. Приехавшие, войдя в дом, поклонились:

— Мир дому сему! — Потом представились: — Мы служанки вашей дочери Джуны! Ханум, благодетельница и госпожа наша, шлет вам свою любовь и добрые пожелания. Слава аллаху, она благоденствует, и красота ее, излучая свет, озаряет, на счастье ближних, весь дворец. Одна у нее печаль: разлука с вами! Если вы не хотите, чтобы мы стали жертвой гнева ее, заклинаем вас, отпустите Куну навестить сестру. Прекрасная властительница наша заслуживает такой радости.

Тут кучер внес вместительный короб:

— А это подарки вам от нашей повелительницы.

Нежданный приезд служанок Джуны и свидетельство их о том, что она благоденствует, обрадовали нас чрезвычайно. Что касается Куны, то любимица наша сама стала просить родителей, чтобы разрешили они ей навестить сестру.

Скрепя сердце мать с отцом сдались уговорам, и, нарядившись, Куна уехала с почтительными служанками сестры. Кто мог предугадать, что отъезд ее станет роковым.

Шли дни, шли недели, а Куна все не возвращалась. Мы были в отчаянии.

— Господи, может, беда какая стряслась, а вы, трое мужчин, сидите сложа руки, — взывала к нашей решительности мать.

Отец, снедаемый тревогой, кинулся к Шардыну, сыну Алоу, но тот принялся выговаривать ему с укоризной:

— Поднимаешь тарарам, старый петух, словно твои дочери тонут в открытом море или заблудились в дремучем лесу! Они веселятся в полное свое удовольствие в беломраморном дворце, где исполняется их любая прихоть, а ты караул кричишь. Скажи пожалуйста, его Куна задержалась на несколько дней! А как ей не задержаться, когда в развлечениях прожигают

сестрицы время, не зная, день на дворе или ночь! Ты бы лучше, как глаза на заре протрешь, совершал омовение и возносил аллаху благодарные молитвы за то, что послал он нам Селим-пашу. А ну глянь, какие подарки на днях прислал он моей жене! Ковер, на котором ты стоишь, от щедрот его. И вот та ваза на золотом подносе — тоже бесценная. Ступай спокойно домой! Скоро я буду в гостях у нашего родственника Селим-паши и лично в целости и сохранности доставлю твое сокровище Куну. И пусть твои парни не забывают, что с помощью Селим-паши я освободил их от армии. Ступай! Ступай! Шардын, сын Алоу, как только мог, подчеркивал свою близость к Селим-паше. Это было выгодно, ибо одни, заискивая, искали покровительства убухского предводителя, а другие просто побаивались его и беспрекословно ему повиновались. На такого не пожалуешься и перечить такому не станешь. А у самого Шардына, сына Алоу, за семью печатями в душе таилась мечта взлететь повыше самого Селим-паши. После того как Хаджи Керантух ушел как бы в тень, слово от лица убухов предоставлялось всякий раз Шардыну, сыну Алоу. Был он богат, но что значило его богатство перед несметными сокровищами Селим-паши? Да и власть не та, что у измидского губернатора. Вот и стал родовитый махаджир осторожно искать окольную тропинку к вершине своего господства. Еще в первый год переселения он сумел проникнуть в покои матери султана. Я уже говорил тебе, Шарах, что она была адыгейкой. Надо отдать должное Шардыну, сыну Алоу, он сумел расположить к себе эту женщину, и она содействовала в получении убухами земли в Осман-Кое. Нюх у Шардына, сына Алоу, был чуток, как у базарной цены. Он мигом брал в расчет все взлеты и падения при дворе, быстро, как эхо, откликался на них, играл на зависти приближенных султана, их корысти и кознях. Не моргнув глазом Шардын, сын Алоу, заложил бы всех горцев-махаджиров ради того, чтобы самому подняться на ступеньку выше. Селим-паша знал тщеславие своего кавказского кунака, но еще не догадывался, что тот надеется любыми средствами его превзойти. Все чаще Шардын, сын Алоу, стал ездить в Стамбул. Иногда он целые месяцы проводил в турецкой столице, навещая султаншу-адыгейку. Он услаждал слух этой высокопоставленной женщины, следы былой красоты которой не сумело стереть время. Шардын, сын Алоу, представил ей свою жену и сестру Шанду. Лиха беда начало. И уже не было такого приема, чтобы сестры не получали приглашение во дворец. Султанша, впервые увидевшая Шанду, была очарована дивными чертами горской девушки и даже укорила Шардына, сына Алоу:

— Ты это что же, почтенный, так нелюбезно скрывал от нас прелесть сестры твоей?

А если одна женщина оценивает вслух красоту другой женщины, пусть младшей по годам, это что-нибудь да значит.

Мать турецкого владыки приветила Шанду, обласкала, поднесла перстень с собственной руки и одарила лестным прозвищем «Алмаз Кавказа». Надо признаться, Шанда обладала не только небесными чертами, но и земным нравом: она не забывала являть, где следовало, скромность, кротость и благочестивость. Теперь сестра Шардына нередко появлялась во дворце.

Сопровождала султаншу во время прогулок, учтиво слушала ее рассказы за вышиванием, пела ей убухские песни.

Вступивший на трон Абдул-Азис сумел подавить заговор внутренних противников — «Новых османов» — и, несмотря на войну, жил в свое удовольствие. В отличие от покойного отца, молодой правитель страны не любил разводить балясы со своими приближенными о мировых событиях, ленился заглядывать в книги, томился, если советники были многословны. Ах, если бы можно было все государственные дела переложить на плечи визиря, он только и делал бы, что смотрел на петушинные бои, скакал на коне, охотился и наслаждался близостью женщин.

Новая бабушкина приближенная, Шанда, была оценена им по достоинству и вскоре стала его третьей женой. Такой поворот событий показался Шардыну, сыну Алоу, волшебным сном. Оказавшись шурином самого турецкого султана, он счел, что уже не к лицу ему жить в таком захолустье, как Осман-Кой. Со всеми домочадцами и надежными людьми избранник судьбы перебрался в Стамбул. Железо надо ковать, пока оно горячо.

Абдул-Азиз блаженствовал, познавая новую жену. Известно, что никогда мужа не бывают так уступчивы, сговорчивы и щедры, как в медовый месяц. Шанде не стоило большого труда добиться для брата производства в офицеры и назначения большого жалованья. Явь, похожая на сон, продолжалась. Великий визирь сам прочитал высочайший указ о присвоении Шардыну, сыну Алоу, офицерского чина. Надо отдать должное моему молочному дяде — ловок он был, хитрец, умел пустить пыль в глаза. Приложив одну ладонь ко лбу, другую к сердцу, выразил он благодарность наместнику аллаха на земле и тут же во всеуслышанье изъявил желание ехать воевать.

— Похвально и примерно,— приветствовал его решение великий визирь.

Шардын, сын Алоу, понимал, что одними чарами сестры долго не проживешь, тем более что Абдул-Азис не отличался постоянством в любви. К тому же завистливые придворные прикусят языки и перестанут говорить, что доблесть брата завоевана Шандой на брачном ложе. Готовность пролить кровь или даже умереть на службе султану — это хороший козырь в большой игре. И Шардын, сын Алоу, отправился в армию.

И надо же было случиться, что прибыл он на передовые позиций балканской линии как раз накануне сражения, в котором турецкие войска были выбиты русскими из большого города. Штабное начальство ломало башку: как бы побезболезненнее сообщить в Стамбул пренеприятную весть. Легче кинуться с ятаганом в атаку, чем войти к султану с дурным известием. Это только говорится, что гонец за весть не ответчик. Черный вестник мог не выйти из дворца живым. И тут кто-то назвал имя Шардына, сына Алоу. О счастливая мысль: шурином самого султана! Он было попробовал увернуться от неблагодарного поручения, но деваться было некуда. Здесь война, откажешься — отомстят: на свою же пулю наткнешься. «Будь что

будет», — решил он и поскакал в Стамбул. Прибыв в столицу, Шардын, сын Алоу, во дворец не явился, а укрылся в доме кунака — хозяина кофейни — и через него вызвал к себе сестру. Они договорились, что Шанда найдет жертвенную голову, которая, опередив появление Шардына, сына Алоу, во дворце, сообщит султану о беде на Балканах. Подставной вестник, истекая кровью, еле ноги унес из дворца, а Шардын, сын Алоу, ступая по мягким коврам, вошел к султану уже в роли утешителя, прикладываящего к ранам бальзам. Надежды многих придворных на то, что сейчас из приемной султана выволокут обезглавленного убыха, не сбылись. Напротив, наместник аллаха с печальным, но просветленным лицом вышел в общую залу, держа под руку шурина, облаченного в боевые доспехи, и сказал, обращаясь к склонившейся знати:

— За то, что славный Шардын, сын Алоу, остался после тяжелого боя живым и невредимым, я удостоил его знаком за храбрость!

Еще недавно придворные между собой называли его «выскачкой», «бродягой», «чужеродцем», теперь даже за глаза боялись высказаться о нем плохо. Тем более что министр полиции сделал его своим адъютантом.

Так ли все в точности было, дад Шарах, утверждать не могу, передаю тебе то, что слышал сам о Шардыне, сыне Алоу, после его отъезда в Стамбул. Как говорится: за что купил — за то продал.

Убыхи, оставшиеся в Осман-Кое, по-разному судили о близости Шардына, сына Алоу, к султану. Одни видели в этом знамение того, что положение убыхов упрочится.

— Если что случится, можно прямо к нему обратиться. Он нас в обиду не даст! — говорили одни.

— Назвали ястреба орлом, он от отца с матерью отрекся. Вы лучше бога молитесь, чтобы из-за этого Шардына нам всем не пропасть, — предостерегали другие.

Отец тревожился за своего молочного брата, скучал о нем, а я был доволен, что он уехал. Век бы мне его не видеть! По утрам я изучал при помощи старика убыхский язык, а после полудня записывал его повествование — так поначалу складывалась моя работа. Но вскоре этот порядок нарушился, Зауркан Золак сам так увлекся своим повествованием, что когда ему хотелось, тогда и начинал, иногда с самого утра.

Передо мной, конечно, редчайший учитель. И как бы ни была занимательна повесть его жизни, я все же выкраиваю время и пополняю свой убыхский словарик, который начал составлять с первых дней моего приезда. Вчера и позавчера записывал термины родства, а сегодня — названия домашней утвари и орудий производства, причем куда больше, чем предполагал раньше, обнаружил в этих терминах общие корни с другими родственными языками Северо-Западного Кавказа.

Сегодня у Зауркана с утра настроение плохое, он чем-то обеспокоен и много курит. Утром, посреди завтрака, ни с того ни с сего выругал Бирама и, перестав есть, поднялся. В полдень не лег, как обычно, отдыхать, а все ходил взад и вперед по двору. Когда заметил, что Бирам уходит домой, сложив в сумку миски и ложки, вдруг выругал его. Но Бирам ничего не ответил.

Зауркан все продолжал ходить по двору, но, когда я уже подумал: «Стоит ли сегодня беспокоить его?» — вдруг сел и позвал меня к себе.

Я сел рядом, приготовившись записывать. Но он долго не мог начать и все тер ладонью морщинистый лоб, словно хотел собрать воедино что-то, отстоявшееся в памяти.

И, уже начав рассказ, против обыкновения, перескакивал с одного на другое, в нем было сегодня какое-то внутреннее беспокойство и раздражение, из-за которых, наверно, и досталось Бираму.

Но все-таки я и сегодня кое-что записал. Зауркан рассказал о том, что когда имам Сахаткери покинул Осман-Кой, взамен его им прислали другого муллу, турка, по имени Орхан. И он сначала как будто нашел общий язык с народом, о нем даже говорили, что он настоящий слуга аллаха! Но потом, постепенно, тонко и хитро он проводил свою линию. Свадьба или похороны должны были происходить не так, как испокон веков привыкли убыхи, а по строгим правилам мусульманства. Мулла все чаще созывал народ в мечеть и учил, как исполнять азкир со словами: «Аллах всегда слышит голос того, кто ему воздает хвалу!» Когда рождался ребенок, то уже нельзя было без разрешения Орхана давать ему имя. Женщинам строго-настрого запрещалось выходить без чадры. А тот, кто хоть один раз не пошел в мечеть, должен был платить джазие. А перед тем как войти в мечеть, горцы должны были теперь повесить во дворе перед ней все свое оружие.

Когда Зауркан произносил при мне имя Сахаткери, его бросало в дрожь, так этот человек был ему ненавистен. А вообще к другим муллам он относился с презрительным равнодушием, о мусульманских религиозных обычаях говорил мало и, видимо, плохо знал их.

— Не верю я всем им, которые во имя аллаха живут припеваючи, не пролив ни одной капли пота. Эх, милый Шарах, если молитвы и правда что-нибудь приносили бы людям, то, наверно, раньше всех разбогател бы мой отец, уж он ли не молился? И, однако, не было человека несчастнее его!

Вспомнив отца, старик опустил голову, долго молчал, а после этого вдруг заговорил о тех трудностях, с которыми убыхи столкнулись на новых, непривычных для них местах. Земля, по его словам, была куда скуднее, чем в Убыхии, а разные поборы — куда больше! Он сетовал, что летом здесь жарко, а зимою такие сильные морозы, что убыхам пришлось, как и другим

крестьянам в округе, обмазывать свои дома глиной или навозом, что дома, в Убыхии, считалось бы позором.

Еще больше сетовал на то, что здесь можно было растить виноград и что убыхи уже принялись было за это, но оказалось, что из винограда можно делать только кишмиш, а вино в Турции строго запрещалось, а если у кого-нибудь находили его, то изгоняли из села.

— Кто раньше видел, чтобы убых жил без вина, какая без вина хлеб-соль! Как лозу не оторвешь от дерева, так она обвилась вокруг ствола, так и вино в жизни человека. Кто из нас встречал без вина рождение ребенка? Где у нас бывала свадьба без вина? Кто принимал без вина гостей? Даже когда человек умирал, и тогда поднимали стаканы, провожая его в могилу! И вот все. К чему только не может привыкнуть человек! Верить ли, милый Шарах, если ты передашь сейчас мне полный вином турий рог, я, кажется, не сумею сказать застольного слова, я забыл его так же, как забыл вкус самого вина!

Это было последнее слово из тех сетований, которое я услышал от него за сегодняшний день. Так на этом мы и разошлись, чтобы встретиться только на следующее утро. ... Была пятница. Наши мужчины, повесив на гвоздях оружие перед мечетью, совершали намаз. Наш новый мулла Орхан провозглашал:

— Ла илаха ила-ллахи... Благослови нас, господь! Веди по верному пути! Не оставь!

— Аминь! Аминь! — отзывались молящиеся.

— Истинный правоверный должен уповать на аллаха, милостивого, милосердного! Тому, кто верит, достаточно сказать: «Будь!» — и святое дело сбудется!

— Аминь! Аминь!

В открытую дверь мечети я заметил, что какой-то человек в папахе стоит у порога. «Если он не зашел в мечеть, значит, не здешний», — подумал я. Но лицо его мне показалось знакомым. Молитва кончилась. Я опоясывался кинжалом, когда услышал:

— Добрый день, Зауркан!

Это было сказано на чистейшем адыгейском языке. Я оглянулся:

— Магомет! Какими судьбами?

Передо мной стоял один из соплеменников моей бабушки. Я уже говорил тебе, что моя бабушка была адыгейкой. С тех пор как попали мы в махаджирство, я с Магометом не виделся. Доходили слухи, что он

обосновался где-то неподалеку от Измида. Подошли отец и Мата. Они обрадовались, увидев Магомета, обняли его и поцеловали.

— Что же мы стоим здесь! Двинемся-ка скорей домой,— засуетился отец.

— Я уже заходил к вам домой, видел Наси, она мне сказала, что вы находитесь здесь,— словно чего-то обдумывая, со взором, опущенным долу, сказал Магомет. Чувствовалось, что он не расположен предаваться приятным разговорам за столом.— Недосуг мне. Сегодня к ночи я должен возвратиться... Может быть, это даже к лучшему, что сейчас мы одни. Мое слово ищет мужские уши...

Каждый из нас понял: Магомету досталась тяжкая участь горевестника.

— Молю вас, будьте мужественными!

— Что случилось? — прошептал помертвевшими губами отец.

— Куну взял в жены Селим-паша!

Мы даже отпрянули, словно перед нами разорвался пушечный снаряд. А Магомет со скорбным лицом продолжал:

— Я служу караульным во дворце этого проклятого паши. Однажды сестры тайком окликнули меня и, глотая слезы, наказали: «Хоть голову сложи, дорогой родственник, но сообщи братьям нашим, что погибаем мы. Пусть, мол, не верит, что живем мы в довольстве и достоинстве. Обманули нас, обесчестили. Если нет у братьев никакой возможности вызволить нас из греховного дома, то пусть хоть простятся с нами!»

«Если есть аллах, то как он мог допустить это?» — в ярости подумал я, стоя перед мечетью.

— Можете на меня рассчитывать!

И, рассказав, как его найти в Измиде, Магомет ушел. Глаза мои налились кровью. О, как мне хотелось обернуться молнией и сжечь мечеть, ибо не существовало больше для меня аллаха.

Вернувшись домой, мы кликнули родственников и поведали им о том, что сами узнали. Наша печаль слилась с их состраданием. А мать, положив на кровати одежды дочерей, оплакивала их обеих.

В стране убыхов не было такого, чтобы мужчина брал в жены двух сестер. А если когда-либо случалось подобное, то проклиналось миром, как кровосмесительство.

Я и Мата решили: скорее умрем, чем покажемся людям на глаза, если не отомстим за позор, нанесенный нашим сестрам.

Отец решил искать защиты у Шардына, сына Алоу, и его сестры Шанды. Но верно говорится, что в черном году пятнадцать месяцев. Вернулся отец из имения несолоно хлебавши. Шардын, сын Алоу, находился как раз на балканском фронте. Жена его с сыном путешествовала по Франции, а у султанши Шанды приближался срок родов, и она не показывалась людям. Все ожидания отца оказались сгнившей алычой, и нам оставалось положиться на самих себя. Главное — не сидеть сложа руки. Мы с братом собрались в путь. Вышли из дому чуть свет. До самого поворота-дороги я все время оглядывался, чтобы еще и еще раз увидеть отца с матерью. Мать стояла, закутанная в черную шаль, опираясь на посох. Она была худа, как лезвие ножа. Отец, скрестив руки на груди, прижимался спиной к воротам, словно ноги его не держали. Тоска терзала мое сердце — неужели никогда больше я не увижу их? Над крышей дома висел клочок дыма, застыв на месте, словно предчувствовал, что очаг наш скоро погаснет навсегда. Из-под ног наших взвивался дорожный прах, от которого сапоги, одежда и лица сделались одного цвета. «Эх,— сожалею я,— нет со мной ретивого Бзоу. Вот был конь так конь! Полудикий трехлеток, объезженный на славу. Сейчас бы ветром долетел до Измида, и только бы я свистнул перед оградой сада порочного Селим-паши, как скакун мой перемахнул бы ее».

В доброе время, когда мы жили на родине, даже самый бедный человек, если пускался в путь, то обязательно на коне. Пир ли, тризна ли, дело ли какое позвало — выезжали верхом или на повозках. Невест возили в фаэтонах, запряженных шестерками одномастных коней. Рождался в семье мальчик,— растили жеребенка, чтобы мальчик рос наездником. Перед умершим или погибшим горцем ставили его коня, увешанного оружием хозяина, и плакали. Не зря, дорогой Шарах, наши предки говорили: в жилах лошадей течет человечья кровь. И пели:

Душа мужчины
И душа коня
Едины
С незапамятного дня.

Оказавшись на чужбине, мы стали безлошадными. Здесь место коня занял осел. Кто имел осла, считался богатым человеком. На окраине Измида, возле базара, в доме адыгейца Магомета мы жили уже целую неделю. Каждый день мы кружили возле дворца трижды проклятого Селим-паши, но подать весть сестрам о том, что мы рядом, не могли. Перед нашим появлением в Измиде произошла кража в гареме. Женщинам запретили прогулки и усилили охрану. Мата в отчаянье предложил:

— Надо явиться к папе и попросить, чтобы он выдал нам сестер по доброй воле!

— Ишь чего захотел! — горестно усмехнулся Магомет. — Хвост собаки хоть в колодку зажми — все равно прямой не станет! Нашел у кого искать правды!

А я корил себя только за одно: как это мы не догадались зарезать Шардына, сына Алоу, когда он еще был здесь, в Осман-Кое. Ни один враг не мог бы сделать того, что сделал с нами наш родственник. Я все больше и больше убеждался, что сестер моих он продал Селим-паше за какие-то его услуги. Никогда бы в Убыхии он не осмелился на такое!

Нас угнетало бездействие. Шли дни, а мы еще ничего не предприняли. Но вот Магомету удалось улучшить мгновенье, чтобы шепнуть нашим сестрам, что мы в Измиде.

А те передали нам через него, что Джуна никакого письма нам не писала и что женщины, обманно увезшие Куну, действовали не по ее поручению.

Мы узнали также, что Джуна винила себя в несчастье сестры и пыталась перерезать горло стеклом. Была весна, раннее тепло овеяло город. Магомет принес весть: завтра наложницам разрешено выйти на прогулку в сад. Стечение обстоятельств благоприятствовало нам: Магомет утром вступал в караул привратником. Мы уже знали, что в полдень Селим-паша располагается в кресле подле фонтана в тени магнолии и одалиски развлекают его. Мы решили: незадолго до полудня я проникну в сад. Мата наймет пролетку и будет наготове в ближайшем от ворот переулке. Я постараюсь вывести сестер через ворота, а потом мы их увезем. Если мне не удастся вывести их незаметно, то я прикрою их бегство, встречу преследователей с оружием в руках. Магомет должен уходить вместе с ними, оставаться ему в Измиде будет нельзя. На берегу в лодке нас ожидал перевозчик из бывших контрабандистов, нанятый нами заранее. Отплыв от Измида верст на десять, мы рассчитывали укрыться в горах. Я и Мата походили на кровников, час отмщения для которых настал.

Вешний сад был словно начинен ключьями облаков — цвели деревья. «Как может радоваться приходу весны этот сад, если в нем льют слезы мои сестры? Как может распевать в нем соловей, как глухой, не слыша их стонов? Как молния не испепелила до сих пор Селим-пашу?» — в яростном недоумении сетовал я на равнодушие природы, крадучись вдоль садовой стены.

Магомет приоткрыл мне железную дверь, и я проскользнул внутрь.

— Держись вон той тропинки,— шепотом напутствовал он меня.

Я шел, как на охоте, тихо, почти не дыша, вглядываясь в просветы между ветвями. В глубине сада белел трехэтажный дворец. Он показался мне опустевшим: не звучали голоса из его окон и никто не выходил из дверей. Приблизившись к нему, я скрылся в кустарнике. Справа слышался плеск воды. Нетрудно было догадаться, что рядом бьет фонтан. Вдруг крайняя дверь отворилась и двое пожилых мужчин вышли из дома. По одежде одного из них я определил, что он кызляр-ага*. Кызляр-ага — старший евнух. Что-то сказав друг другу, они разошлись и исчезли. Вскоре показали девushки. Они по одной и по две спускались по мраморной

лестнице в тенистые заросли сада. Было ясно, что это наложницы паши. Все они были молоды и хороши собой, правда лица их бледностью своей напоминали растения, выросшие в пещере. Среди девушек я не увидел сестер. Две, прошедшие вблизи меня, говорили на каком-то языке, которого я доселе не слышал. И вдруг мой взгляд упал на третью девушку, одиноко следовавшую за ними. Свет померк в моих глазах, сердце словно провалилось в ледяную бездну: это была Фелдыш. Не своим голосом я позвал ее:

— Фелдыш!

Мое внезапное появление настолько ошеломило ее, что слова застыли у нее в горле, и Фелдыш смотрела на меня в ошеломенности, с открытым ртом. Ее замешательство длилось секунду, а потом она безо всякой радости, что видит меня, и словно даже не удивляясь моему появлению, спросила:

— Это ты, Зауркан?

— Фелдыш, не пугайся, я спасу тебя!

— Я не пугаюсь, я давно пережила все свои страхи. Должно быть, ты ищешь сестер? Джуна еще слаба. Она полоснула себя стеклом по горлу. Куна не хочет оставлять ее одну... Мы жертвы одного шайтана.

— О господи, как ты попала сюда?

— Уже четыре года, как я здесь. Купленное заморское деревце сажают не там, где оно само хотело бы расти.

Взяв ее за плечи и приблизив лицо к ее лицу, голосом, обретшим твердость, я сказал:

— Мой долг выволить отсюда сестер и тебя!

— Сестрам твоим я передам, что видела тебя. А меня выволить поздно...— И, уронив голову на грудь, заплакала.— Я покойница. Ты опоздал! И не прикасайся ко мне, я хуже прокаженной. Прощай, Зауркан!

И, закрыв лицо руками, она повернулась и быстрыми шагами направилась к женщинам, прогуливающимся поодаль.

Обмякнув, словно все мои кости вдруг оказались раздробленными, и ухватившись рукой за ветку, я стоял в состоянии какой-то отрешенности. Постепенно мой взор стал улавливать, что слуги шныряют между дворцом и фонтаном. Углубившись в гущу деревьев, я увидел фонтан в каменной узорчатой чаше. Над плещущими струями стояла радуга. Около фонтана под листовным шатром люди расстелили мохнатый ковер, усеяли его подушками, а в середине поставили мягкое кресло. Затем принесли низкие столики, на которых лежали яства и возвышались серебряные кувшины.

Вскоре появился в сопровождении двух прислужников Селим-паша. Я узнал его сразу, ибо видел однажды в имении Шардына, сына Алоу. Это был коротышка, похожий на обрубок, с редкой бородой, почти безбровый, отчего его припухлые веки напоминали черепаши. Лысую, как тыква, голову прикрывала красная феска. Старик был в годах, но телом еще крепок. Резво семеня, он подошел к креслу и опустился в него. Двое, очевидно, самые доверенные слуги, встали по бокам. Один из них, развернув бумагу, что-то начал читать паше, откинувшему голову на спинку кресла. Одна рука его, в которой были янтарные четки, лежала на толстом животе, а другой он пощипывал редкую бороденку.

И чем дольше я глядел на него, тем ненависть сильнее переполняла меня.

Слуга дочитал бумагу и поклонился. Паша бросил какое-то слово и махнул рукой. Прочитавший бумагу свернул ее и направился ко дворцу. Другой слуга, взяв кувшин, наполнил бокал и на маленьком подносе подал его паше, но тот, откинувшись в кресле, полулежал в сладкой дреме. Слуга поставил бокал на столик. Безумная решимость толкнула меня вперед. В один миг я как гром с ясного неба возник перед пашой. Он вылупил на меня глаза. Его ошеломило возникновение вооруженного человека, и он заерзал в кресле. Побелевшее лицо покрылось потом.

— Как посмел ты, разбойник, явиться сюда? — с плохо скрываемым страхом закричал паша.

— Нет, я не разбойник, я брат двух сестер, опозоренных тобой! Если не хочешь умереть, отпусти моих сестер, паша!

Его глаза испуганно бегали, и он заметил, что моя рука легла на рукоять кинжала.

— На помощь! — завопил паша.

Слуга, что стоял рядом, словно его ударили по голове, закричал и кинулся к дворцовым дверям.

Я понял, что сейчас появится дворцовая стража. Паша боком выполз из кресла и стал пятиться к окружавшему фонтан бассейну. Делать было нечего. Я схватил пашу за глотку и всадил ему в грудь свой кавказский кинжал по самую рукоятку. Старик захрипел, и я толкнул его в воду, где плавали золотые рыбки. По воде пошли багровые разводы, и мне почему-то вспомнилось море, черные дни переселения и прибитые к берегу трупы махаджиров. Все ближе слышались крики. Мне было уже все равно. Какое-то безразличие охватило меня. Окровавленный кинжал выпал из руки, и я не поднимал его. Наверно, можно было бы уйти от преследования и с помощью Магомета бежать, но мне почему-то даже не пришло это в голову. Меня окружили стражники. Я не сопротивлялся. Так, со связанными руками, под дулами ружей я переступил порог тюрьмы. Сегодня — третий день, как я привожу в порядок свои записи. А Зауркан отдыхает, хотя, по-

моему, отдыхать у него нет желания. Он слишком долго молчал и из своей столетней жизни все еще не рассказал мне и половины. Несколько раз за те две недели, что я у него, мне даже начинало казаться, что он боится умереть, не успев договорить всего, что сохранилось в его памяти. Конечно, когда мысленно сопоставляешь его рассказ то с одной, то с другой исторической датой, понимаешь, что он иногда что-то путает и меняет местами то, что было раньше, с тем, что было позже, но все равно память у него удивительная, а ум живой и страсти еще не отгорели в его столетнем, старческом и все-таки еще могучем теле.

У меня такое чувство, что не только эти две недели, но уже давным-давно никто, кроме Бирама, не переступает порог его дома. И может быть, еще и оттого, что он так одинок, ни новое время, ни новые слова почти не существуют для него. Он живет как на кладбище и ходит по своему прошлому словно по узким тропинкам среди могил, живой среди мертвых...

Завтра с утра, мы уже договорились, он продолжит свой рассказ; я наконец сегодня к вечеру уже привел хотя бы в относительный порядок все записанное до сих пор, кончая его горьким рассказом о судьбе женщин-горянок. Кисть руки ломит от карандаша, сижу, шевелю в воздухе занемевшими пальцами, а мысли мои далеко отсюда, дома, в Абхазии. Его рассказ о горянках почему-то с особенной отчетливостью заставил меня именно сегодня вспомнить нашу Уардскую школу, теперь белую, каменную, трехэтажную, а когда-то, когда я пошел в первый класс, маленькую, деревянную, двухкомнатную, такую же маленькую в моей памяти, какими мы были тогда сами — тридцать мальчиков и девочек из нашего села.

Сейчас в ней учатся пятьсот детей. Помнится, Карбей Барчан, нынешний директор, а тогда такой же первоклассник, как и я, называл мне в прошлом году эту цифру, которой он очень гордился. Мы тогда съехались на пятнадцатую годовщину нашего выпуска, не все, конечно, но многие: два агронома, три учителя, один горный мастер из Ткварчели, я — лингвист и главная знаменитость нашего выпуска, Наташа Лоуба, наша первая во всей Абхазии женщина-летчица. Конечно, чтобы стать летчицей, ей потребовался характер, тем более что отец Наташи, Ислам, как на грех, был у нас самым прилежным молельщиком нашей сельской святыни Киач. Она тоже считалась у нас чудотворной, вроде убыхской Бытхи, и, как утверждал видевший это своими глазами Ислам, иногда по ночам в особо ответственные исторические моменты летала по воздуху и возвращалась на свое место. Но одно дело — летающая святыня, а другое дело — летающая дочь. Да еще такая, которую чуть не выгнали из аэроклуба, когда она среди бела дня на своем «У-2» однажды во время сельского схода прилетела и опустилась на нашей большой поляне за окраиной села. Злые языки потом долго еще рассказывали, будто бы Ислам сгоряча принял собственную дочь за вернувшуюся из очередного полета святыню Киач. Скорей всего, на старика возводили напраслину, но наши уардцы больно уж любят посмеяться, особенно когда шутка сама просится на язык. Они еще долго потом, как только увидят над горами какой-нибудь самолет, зубоскалили над Исламом — звали его: «Скорей, скорей иди, смотри, святыня летит!»

Интересно, где сейчас Наташа Лоуба? На прошлое письмо мое из Ленинграда не ответила, была где-то на авиационных сборах. А отсюда ей не напишешь, слишком далеко занесла меня судьба в моих поисках убыхского языка, слишком далеко, иногда самого оторопь берет — как далеко.

По желтой дороге пустыни

Наш караван в тридцать верблюдов и два десятка лошадей двигался пустыней. Слышался заунывный звон колокольчиков. Нас, караванщиков, было полсотни человек. Вот уже месяц, как мы находились в пути, выйдя из многолюдного и шумного Каира.

Так и вижу, дад Шарах, как впереди всех нас на черном арабском коне в белом башлыке и бурнусе едет Исмаил Саббах. Поджар, легок, вынослив. Он родом из племени бедуинов и чувствует себя среди барханов как дома. Чуть позади с обеих сторон покачиваются в седлах его телохранители. Они понимают хозяина с полувзгляда и с полуслова. Подает знак «умрите!» — умрут, не раздумывая. Сейчас караванщики — разношерстная гурьба, но приказ Исмаила Саббаха для всех закон. Ослушаешься — прикончит.

Когда-то мальчишкой, не имея ломаного гроша за душой, пристал он к каравану и с тех пор пристрастился к опасному кочевому торговому промыслу. Один мираж с малолетства возникал перед ним в логовище песка — деньги. И дикий малый достиг сокровенной мечты: стал караван-баши. В пустыне для нас он бог и царь. У каждого свой владыка. Есть такой и у Исмаила Саббаха. Это Керим-эфенди из Каира, знатный купец, известный богач, не брезгающий темными сделками. Когда я впервые встретился с Исмаилом Саббахом, ему шла вторая половина жизни. Высокого роста, смуглый, с черными, лоснящимися усами, с зелеными, как у тигра, глазами. Я назвал его глаза зелеными — это не совсем так, ибо имели они одну странную особенность: меняли свой цвет по несколько раз в день. Я не слышал, чтобы вожатый каравана ото всей души, беззаботно рассмеялся. Смеясь, он скалил желтые зубы, издавая звук, похожий на звериный рык, но радости при этом на лице его не было.

Сказано, дад Шарах: «Когда терпение ушло, подошла могила». Видно, на беду мою, судил мне рок великое терпение, потому что еще жив. Рожденный в горах, где буйствовала вечнозеленая растительность, я, битый и тертый как камень, очутился в пустыне, голой, как пах мула, бесплодного животного. Ты не успеваешь записывать, мой дорогой? Стану рассказывать не так скоро. А может, тебе надоела моя болтовня? Ну, коли нет, так пусть твой карандаш следует за моим языком...

На оконечности мыса Карабурун* Карабурун — Черный мыс. стояла старая тюрьма, где некогда вешали пиратов. Осужденный шариатским судом на

смерть, я ожидал исполнения приговора пятый месяц. Это значит, что я умирал каждый день. «Скорее бы все кончилось», — взывала измаянная душа. Одного я не ощущал — раскаяния за убийство Селим-паши. Ни тогда, сидя в темнице, ни потом, за всю долгую жизнь свою. Закованный в кандалы, обреченный, перебирая, как черные четки, события последних лет, я думал не о боге, а беспокоился о сестрах, о Фелдыш, об отце с матерью. Живы ли еще они? Тревожился о судьбе Маты и Магомета. Что случилось с ними? Стены тюрем немы. Глухо доносился рокот моря. Спросил бы у волн, да языка их не знал.

И вдруг однажды в полночь, когда облака сновиденья перенесли меня в страну убыхов, со скрежетом открылась дверь камеры. На пороге стоял надзиратель тюрьмы с незнакомым мне моряком. Каждый держал трепещущую свечу.

— Вот — гляди! Буйвол — не человек! Такого, если откормить, запрягать можно.

— А ну, повернись! Согни руку! Нагни шею! — Моряк ощупал меня.

«Прикидывают, выдержит ли петля?» — подумал я с похолодевшим сердцем.

Появился вооруженный стражник и приказал:

— Выходи!

Гремя кандалами, я, повинувшись, очутился за порогом тюрьмы. На дворе лил проливной дождь. Над морем метались тучи.

В свете молнии с берегового скального обрыва я заметил внизу шхуну под парусами. Вскоре я очутился в ее трюме. Тот моряк, что ощупывал меня в камере, оказался ее капитаном. Я сразу догадался, что надзиратель тюрьмы продал меня ему, как скотину. Что стоит списать смертника: мол, повесился, а труп выброшен в море. Такое частенько случалось... Казалось, я должен был радоваться внезапному повороту событий, раз избежал смерти, но меня ждало рабство. А раб — не человек, с ним можно поступать, как заблагорассудится хозяину: его воля — закон. Пока есть силы и работаешь как вол — кормит. Обессилел — пристрелит. Жаловаться некому.

Невольничья шхуна, соблюдая осторожность, взяла направление на Каир. Там перекупил меня у капитана шхуны купец Керим-эфенди. Он, сидя в кресле на балконе загородного дома, окинул меня наметанным взглядом и сказал по-турецки:

— Мне доподлинно известно твое прошлое. Слышал, что для тебя убить человека все равно что зарезать петуха. Оттоманский паша, видно, не первая твоя жертва. Скольких ты отправил на тот свет — не спрашиваю. Пусть остается на твоей совести. Ты уроженец Кавказа, не так ли?

Я кивнул в ответ.

— Египет знает абхазцев. Когда-то в давности двенадцать абхазок, став женами знатных каирских мужей, можно сказать, управляли Египтом. Их потомки приняли фамилию Абаза. Люди из этого рода здравствуют и поныне.— Купец плутовато улыбнулся.— Если абхазские девушки обладали государственной сообразительностью, то их соплеменник сумеет выплыть из моря с рыбой в зубах. Тебе, парень, повезло: должны были отрубить голову, но она на месте. Я купил ее. Но если не подчинишься... В твоих интересах не делать этого.

И вручил он меня Исмаилу Саббаху. Так превратился я в караванщика.

И отныне именовался «абаза», что по-арабски значило «абхазец». И вправду я наполовину был абхазцем. Вначале мне поручили кормить и поить верблюдов, выючить и развьючивать грузы. Убыхи искони имели дело с лошадьми, и отродясь не видел я верблюдов. Приступив к непривычной работе, я с неприязнью смотрел на горбатых уродов, но потом привык к ним и стал с уважением относиться к этим неприхотливым, умным и выносливым, словно войлоком покрытым, животным. Они не раз выручали нас во время песчаных смерчей и даже спасали от гибели.

Боже, каким незащитным, маленьким и слабым кажется человек среди сыпучего безмолвия бесплодных песков! Бродяга ветер — собрат стервятника — свистит, наметая сифы*, Сифы — песчаные волны, напоминающие лезвие сабель. Сколько раз за восемь лет пришлось мне пересекать пустыню, в которой погребено несчетное число душ. Похоронят здесь человека, а через час и могильного холма уже нет. Смело, развеяло. Разинет поутру восток огненную пасть — и до самой темноты стоит такое пекло, что испытывшему его ад не страшен. Каждая капелька воды в бурдюках из бычьей кожи — на учете. А ночью холод пробирает до костей. Но костра не разведешь — не из чего.

Мертвую равнину, где гремучие змеи меняют кожу, Исмаил Саббах знал как свои пять пальцев. По золотой орде песков он не однажды прокладывал пути из Каира во многие уголки Африки. Ты хочешь, дад Шарах, знать, что за товары были в наших тюках? Сверху, для вида, шелка, утварь, коврики для совершения намаза и другие безобидные, полезные изделия. Но основными товарами, что скрывались в тюках и переметных сумах, были опий и порох. Закон запрещал торговлю такими вещами, но для Керима-эфенди и Исмаила Саббаха это не было препятствием. Если накрывали с поличным — откупались. Я тебе уже поведал, дад Шарах, что цвет глаз у вожатого каравана менялся не раз на дню, но и сам он то становился воркующим голубем, хоть клади его за пазуху, то взъяренным барсом. Чтобы купить подешевле ценный алмаз, золото или амбру, он готов был вывернуться наизнанку. Казалось, любезнее покупателя не сыскать во всей Африке.

— Хорошо плачу, мой царь, хорошо! Пусть твои болезни падут на меня, если считаешь, что даю не настоящую цену! — уговаривал он несговорчивого продавца.

И когда ему удавалось выгодно приобрести драгоценность, он испытывал истинное счастье и был так доволен, как не был бы доволен, если бы даже воскресали все умершие его родственники. Но во гневе он становился зверем, особенно если вызвавший его гнев был человеком низкого звания.

Однажды затерялся кожаный мешочек с медным ковшиком для варки кофе. Исмаил взял одного из караванщиков на подозрение:

— Где вещь?

— Не могу знать, мой повелитель!

— Ты продал ее, собака!

Мы стали умолять взбесившегося караван-баши, чтобы он не наказывал невиновного. И упали перед Исмаилом Саббахом на колени.

— На дерьме одного верблюда могут поскользнуться другие,— огрызнулся он.

И, выхватив из-за пояса турецкий нож, метнул его прямо в сердце обвиняемого. Раздался предсмертный хрип, и бедный невольник бездыханно распластался у ног убийцы, который на расстеленной по соседству кошме сел глодать баранью ляжку. Ел, благодушно причмокивая, губы лоснились, глаза сощурились и из багровых стали желтыми.

Исмаил Саббах не спеша обглодал кость, а потом встал, вынул из груди убитого нож и приказал поднимать верблюдов.

— В путь!

В небе появились орлы-могильщики...

Доводилось ли тебе, дорогой Шарах, видеть настоящую слоновую кость, о которой ходят легенды? Даруй эта кость исцеление от болезней, не обидно было бы пересекать ради нее пустыню, где тени не сыщешь, чтобы преклонить голову в жару. Но бивень слоновый служит лишь для украшения жизни богатых людей. Он крепок, тверд — пулей не пробьешь, но легко поддается точке и пилке.

Богатство рождает прихоти. Фигуры шахмат, которые любил передвигать на черно-белой сандаловой доске Керим-эфенди, и рукоять его трости были из слоновой кости. И чубук кальяна, и приклад ружья были украшены слоновой костью. Керим-эфенди знал толк в дорогостоящих вещах, и потому пожелал он, чтобы стол в гостиной и кресла к нему были также

увенчаны слоновой костью. А почему нет? У богатого и петух несется. Слышал я, что в кабинете Керима-эфенди стояла белая, стройная, нагая женщина, выточенная из целого огромного слоновьего бивня. Керим-эфенди, глядя на нее, порою вздыхал, вспоминая молодость. И госпоже тоже хотелось иметь не только пудреницы из слоновьей кости или ларцы для бриллиантов.

И вот мы через пустыню, желтую, как лихорадка, подыхая от зноя, жажды и москитов, пускались в земли, где непроходимые леса, где и дышать-то нечем, и добирались до берегов рек, наводненных крокодилами, чтобы задешево приобрести у чернокожих белую слоновую кость.

Но пуще всего ценились алмазы. Это из них делают бриллианты, что дороже золота. Ради того чтобы раздобыть у африканцев алмазы, Исмаил Саббах готов был превратить нас, караванщиков, и всех верблюдов в горсть пыли и сам вывернуться наизнанку сорок раз. У алчности нюх острее, как ни у одной собаки. Из-за тридцать земель нагрянули белые чужестранцы в дикие места, чья глубина таила алмазы. Нагрянули с войсками, с водкой и с собственными священнослужителями. Я воочию видел, дорогой Шарах, как черные туземцы, превращенные в рабов, работали на алмазных копях. Худшей каторги не придумаешь. Когда кончался рабочий день, надсмотрщики обыскивали невольников, заглядывая им в уши, в ноздри, в рот. Не приведи бог утаить драгоценный камушек. Обнаружат — смерти не избежать. Черные племена порой охватывал мятежный дух, и тогда, вооруженные луками, они повергали в трепет поработителей, несмотря на то что у тех имелись винтовки. Приходилось мне видеть, как ветер страха приподнимал на головах господ пробковые шлемы. Если у человека чиста совесть, а бедам, которые на него рушатся, нет конца, то человек вправе решить, что страдает он за чужие грехи.

Было мне, дорогой Шарах, лет меньше, чем тебе сейчас, и мысль, что карает меня небо за прегрешения предков, являлась ко мне все чаще. Правда, я не ведал, чем они так разгневали небо, но то, что я расплачиваюсь за их вину, казалось несомненным.

И вдруг смертный приговор, вынесенный мне, не приводится в исполнение — и я живым покидаю тюрьму. Может, наконец-то смилостивилась ко мне судьба? Как бы не так!

Помнишь, я рассказывал тебе, что мы усыновили внука тетушки Хамиды, которая покончила с собой, бросившись в реку. Так вот, Шардын, сын Алоу, пожелал, чтобы этот смысленный мальчик сопровождал его наследника в Стамбул. Дети были погодками. В пору моего возвращения из Африки Тагир кончал учение и продолжал жить в доме султанского шурина. Многие тайны сделались известны ему. Вот от него-то я и узнал, что, когда начальник полиции доложил великому визирю о смерти Вали Селим-паши, старый хитрец впервые сказал то, что было у него на уме:

— А этот убыхский парень, сам того не предполагая, оказал нам услугу.

И не замедлил сообщить султану о происшедшем, зная, что горькая весть усладит его сердце. И он не ошибся. Ларчик открывался просто. Селим-паша близко стоял к заговору «Новых османов», желавших смены правителя. Султану не доставало улики, чтобы обвинить его в измене и отправить на плаху, но он уже не доверял измидскому губернатору и лелеял мечту избавиться от него. А тут я всадил кавказский кинжал в грудь опального паши. Может, поэтому тянул Абдул-Азиз с утверждением смертного приговора, вынесенного мне. Он словно предупреждал всех единомышленников мною убитого: «Кто пойдет против меня, тот окажется вне закона, а убийц моих противников я не караю строго».

Тагир считал, что Шардын, сын Алоу, содействовал сделке между надзирателем тюрьмы и капитаном невольничьей шхуны. Он не преминул заработать и на мне, уведомив как бы ненароком его величество — правителя Порты:

— А тот убыхский малый, убивший несчастного пашу, сын моего молочного брата. Бедняга мстил за поруганную честь сестер...

Шардын, сын Алоу, не сказал султану, что сам направлял мою руку, но слова его не исключали и такой возможности. Звон колокольчиков нашего каравана достигал многих уголков разноплеменной Африки. Как-то после многодневного перехода под воспаленным, как пасть бешеного волка, небом повстречали мы людей из племени имохар*. Имохар — туареги. Считаются кавказской расой. Высокие, широкоплечие, тонкие в талии мужчины носили на ремнях кинжалы. Женщины племени, оливковоликие, с красивым разрезом глаз, ревниво почитались, хоть содержались в потомственной строгости.

Когда я услышал звуки амзаде, напоминающего апхиарцу, мне невольно вспомнился Кавказ с его воинственными мужами и прекрасными женщинами. Племя племени рознь, но в каждом одинаково плачут и одинаково смеются. Мое крестьянское сердце таяло, если я видел, как доят коров мавры или берберы. Струйки молока текли в чаши, сделанные из огромных тыков, а мне вспоминались наши убыхские деревянные подойники. И схоже пахло парным молоком, хлебом, одинаково мычали коровы и пели петухи, одинаково тянулись к веткам козы, чтобы полакомиться листвой. А звуки свадебных тамтамов напоминали мне звуки горских барабанов. Одни племена возносили молитвы аллаху, другие — Христу, третьи, будучи язычниками, поклонялись солнцу.

Однажды вдоль караванного пути увидел я множество человеческих костей. Иные из них покоились в просторных кольцах кандалных цепей. То белели останки чернокожих невольников. А разве я не был рабом? Белый раб, которого тот же Исмаил Саббах мог убить, как собаку, и не нашлось бы у меня защитника, а после смерти — плакальщицы.

Мерный шаг навьюченных верблюдов, заунывный звон колокольчиков, и конца этому, казалось, нет. Случалось, караванные пути перекрещивались,

сливались и вновь расходились. События то безмятежно тянулись, как барханы, то взвивались, как желтые вихри смерчей.

Помню, остановились мы на ночлег, разгрузили верблюдов, скудно поужинали и поделили часы ночного дозора, чтобы, не дай бог, любители легкой поживы не напали на караван. В это время появляется караван черных невольников, связанных джутовыми веревками, и располагается чуть поодаль. Начальник конвоя оказался старым знакомым Исмаила Саббаха. А ночь стояла безлунная, иссиня-темное небо с кровавым подбоем добра не сулило. Начальник конвоя стал просить нашего караван-баши о любезности: не согласится ли тот дать людей из числа караванщиков, не за так, конечно, а за деньги, чтобы усилить охрану чернокожих, освободить которых всегда стараются их сородичи. Услышав о деньгах, Исмаил Саббах артачиться не стал, напротив, с большой охотой отрядил шесть человек, в том числе и меня, в распоряжение начальника конвоя. Мы разделились на три смены. Я с моим напарником был во второй смене, а черед третьей выпал на долю двух прихлебателей Исмаила Саббаха, вечно наушничавших на остальных караванщиков. В полночь заступив с напарником в караул, я мечтал лишь об одном — откараулить и хоть чуточку соснуть. Вскоре подул ветер, и в просветах между туч вынырнула полная луна. В ее бронзовом свете невольники, лежавшие на песке, были подобны обломкам черномраморных колонн какого-то неведомого древнего храма. И вдруг мои глаза встретились с глазами одного из них. В первое мгновение они обожгли меня ненавистью, а потом спросили в упор:

«У тебя есть отец с матерью?»

«Есть», — не в силах отвернуться, ответил мой взгляд.

«А брат?»

«И брат есть!»

«Где они?» — вопрошали мерцавшие тоской его глаза.

«Не ведаю! Судьба разбросала», — печально признался мой взор.

«Может, и твоих близких гонят в рабство, как нас. А мой брат — при них часовой», — настойчиво внушали его глаза, как жрецы черной магии.

Вот наваждение! Я было потупил очи, но опять какая-то неведомая сила притянула их к его пронзительным, говорящим глазам.

«Поверь, — кричали они, — если мой брат послан сторожить твоих родных, он поможет им бежать, потому что ценит свободу и чтит закон родины».

Я сопротивлялся его взгляду, но был он неотвратим, как судьба, и притягателен, как свобода.

«Не проси, я такой же, как и ты, невольник и не могу тебе помочь!» — И я стыдливо отвернулся.

Но стоило мне отвернуться, как послышались голоса отца, матери, брата и сестер. Одно твердили они: «Помоги этому парню! Помоги!» А может, Шарах, то совесть моя заговорила их голосами? Край неба светлел. Скоро на пост должна была заступить третья смена караула. И я решился: перед парнем, что был связан одной веревкой с другими пленниками, неслышно упал турецкий нож... Мы с напарником сменились и, вернувшись к своим верблюдам, улеглись на кошме. Товарищ заснул как убитый, а я все ждал: что же будет? На рассвете послышались выстрелы и воинственные крики негров. Все невольники канули в сизом тумане. На песке в лужах крови лежало три охранника: двое наших, третий — наемник работорговца.

Кому не приходилось, сынок, встречать в дороге человека или обозрывать местность, обличие которых явственно напоминало черты доброго знакомого или близкого сердцу уголка земли...

Созвездие Большого Креста висело над головой, когда мы, оставив позади проклятую богом Сахару, устремили караванный путь на юг. Вскоре за нашей спиной проснулось солнце. И вдруг в едва забрезживших его лучах я увидел горы. У меня захватило дух. С тех пор как я покинул страну убыхов, мне ни разу не приходилось видеть таких настоящих гор. Я так обрадовался, словно встретил дорогого родственника. Склоны гор были зелены, а гребень — бел. Явь ли это? Почудилось, что стою я на северном берегу Черного моря, блаженно люблюсь Кавказскими горами. И представилось, будто в сладостном сне: держа наперевес ружье, пью, коленопреклоненный, из родника, потом по узкой, как лезвие, охотничьей тропе через заросли ежевики, терновника и клематисов пробираюсь к небу. Окрест поют птицы. Зоркому глазу видны следы вепря и диких коз. Присев на замшелый валун, я прислушиваюсь, всматриваюсь в просвет раздвинутой ветром листвы, и — о удача! — у самой кромки вечного снега стоит на выступе скалы тур...

Отпроситься бы у Исмаила Саббаха поохотиться в горах. Да какое там! Заранее знаю: не отпустит, да к тому же ружье отберет. Еще не высохла роса, а я, будь что будет, с винтовкой наперевес, прыгая с камня на камень, поднимался в горы. В небе парили орлы. «Эх, подняться бы вровень с ними, — подумал я, — и вершины Убыхии, чье отражение ношу в сердце, возможно, предстали бы взору».

Шумела речушка, свивая в косы стремительные волны. На крутом обрыве высокого берега показались две серны. Ветер дул с их стороны, и потому они не обнаружили опасности. Охотничья страсть охватила меня. Прижавшись к камню, я опустил на правое колено и стал целиться. Горное эхо трехкратно повторило выстрел. Горы вздрогнули, словно до меня никто не стрелял здесь из ружья. Сраженная серна, ударяясь о камни откоса, скатилась на берег речушки. Вторая серна, унося в ушах гром выстрела, растаяла в небе. Я заторопился вниз, чтобы освежевать добычу, и тут заметил поодаль чернокожего парня, который стоял, опустив лук. Я

дружеским возгласом приветствовал его. Очевидно, этот местный охотник одновременно со мной целился в серну, но моя пуля опередила его стрелу. Присев на корточки перед добычей, посланной мне Богом Зверей, я обезглавил ее. Если один человек пристально наблюдает за другим человеком, последний обязательно оглянется в его сторону. Так произошло и со мной. Оглянувшись, я увидел африканца, не сводившего с меня глаз.

— Иди сюда! — позвал я его и поманил рукой.

Он быстро приблизился ко мне и что-то дружественно произнес на своем языке. Наверное, это означало: «С удачей тебя!» Обнажив нож, он помог освежевать серну. А я, блюдя охотничье правило предков, разделил тушу на две части.

— Бери, твоя доля! — и положил половину свежины перед ним.

Он понял меня, принял дар и с белозубой улыбкой поклонился. Затем, сняв с мускулистой шеи агатовую вязку бус, надел ее на мою шею.

— Нгути! Нгути! — произнес он, тыча указательным пальцем в грудь.

Я повторил его жест:

— Зауркан! Зауркан!

Чернокожий парень радостно закивал и повторил:

— Зауркан!

И, опрометью притащив охапку хвороста, в мгновение ока развел костер. Отрезав от своей доли два куска мяса, он снял с пояса кожаный мешочек, в котором была соль, посыпал их с обеих сторон, затем выстругал ветку какого-то душистого дерева и, как на шампуре, сунул мясо в огонь. Когда оно зажарилось, он поднес мне большой кусок. Мы поели, похваливая друг друга и сопровождая слова жестами. Нгути во время нашей беседы не сводил взгляда с моей винтовки. Я подал ему ее. Потом, загнав в ствол патрон, закрыл затвор и выстрелил. Нгути заплясал от восторга. Видимо, он никогда не держал в руках такого оружия. У меня не было сомнения, что он хотел бы иметь его. Кто знает, может, оно было нужно ему для охоты или для самозащиты? А может, для борьбы за родину? Мне было пора возвращаться. Нгути проводил меня кратчайшей дорогой в долину. Прощаясь с ним, я снял с плеча винтовку и вместе с патронташем отдал ему.

— Прими на память от махаджира, потерявшего родину. Пусть оружие послужит тебе на славу! — сказал я по-убыхски.

Слов моих он, пожалуй, не понял, но смысл их, уверен, дошел до него. Мы обнялись! Пройдя с полверсты, я оглянулся. Нгути, как отполированный,

сверкая на солнце, подняв над головой винтовку, стоял и кланялся мне вослед.

Ты, наверное, удивляешься, дад, что я так поступил. В этом были виноваты горы: они всколыхнули мой мятежный дух, толкнули на безумную щедрость, заставив забыть, что я сам невольник. Когда я возвратился к месту привала каравана и снял с плеча еще теплую свежину, товарищи мои возрадовались. А как же могло быть иначе, если в течение двух месяцев они питались вяленным мясом, сухим хлебом да сушеными бананами? Но глаза Исмаила Саббаха приняли багровый оттенок. Это был плохой признак. Растянув тонкие губы, он оскалился:

— Где твоя винтовка и патронташ?

— Когда возвращался с охоты, напали разбойники и отобрали,— нескладно соврал я.

— Что же ты не отстреливался?

— Их было много и все при оружии!

— Не считай меня ослом. Ты продал винтовку с патронами губастым разбойникам!

— Вели обыскать, найдешь деньги — голову секи!

— Деньги ты припрятал, шкура! А теперь из твоей винтовки любой из нас может пулю получить.— И приказал караванщикам: — Связать его!

Десять дюжих бедуинов, забыв про свежину, навалились на меня, связали и бросили к ногам предводителя каравана. Я лежал, не в силах пошелохнуться, а Исмаил Саббах, скрестив ноги на кошме, стал пить поданный ему кофе.

Он пил не спеша, ни разу не взглянув на меня. Осушив чашку, «тигр пустыни» поднялся, взял плеть и подошел ко мне.

— Прошу, не бей плетью, лучше пристрели,— извиваясь, взмолился я.

Но свистнула плеть, и посыпались удары. Э-ех, будь это на земле убыхов, такое не могло бы случиться. Когда бы его плеть коснулась даже моего коня Бзоу, я бы заставил ее хозяина сосчитать свои кишки. Били меня плетью впервые. Били на виду у других. Я словно не чувствовал телесной боли, но беспомощная ярость была невыносима. Она жгла мозг и перехватывала горло.

— Кончай бить! Жив останусь — убью! — хрипел я, извиваясь как змея.

Но Исмаилом Саббахом овладело бешенство, он бил меня как одержимый. И тут — ты не поверишь, дад, — напрягшись, я разорвал веревку. В ту же минуту, оказавшись на ногах, как барс-подранок, я метнулся на Исмаила Саббаха. Вырвав из его руки плеть и переломив рукоять, я забросил ее невесть куда. Если бы не караванчики, я задушил бы обидчика. Несколько человек бросились на меня и опять связали. Теперь мне уже все было безразлично. Остыл и караван-баши. До утра я лежал связанный по рукам и ногам, но ни Исмаил Саббах, никто другой не подошел ко мне. Утром предводитель каравана как ни в чем не бывало склонился надо мной и разрезал впившиеся в мое тело веревки.

— Ступай поешь и приступай к делу! — миролюбиво сказал он.

С этого дня Исмаил Саббах почему-то стал более внимательным ко мне, не поручал грязной работы, спрашивал порой совета, распоряжения отдавал, не повышая голоса. Но я понимал, что нож, которым он перерезал веревки на моих руках и ногах, в любую минуту по его прихоти может вонзиться мне в грудь... Однажды Бирам опоздал, не принес в обычное время обед. Солнце уже клонилось к закату, а его все еще не было.

— Что с ним такое? Никогда с ним такого не было! Я-то ничего, а ты и так кушаешь нашу бедную, недостойную гостя еду, — ворчал Зауркан, и я чувствовал, что беспокойство его, несмотря на мои уговоры, все возрастает.

Он несколько раз брался за свой посох и наконец поднялся:

— Пойду к Бираму и узнаю, что с ним случилось!

Но едва дошел до калитки, как появился Бирам с узелком.

Старик вернулся и молча сел, опершись на посох.

Бирам подошел ко мне.

— Извини, дорогой Шарах, — сказал он, — жена заболела, не успела вовремя приготовить обед!

— А что с женой? — спросил я.

— Со вчерашнего дня всю ночь головная боль мучила, но сегодня стало чуть полегче!

Зауркан, слушая этот разговор, молчал словно набрал в рот воды.

После обеда, когда Бирам уже собрал перед уходом кухонную утварь, положив в узелок, я подошел к нему и сказал:

— Если бы ты еще чуть задержался, Зауркан пошел бы к вам домой. Он беспокоился.

— Жаль! Если бы я знал, нарочно бы еще задержался! — ответил Бирам.

— Почему? — спросил я.

— Около десяти лет, наверно, уже прошло, как отец не был в моем доме! — сказал он, еще больше понизив голос, чтобы его слова не дошли до слуха старика.

— Почему?

— И к соседям не ходит. И ко мне не приходит. Наверно, из-за того, что сердит на мою жену. Я тебе рассказывал, у нас ведь нет детей. Так он в который раз уже повторяет: «Мало того, что я одинокий, еще и ты по ее вине останешься одиноким!» Даже не знаю, что отвечать ему; трудно, очень трудно с ним ладить! — Бирам печально покачал головой и ушел.

А я и Зауркан уселись друг против друга и принялись за свою, ставшую уже привычной для нас обоих, работу.

Солнце скрылось, на дворе стало темнеть. Я зашел в дом, зажег коптилку, мы перешли внутрь, и старик все продолжал свое повествование.

Он рассказывал о пережитом во время странствия по Африке. Пробовал восстановить в памяти, где бывал и какие народы видел. Иногда даже вспоминал слова из разных языков, которые слышал там за эти годы скитаний. Больше всего говорил о пустынях, но иногда рассказывал и о дремучих африканских лесах, и о великих реках, по которым плыли пароходы.

Бывало, что у него путалось в голове и он начинал повторяться. «Подожди, не пиши, кажется, не так! — останавливал меня он. — Все, что ли, вытекло из этой тыквы!» И сердито рукой ударял себя в лоб.

Но в общем, несмотря на эти заминки и остановки, я смог понять, что он восемь или девять лет подряд, большей частью пешком, двигался с караванами по необъятным просторам Африки...

Шутка ли, девять лет — целая жизнь! Мальчик, который девять лет назад сосал соску, через девять лет побежит — не догонишь.

...Распродав товар и нагрузив верблюдов скупленными сокровищами, между которых таился опиум, наш караван возвращался в Каир. Надо сказать тебе, дад Шарах, что некоторые из нас, имевшие дом и семью в Египте, радовались возвращению домой. А что ждало меня? Только деньги за несправедные труды. Если бы я даже обрел свободу и вернулся в Турцию, где остались мои близкие, смертный приговор, вынесенный мне за убийство Вали Селим-паши, на этот раз был бы приведен в исполнение. Исмаил Саббах торопился. Привалы сокращались, переходы удлинялись. Позади остался город Сива. «Тигр пустыни» был насторожен. Он не уставал

напоминать нам, чтобы мы и днем и ночью были начеку и смотрели в оба. А сам словно нюхал воздух.

— На этой дороге шайки разбойников не раз грабили караваны,— предостерегал он.

И выдал каждому двойной запас патронов. Безлунной ночью, расположившись на бивак вблизи колодца, мы едва успели расставить караулы, как внезапно, словно ураган в пустыне, из тьмы налетели всадники. Стреляя на скаку, они окружили нас, и мы палили на каждую вспышку их винтовок. Мрак, свист пуль, рев перепуганных верблюдов, храп коней, улюлюканье нападающих — все смешалось воедино. Один из верховых налетел на меня и, свесясь с седла, занес надо мной саблю. Я, опередив его, выстрелил в упор. Рухнув в песок, он издал предсмертный крик на чистом убыхском языке:

— Убили меня, безродного!

На моей голове зашевелились волосы. Я был готов ко всему, даже к смерти, но услышать родную речь среди барханов, где и шайтан не мог бы поселиться, было слишком неожиданной и невероятной явью. К тому же голос сраженного мною показался знакомым. Тем временем, встретив отпор и поняв, что пожить не удастся, конные грабители исчезли так же молниеносно, как и появились. Я подбежал к раненому. Он был при последнем издыхании. Ужас охватил меня: даже в черни ночи я узнал его. Это был Саид, молочный брат Хаджи Керантуха. Я схватил его голову в ладони и почувствовал, что теплая липкая кровь обагрила мои руки.

— Саид! Боже мой, Саид! Неужели это ты? — ошалело бормотал я.

Его глаза предсмертно мерцали. Он, очевидно, узнал меня и, прошептав что-то невнятное, опустил веки. Меня обступили товарищи с зажженными факелами. Радуюсь, что мы остались живы, они с недоумением глядели на меня, рыдающего над телом убитого.

А я словно обезумел, мне хотелось умереть. Такая безысходная печаль охватила душу, что само дальнейшее существование казалось бессмысленным и невозможным. Я приставил ствол винтовки к груди и уже изловчился дотянуться до курка, когда оказавшийся рядом Исмаил Саббах ударом ноги выбил оружие из моих рук. Затем он выхватил из чехла на моем ремне нож.

— Свяжите этого сумасшедшего! — крикнул он караванщикам.

Но я ускользнул от них, пока они втыкали в песок факелы, и кинулся во тьму. Я бежал так стремительно, словно хотел догнать и задержать душу убитого мною Саида. Я мчался не чуя ног до тех пор, покуда силы не оставили меня и я рухнул наземь.

Бедный Саид! Я расстался с ним на окраине Самсуна. Он мечтал возвратиться в страну убыхов, и я считал его сгинувшим на пути к отчим горам. Как он мог очутиться в Африке? Какая нечистая сила столкнула нас? Какому злему духу было угодно, чтобы я убил вольнолюбивого соплеменника моего?

До утра я в дурном забытьи, заметаемый песком, метался на мертвой равнине. Утром, встав, как из могилы, и стряхнув прах с лица, я огляделся. Шагах в десяти от меня сидели два шакала. Я, шатаясь, пошел прямо на них: они отпрянули и потрусил впереди, все время оглядываясь. Почему эти гнусные твари не сожрали меня, полуживого, немощного, безоружного? А может, они брезговали сожрать человека, убившего своего собрата? Пустыня покачивалась под моими ногами, как палуба корабля во время шторма. Все нутро мое пересохло, а солнце поднималось все выше и выше. Вскоре показались редкие деревца. Это не было миражем. Я выходил к оазису...

По высохшим руслу

Я примкнул к чужому каравану. Он направлялся в Каир. Сопровождавшие его люди оказали мне гостеприимство. Они кормили и поили меня всю дорогу и, хотя я не находился под защитой закона, не помышляли заработать на мне, продав какому-нибудь скупщику невольников или выдав прежнему владельцу. Товар, который перевозил караван, принадлежал армянскому купцу. Еще в дороге я узнал, что груз из Каира будет переправляться морем в Стамбул.

Велик Каир, но, походивший на голодранца, перекати-поле, полуголодный, я не имел в этом городе ни одного близкого человека, ни крова над головой. Сердце мое тянулось в Турцию, где оставил я родных и соплеменников. Хоть бы денек побыть в кругу домашних, хоть бы денек послушать милую сердцу убыхскую речь, а потом пусть хоть зарубят на куски тупым топором. Я помогал грузчикам, нанятым армянским купцом, перетаскивать товар на пароход, отплывающий в Стамбул. Узнав, что я кавказец, купец проявил сочувствие ко мне, обул и одел да еще снабдил деньгами на пропитание. Этот человек был богат, но и щедр. Знакомство с ним убедило меня в том, что первое не всегда исключает второе.

И вот благодаря доброте и сочувствию армянского купца я высадился в Стамбуле. Об этом городе я слышал с детства. Убыхи считали, что великолепней и богаче его нет на земле. Когда говорили о ком-нибудь: «Он уезжает в Стамбул», казалось, что человек отправляется на край света. Если в горном селении видели дорогой кинжал или искусной работы женское украшение, считали, что сделаны они в Стамбуле. Даже в песнях глаза красавиц сравнивали со стамбульским янтарем.

Константинополь, как называли иные турецкую столицу, ошеломил меня: белокаменные дворцы, утопающие в зелени, мечети, венчанные полумесяцем, и самая дивная из них — Ая-София, голубая как небо; скопище кораблей под флагами всех стран в бухте Золотого Рога, шумные базары, на которых чего только не продавалось — от золотых изделий до свистулек, от бараньих туш до диковинных даров моря. Крики зазывал, благоухание кофеен, мольба нищих о подаянии, ругань торгующихся, шепот контрабандистов, открытый торг людьми, особенно женщинами. И когда раздавался зычный, словно возглас глашатая, призыв: «Расступись! Дай дорогу!» — это значило, базаром шел паша или богатый покупатель, чей слуга призывал расступиться толпу.

На кладбище все равны, а пока живем, у каждого свое место на земле. Я обосновался у корабельных причалов среди портовой голи. Здесь звучали все языки мира, но грузчики и матросы понимали друг друга без переводчика. Никто никого не спрашивал, откуда он, зачем пришел и долго ли намерен здесь оставаться. Спина моя оказалась способной перетаскивать тюки, бочки, ящики и прочую тару. От матросов я узнал, что в городе появилось много горцев.

— Какого племени?

— Абхазцы!

«Боже,— содрогнувшись в душе, подумал я,— опять началось махаджирство. Неужто и абхазцы совершили погибельную ошибку?»

Меня потянуло в город. В свободное от работы время после заката солнца и по пятницам* Пятница у мусульман праздничный день.я отправлялся бродить по улицам Стамбула в надежде встретить абхазцев из Цебельды, где проживали братья моей матери, или просто знакомого горца. Во дворах мечетей, в кофейнях, у базарных ворот я все чаще встречал людей, одетых в черкески и при оружии. Они говорили по-абхазски. Я слушал их речи. Сладостно и горько мне было при этом. Сладостно оттого, что упоительно ласкал мой слух язык, на котором когда-то пела колыбельные песни мне мать, и горько оттого, что новые махаджиры говорили о том же, о чем говорили убыхи в предместье Самсуна.

День клонился к вечеру, но камни возле базара еще не остыли. На одном из них сидел старик в залатанном архалуке. Из разодранных сапог выглядывали грязные пальцы. Обхватив склоненную голову руками, он всем своим скорбным видом и неподвижностью напоминал надгробный камень. Я присел возле него и спросил:

— Что произошло с вами, отец?

Подняв на меня взгляд, он удивился, ибо не мог себе представить, чтобы человек не в черкеске, не в архалуке был способен говорить по-абхазски.

— Позволь узнать, дад, кто ты будешь? — в свою очередь спросил он.

— Я из ранних махаджиров, убых.

— А-а! — сочувственно вздохнул он. — Вы, убыхи, сами повинны в своей беде, потому что необдуманно переселились сюда, а нас насильно угнали.

— Русский царь?

— Нет! Войско султана, вступившее в Абхазию, чтобы отвоевать ее у русских. Селение предали огню, рубили головы тем, кто противился. Опустела Абхазия, земляк. Обугленная, опустела! — в голосе старика дрожали слезы.

— Скажи, дедушка, не ведаешь ли ты, что случилось с жителями Цебельды? Там жили братья моей матери.

— Спустя три года после вашего безмозглого переселения опять началось махаджирство. Оно вынесло на турецкий берег людей из Цебельды, Дала, Гумы, Абжакуа и Мачары. А нашего брата, как я тебе уже сказал, милый, янычара угнали силой, будь они трижды прокляты! Обезлюдела Апсны. Земля осталась — душу за море выдворили. Собаки воют на пепелищах. Я абжуйский, родом из Тамыша, по фамилии Рацба. Прощай, печальник!

Тут к старику подошли двое парней, наверно сыновья, помогли ему подняться, и, опираясь на них, посеменил он куда-то вдаль.

Если старик не спутал, выходило, что цебельдинцы переселились в Турцию в тот самый год, когда я угодил в тюрьму. У моей матери было семь братьев. И я прикинул, что если не торчат на одном месте, то хоть одного из них я смогу здесь встретить.

В эту ночь мне снова снились горы, весенний паводок в Бзыбском ущелье. Словно тысяча барабанов грохотала река, но сквозь бесноватый гул ее и рокот слышал я ржанье застреленного мною моего коня. И метался огонь над кровлей каштанового дома, и космы огня являли лики героев. И чаще других возникал из пламени Ахмед, сын Баракая, заклинавший нас не покидать родины.

Я проснулся оттого, что один из грузчиков тряс меня за плечо:

— Ты что кричишь и стонешь? Может, занемог?

Утром в порт я не пошел. Потащился в город. Знаешь, Шарах, иные, когда точит их черная тоска, прибегают к хмельному зелью, чтобы забыться, а меня повлекло послушать абхазскую речь. Ничто так не исцеляет вдали от родины, как отчее слово. Ангелом-хранителем пребывает оно во все века. Подсаживался я к людям в черкесках. Больше слушал, чем сам говорил. А горцы — буйные головы — судили и рядили об одном: кто повинен в их

беде? Дело доходило до жестоких споров, до схваток, когда стороны хватались за оружие. И все из-за того, что хотели установить истину: кто виноват? Одни корили себя, другие — судьбу, третьи — царя и султана. Да разве все причины разыгравшихся событий могли быть им известны? А ты пиши, пиши, мой хороший. Кто знает, может, мои рассказы помогут отыскать разгадку на вопрос ма-хаджиров, что и поныне таится за семью печатями. Когда под властью султана оказались воинственные мужчины Кавказа, он, не будь дураком, стал вербовать их в аскеры и личные охранники. Горькое испытание плетью выносят многие, а сладкое испытание пахлавой — не каждый. Одних запугал, других приманил, подкупил плодородной землей и покровительством. Турецкое правительство извлекло для себя пользу из того, что у абхазцев между дворянами и крестьянами искони существует родство. Таких, как Шардын, сын Алоу, приняли с почетом. И землей наделили, и на звания не поскупились. Отвалили угоды, отщепили и подопечным их крестьянам по огороду. А выгода налицо: крестьянских парней взяли в армию — и пошли они во имя аллаха прямо на войну. Сколько из них калеками вернулись, о том только мне да богу ныне известно.

Если помнишь, вначале как-то рассказывал тебе о Каце Маане. Вашего он корня был, абхазского. В свое время немало услуг оказал этот кавказец царю, за что удостоился генеральского чина. После того как мы, убыхи, переселились в Турцию, солнышко на его погонах быстро, говорят, закатилось: помер вояка. Один из сыновей Каца Маана пошел по отцовской тропе: стал офицером русской армии. Другой отпрыск генерала, Камлат, когда упразднили княжество в Абхазии и, отменив крепостное право, ввели русское управление, не покорился новым властям и со всей семьей подался в Турцию.

Османы встретили его с почетом, как старого недруга врагов их. В центре Стамбула дворец предоставили и поставили во главе всех абхазских махаджиров. Как известно, военных даром не кормят. Посылают Камлата с вверенным ему войском в соседнюю арабскую страну, чей имам своевольничать стал и честолюбивых турок послушаться вздумал. Многие абхазцы сложили головы, но армию имама Камлат разбил, а самого захватил в плен. Возвратился героем и попал прямо на свадьбу: дочь его Назифа выходила замуж за наследника турецкого престола Абдул-Хамида. Отгуляли свадьбу, а тут новое торжество — зять Камлата Маана становится султаном. Жесток был новый правитель, беспощаден и по заслугам прослыл «кровавым». Глаза у него были завидующие, а руки загребущие. Три вещи, дад, в мире опасны: нож в руках ребенка, похвала в устах льстеца и власть в руках одержимого величием. Во сне видел Абдул-Хамид Кавказ под сафьяновым сапогом своим. И решил он обольстительный сон превратить в явь. Он назначил Камлата Маана предводителем войска, составленного из махаджиров и турецких головорезов. Путь их лежал в Абхазию. Перед погрузкой на турецкие корабли Камлат Маан обратился к воинам с речью:

— Единокровные братья мои, час пробил! Наместник аллаха на земле, великий султан Оттоманской империи, внемля нашим благим чаяниям,

протянул нам руку помощи, чтобы освободили мы от гяуров отчую землю. Когда вступим с оружием на родной берег, все абхазцы, которые томятся там под владычеством царя, восстанут и присоединятся к нам. Освободим Апсны! Вперед под стягом газавата! Падишахим бин яша!* Да здравствует тысячу лет наш султан!

И множество вооруженных людей пересекло Черное море и высадилось вблизи сухумской крепости. Камлат Маан торопился. Во все концы Абхазии поскакали его глашатаи, призывая народ к объединению:

— Кто хочет быть свободным, присоединяйтесь к армии Камлата Маана — спасителя Абхазии! Он поведет вас на Ингур, чтобы разбить гяуров!

Но вышло не так, как думал Камлат. За исключением сородичей Маана и некоторых сбитых им с толку горцев, пасшие скот в горах и сеявшие хлеб в долинах крестьяне не откликнулись на мятежный клич паши. Люди, принявшие русское подданство, уже не помышляли изменять своего решения. Даже воины Камлата, вступив на отеческую землю, стали разбегаться из его войска. Склонив колени и целуя ее, они шептали: «Прости, Апсны!» К тому же свидетельства их о перенесенных в Турции страданиях отрезвляюще действовали и на неискушенных.

С преданными ему людьми и с турецкими отрядами двинулся Камлат Маан на Ингур. Но русские разгромили его. Наемник султана понимал, что за такое отражение ему не сносить головы. Мало того, что сам он возвращается с позором, еще и многие воины его потеряны: одни — разбежались, другие — убиты, третьи — у русских в плену. И тогда изобрел он для своего спасения коварный план. Отступая, сам сжигал горские селения и распускал лживые слухи о лютой русской мести. Силой оружия и страха загнал он на турецкие корабли тысячи абхазцев. И число их было почти вдвое больше, чем число воинов, с которыми он уплывал завоевывать Абхазию. Но, как ни старался Камлат-паша угнать всех ее жителей, не удалось ему это. Пастухи с отарами скрылись в горах, целые семьи ушли в леса или перебрались к русским. И возродилась из пепла Апсны. Твой приезд, дад, не лучшее ли доказательство тому? Дай-ка обниму тебя, поздняя радость жизни моей!

Душа пеклась о близких. И вот я в дороге. Иду пешком с посохом в руке в Осман-Кой. Путь далек. В лицо мне дует осенний ветер. И чудится порой, что доносит он дым очага, над которым склоняется моя мать.

Частенько вдоль обочин дороги встречались мне заброшенные могилы. Спросишь встречного: кто похоронен в них? Отвечает:

— Черкесы!

Я все не удосужился сказать тебе, Шарах, что всех махаджиров турки величали черкесами. Это прозвище сохранилось до сих пор. Во времена моей молодости «черкес» было словом, равнозначным слову «разбойник».

Поругаются два турка, и если у одного не хватает бранных выражений, чтобы обозвать другого, то обзывал он его черкесом. Еще в Стамбуле услышал я стоустую кровавую историю свержения султана Абдул-Азиза и про зловещую роль, которую играл в ней Шардын, сын Алоу. И до нас, говорят, случалось: один согрешил, а все — отвечали. Но об этом в свой час...

В дороге торопливый путник не замечает, когда кончается ночь и начинается день. Вот и Осман-Кой, прижавшийся к низкорослым холмам. Было за полночь. Дул промозглый ветер, и шел мелкий снег. Слышался лай собак, изредка как бы нехотя перекликались петухи. Я задержался на холме перед капищем святой Бытхи. Гляжу: все вокруг заросло колючим кустарником. Одинокий граб срублен. Вместо него торчит пень, покрытый снегом.

С тяжелым сердцем я вошел в селение. И первое, что я увидел, — это что нет уже дома, где жил некогда Мзауч Абухба. Ворота стояли на месте, а дома не было. Двор был вспахан, и по краям лежали побуревшие стебли табака. В глазах моих потемнело, словно на голову накинули черную бурку. Еле отрывая ноги от земли, подошел я к дому, где жили мы. Стоит нетронутый, только постарел и чуть осел. На балконе играют дети, и холод им не помеха. Втянул ноздрями воздух и по запаху понял: живет в нашем доме другая семья. Подбежала ко мне большая лохматая собака, хотела было оскалить пасть, но словно раздумала, присев поблизости.

Становилось все холоднее. Я вышел на дорогу и услышал звон наковальни. «Да это, наверное, кузнец Давид старается!» — подумал я и двинулся к кузне. Двустворчатые двери ее были растворены наполовину, и еще издали я увидел, как какой-то человек, у которого вместо левой ноги была деревяшка, стоял перед наковальней, ударял молотом — и после каждого удара рой искр летел во все стороны. Голова молотобойца была закутана башлыком. Я приблизился к дверям.

— Проходи к огню, погрейся. Здорово похолодало! — сказал он, не оглядываясь.

Я пересилил подкативший к горлу ком:

— Здравствуй, Дурсун!

Взлетавший над наковальней молот словно застыл в воздухе. Дурсун стремительно обернулся:

— Зауркан! Это ты, Зауркан!

И, стуча деревяшкой, двинулся ко мне. Мы бросились в объятья друг друга. Слезы лились по нашим щетинистым щекам. Красный брусок железа померк на наковальне, а Дурсун нежно ударял меня по плечу могучей ладонью, не стыдясь слез, улыбался:

— Может, ты с небес спустился, Зауркан, брат мой? Родные оплакали тебя как обезглавленного, а ты жив. Ну скажи, скажи еще хоть словечко. Дай убедиться одноному Дурсуну, что не сон ему снится.

И прятал лицо на моей груди. Словно растянув веревочную петлю на своей шее, я спросил:

— Ногу потерял на войне?

— В пустыне Туниса оставил голодному волку. Приковылял оттуда и вскоре отца схоронил. Верчусь один теперь, на одной ноге.

— Великодушный человек был твой отец, Давид. Не забуду его доброты до самой смерти!

— Отец наказал нам жить долго. Да будет сегодняшний день предвестником грядущей радости.

— Не томи, Дурсун, что случилось с моими?

— Когда ты прикончил Селим-пашу в Измиде, Мата вернулся невредимым. Как мне передал мой отец, Хамирза, Мата и твоя мать куда-то уехали. С тех пор о них я ничего не слышал, Зауркан. А в том, что выслали отсюда убыхов, не твоя вина, а Шардына, сына Алоу, но об этом потом, а сейчас ты должен поесть с дороги...

Мы присели к столу, на котором лежали рыба, переломленный на две части чурек и нарезанный лук. На огне грелся медный кофейник. За окном стемнело, шел снег и по-совиному ухал ветер. Фитиль коптилки чадил, и Дурсун несколько раз снимал с него нагар. Неяркий свет освещал бедную трапезу.

— Ты уж прости меня, Зауркан, что так скуден ужин наш. Когда бы я знал, что ты придешь. А у соседей не одолжишь: все новоселы. Такого гостя надо встречать, как встречали желанных гостей мои деды в Грузии. Надо было бы быка зарезать, достать вино,— Дурсун широко развел руки,— вот из такого кувшина, и, кликнув друзей, пить, не хмелея, петь заздравные песни и плясать целую неделю. Но,— вздохнул он горестно,— где прекрасная Грузия, а где мы?

— Невелико слово: на кончике языка уместишь, а всем сердцем владеет! Я за таким душевным столом давненько не сиживал.

Ветер разогнал тучи. Снег превратился в поземку, и на небе мерцали зеленоватые звезды. Дурсун подбросил в очаг охапку дров, и по стенам заплясали желтые отсветы. Мы прилегли у огня, и дремота отяжелела мои веки... Вчера, сынок, я обещал подробнее рассказать тебе о том, что натворил Шардын, сын Алоу. Только на сандаловом дереве наростов не бывает, а в народе — не без уroda. У вас, абхазцев,— Маан Камлат, у нас,

убыхов,— Шардын, сын Алоу. Пришли, говорят, благородные деревья к богу с жалобой на топор, а бог им в ответ: «Вашего он корня — ручка-то у него деревянная».

Шурин Абдул-Азиза был влиятельным лицом турецкого дивана*. Диван — правительство. Власть рождает самоуверенность. То словом, то поступком умножал он что ни день недоброжелателей своих. В глаза — улыбаются, а за спиной — клянут. А про единоплеменный народ — убыхов — и думать не думал. Осман-Кой вспоминал, лишь когда приходил срок налог с крестьян драть. Иным чиновникам или офицерам содействовал, за что взятки брал без зазрения совести. Разбогател, как десять пашей сразу. В разврат пустился, дивя даже виды выдавших обладателей гаремов. Кляузничал, сталкивал придворных, как петухов. Его боялись и ненавидели. Сам великий визирь — хитрая лисица — подыскивал повод, чтобы отослать из столицы куда-нибудь подальше Шардына, сына Алоу. Он пошел даже на то, что уговорил султана присвоить высокопоставленному убыху звание паши, мечтая отправить его в армию, но Шанда блюла интересы брата, и маневр великого визиря не удался.

А как мог Шардын, сын Алоу, удержаться от соблазнов, когда сам султан прожигал жизнь на скачках, в любовных утехах, пирах и охоте. Усыпленный преклонением, лестью, богатыми дарами, доступностью женщин, в один прекрасный день без единого выстрела султан был низложен, посажен под домашний арест в отдаленном поместье и вскоре убит наемником. Свержение Абдул-Азиза послужило сигналом для придворных к объединению против Шардына, сына Алоу. Они забыли все свои распри, споры, вражду и сплотились воедино, обуреваемые ненавистью к султанскому шуруину. Он был арестован, разжалован и предан проклятиям. Над ним издевались, подвергая пыткам и глумлению. Все его имущество в Стамбуле и землю в Осман-Кое отобрали в пользу государства.

Новый султан Мурат, болезненный, полусумасшедший, безвольный человек, вступил на престол. Править страной от его имени стали великий визирь и наиболее влиятельный из пашей. Воистину мир похож на колесо: сегодня ты наверху, но изменила судьба — и вот ты уже внизу, как прах земной. Тот, кто вчера пресмыкался перед Шардыном, сыном Алоу, сегодня плевал ему в лицо и называл собакой. Бывший властелин, сидя в тюрьме, понял, что дни его сочтены, в затаенном бешенстве решил показать себя. Он подал на имя великого визиря прошение, выражая желание отправиться рядовым в действующую армию.

«Это можно,— решил великий визирь,— там тебя, прибудного, чужие или свои быстро прикончат». И вот Шардын, сын Алоу, в одежде простого аскера вышел на волю. Остается только тайной, по своему ли мстительному умыслу действовал вчерашний узник или использовали его в качестве наемника сторонники свергнутого султана.

Было за полночь, когда в центре Стамбула, в местечке Таушанташе, перед дворцом министра Михдат-паши появился Шардын, сын Алоу. Он заранее

знал, что в этот поздний час здесь должны находиться сераскир Хусейн Авни-паша и четверо министров, чтобы вести секретные переговоры. Под плащом на ремне у Шардына, сына Алоу, были два пистолета и клинок. То ли он знал пароль, то ли тайный ход во дворец, не могу, дад, сказать, не знаю, но оказался убыхский дворянин в той самой комнате, где заседали военные. Первым же выстрелом Шардын, сын Алоу, бездыханным посадил обратно в кресло пытавшегося вскочить сераскира. Вторая пуля угодила в лоб капитана Ахмеда Кайсарлы, а Рашид-пашу Шардын, сын Алоу, полоснул кинжалом. Он походил на волка в овчарне, хотя сраженные им сами были из породы волков. Двое других находившихся в кабинете залезли под стол. Караульные не растерялись. Третьего выстрела Шардын, сын Алоу, сделать не успел. Часовые подняли его на штыки.

Весть об убийстве военного министра и его приближенных потрясла страну. Шанда, узнав о смерти брата, отравилась, ибо тотчас смекнула, чем все это для нее кончится. Началось расследование. А когда ответчик мертв, то на него вешают и своих, и чужих собак. Чья-то казнь и чье-то помилование, чья-то опала и чье-то возвышение. Тащи все в кучу. Этот — камушек положил, другой — воз привез, третий не поспешил — всех ломовых города нанял, и образовалась гора грехов. Взяли сообща и возложили их на голову Шардына, сына Алоу.

Вспомнили и ничтожного Селим-пашу. Это для меня — ничтожного, а для других вдруг оказался он чуть ли не святым. «Такой был предостойный человек! Умница, каких немного в государстве! А тоже от руки убыха в могилу сошел!» Море ветром, народ слухом волнуется.

«А вспомните: кто его убил?» — «Некий черкес Зауркан Золак!» — «Некий? Нет, то был молочный племянник Шардына, сына Алоу. И убит Селим-паша был с ведома Шардына, сына Алоу». — «Всех женщин его гарема он потом себе в наложницы взял».

Воистину: не бойся ружья — бойся сплетни. И вспомнили, что приговорен был к смерти я, а казнь все оттягивалась.

«Кто, как не Шардын, сын Алоу, родственника своего от палача спас». — «И побег из тюрьмы этому Зауркану он устроил». — «Конечно, он! Одного поля ягода!» — «Интересно, где скрывается убийца Селим-паши?» — «Может, он с тех пор, как на свободу бежал, еще многих убил!»

Слух миром правит. И получила турецкая заптия* Заптия — полиция.повеление: разыскать Зауркана Золака! Искали по всем городам и селам, но в ту пору находился я при караване купца Керима-эфенди в Сахаре. И произошло, Шарах, самое страшное: вину за убийство сераскира и за убийство Селим-паши возложили на весь убыхский народ. Такие случаи, слышал я, раньше бывали в подлунном мире.

«Кто это такие черкесы, или, как вы говорите, убыхи?» — «Ведомо, что все разбойники. Были бы порядочными, русские их не выдворили бы из

державы своей». — «Приняли ислам, а мусульман не прибавилось!» — «И неплохо устроились, например, в Осман-Кое». — «А вы слышали, что Осман-Кой — гнездо приспешников Шардына, сына Алоу?» — «Всех махаджиров правительство должно выслать на окраину страны». — «Всех в одно место нельзя. Это опасно. В разные места выслать гораздо надежнее. Тогда одни вымрут, а другие сольются с нашим крестьянством, потеряв свой язык и обычаи».

Паши ссорились, а убыхи оказались козлом отпущения. И разобщили их, и под конвоем, разрешив унести только то, что могли они взять на спину, погнали кого куда. Когда махаджиры плыли в Турцию, то у них была еще какая-то надежда. Теперь сопровождала их вместе с тенями конвойных аскеров только безнадежность.

Все это произошло во время моего странствия по Африке. Когда мы расставались вчера ночью, Зауркан казался таким усталым, что я боялся за нашу сегодняшнюю встречу. Но он встал сегодня даже раньше обычного и, подзвав свистом свою черную собаку и накормив, еще долго, стоя во дворе, ласкал ее, то водя рукой по спине, то разговаривая с ней, как с человеком:

— Если бы не мухи, которые заставляют тебя крутиться и ловить их, ты, бедная, наверно, умерла бы здесь от скуки! Ну, хватит, иди к себе! Бедная, почему ты не родилась хотя бы белой масти, чтобы тебя видней было ночью в этой черной дыре, куда загнала меня судьба?

Собака, повизгивая, прижималась к ногам хозяина, словно радуясь его сегодняшней словоохотливости.

«Обычно, едва накормив, он строгим окриком отгонял ее от себя, а сегодня у старика, видимо, с утра хорошее настроение!» — подумал я.

После завтрака, когда мы сели разговаривать, мои предположения подтвердились. Зауркан и правда был сегодня в хорошем расположении духа. И чаще, чем обычно, вставлял в свой невеселый рассказ поговорки и шутки, смеялся сам и заставлял смеяться меня.

Понадеявшись на это хорошее настроение, я наконец решился на вопрос, который уже много раз откладывал:

— А встречались ли на вашем пути женщины?

— Встречались, — ответил он, — я рассказывал тебе о той, которую я любил. Но так случилось, что счастье отвернулось от нас обоих. И я больше никого уже не любил. А так, да, конечно, были женщины... О чем тебе рассказывать? О том, что ты знаешь, или о том, чего ты не знаешь? Если ты сам ничего не знаешь о женщинах — я тебе расскажу о них. А если ты знаешь о них сам, то зачем повторять то, что ты знаешь?

Я боялся, что мой вопрос мог обидеть человека, который в три раза старше меня, но он отнесся к моему любопытству просто, ограничился тем, что отшутился.

Его большие руки с крупными жилами, похожими на выступающие из земли корни старого ореха, спокойно лежали на коленях. Потом он начал задумчиво тереть пальцами бороду и, несколько раз огладив ее, продолжал прерванный моим вопросом рассказ. До весны я жил у кузнеца Дурсуна. Даром хлеба не ел. И дрова из лесу приносил, и в очаге пламя поддерживал, и стряпал, и стирал, и одежду латал. Ни одна работа человека чернить не может, мужская или женская она. Приноровился я и к кузнечному ремеслу, став подмастерьем Дурсуна. Мог цалду, топор и лопату выковать так, что сам Дурсун хвалил мое уменье. Молодой и не хилого десятка, бывало, даже строптивного коня, спутав, валил наземь и подковывал на все четыре копыта. Дурсун радовался моим успехам:

— Если султан узнает о твоих способностях, не миновать тебе должности придворного кузнеца. Станешь подковывать арабских скакунов.

Когда в кузне работы не было, я, отрастивший бороду и усы, так что не всякий знакомый узнал бы меня, ходил по селениям: колоч дрова, чистил коровники и конюшни, траву косил. Выдавал я себя за двоюродного брата Дурсуна, приехавшего из Орды, и назывался Тоуфык.

В кузне всегда толпится народ. Один с делом придет, другой просто так заглянет, новостями обменяться. И хоть называет меня Дурсун двоюродным братом Тоуфыком, не ровен час, опознает кто-либо — и тогда не только мне голову отрубят, но и приютивший меня сын Давида пострадает за укрывательство: в списках полиции числюсь я беглым государственным преступником. Весной все пробуждается, все тянется к солнцу. Живое радуется теплу и с надеждой рвется к свету. Даже вокруг старого, замшелого пня вытягиваются тоненькие прутьки: корни цепляются за жизнь. А кто я? Веточка на корне народа. А народ мой из Осман-Коя выкорчеван и пересажен в бесплодную землю. Оторванный от него, я существую как веточка, чей черенок воткнут в кувшин с водой.

Еще зимой с Дурсуном, сидя перед огнем, составляли планы, как мне безопаснее всего добраться к сородичам. Было решено, что морем надежнее. Для этого надлежало дойти пешком до Измида, остановиться у верного человека, знакомого Дурсуна, а потом с контрабандистами на парусной шхуне достичь полуострова Мерсина и, обогнув его, высадиться в укрытой от глаз морской охраны бухте. Дальше — рукой подать...

В Измиде я, чтобы утолить голод, зашел в харчевню для таких же нищих, каким был сам. Присев в полутемном углу, заказал дешевую похлебку и чашку кофе. Заморив червяка, направился к выходу, пробираясь между столиками, и здесь встретился взглядом с каким-то чернявым человеком. Лицо его мне показалось знакомым, но память, призванная тревогой на помощь, безмолвствовала. Выйдя, я укрылся в толпе, которая текла на

базар, но затылком чувствовал, что за мной кто-то следит. Вдруг за спиной раздался громкий возглас:

— Держите его, держите! Это черкес! Он убил Селим-пашу!

Я оглянулся и увидел того чернявого. Теперь я узнал его. То был один из слуг, связывавших меня в дворцовом саду возле фонтана после того, как их хозяин пускал кровавые пузыри на дне голубого бассейна. Толпа отпрянула, и словно из-под земли возникли полицейские. Скрутить руки безоружному человеку было для них делом одной минуты.

Песня ранения

Вскоре после моего ареста в Измиде состоялся суд. Уж и сам не знаю, какое смягчающее обстоятельство повлияло на его решение, но вместо смертной казни приговорен я был к пожизненному заключению.

Тюрьма, в которую меня посадили на этот раз, располагалась в старой крепости, что мрачно и одиноко возвышалась на самой вершине горы. С трех сторон тюрьму окружала бездна, и только с четвертой стороны к железным воротам ее вела узкая дорога по гребню хребта. Крепостные стены, к счастью, были сложены не из кирпича, а из камня скальных пород, от них исходил холод, но они всегда оставались сухими. Из этой тюрьмы узники на свободу почти никогда не выходили, и потому в народе именовалась она «Откуда не возвращаются».

Камера моя была одиночной, но при желании в нее можно было посадить и второго человека. Освещалась она небольшим оконцем, вернее, просто отверстием размером с голову ребенка на уровне человеческого роста. Края этой дыры были сглажены и отполированы лицами узников, десятилетиями припадавших к ней в тоске по свободе и вольному ветру.

Вначале я вел счет дням и ночам, но потом сбился со счета, и число их перепуталось в моей памяти. Если бы стены камеры имели уши, сколько душераздирающих криков, заклинаний, проклятий, слов, рожденных бредом или страхом лишиться дара речи,— могли бы услышать они. Ни мулла, ни надзиратель, ни родственники, а только опять-таки эти глухие стены обречены были выслушивать предсмертный шепот умирающих, их заведомо невыполнимую последнюю волю.

Одна лишь радость: оконце с двумя вмятинами по бокам Вмятины образовались от ладоней арестантов, припадавших к холодной лунке в стене, чтобы взглянуть на солнце, ощутить его теплое прикосновение на бескровных губах и в пожизненной неторопливости процеживать свежий воздух через ослабевшие легкие.

А главное, чтобы впиваться глазами в пространство и, пока не заболят глаза, наблюдать за тем, что происходит вдали. Взгляд молодых людей на воле, как правило, не умеет сосредоточиться на предметах и явлениях; он словно скользит по поверхности всего, что попадает в поле его зрения. А здесь, в темнице, даже молодые заключенные обретали способность замечать и такую обыденную малость, как полет мотылька и рождение цветка в расщелине скалы. Я, как некогда и мои предшественники, коротал дни, прижимаясь лбом к верхнему краю незарешеченного оконца.

В погожую летнюю пору после полудня, когда солнце нависало над вершиной горы, в камеру сочувственно проникал его луч, подсвечивая один из булыжников в противоположной стене. И покуда луч не угасал, я, согреваясь, стоял перед ним, как перед струей теплого воздуха от огня. А потом я наблюдал закат. И мне казалось, что небо над горой — это место пиршества орла, который растерзал свою очередную жертву.

В бессонные ночи я разговаривал со звездами, мерцавшими над вершиной, покрытой мраком. Каждый раз они искрились по-разному: то ярче, то слабее. И если падучая звезда перечеркивала темь, воображение мое рисовало человека, чья душа закатилась в это мгновение. «Славный был человек», — с грустью думал я, ибо твердо знал, что небо не станет подавать знак о смерти худого человека.

А воинственное движение клубящихся туч напоминало мне ополчение, исполненное буйства и удали. Их озарял изнутри ветвистый огонь, и победный рокот вылетал из них, напоминая пальбу. Порыв ураганного ветра, случалось, швырял мне сквозь каменное дупло несколько капель, и, ощутив их на щеках своих, я со слезами на глазах молился:

— О всемогущий! Если угодно тебе разверзнуть землю под ногами рода людского, если угодно тебе обрушить на его головы небесный огонь, заклинаю тебя, не делай этого нигде, кроме как здесь, чтобы эта крепость, откуда нет возврата, со всеми мучениками и мучителями канула в бездну!

Но глух оставался господь к молитвам моим. Если бог кого-либо забудет, то это навек.

В самом начале моего заточения в темницу я заметил напротив моей камеры на противоположной стороне пропасти среди редких деревьев одинокий двор. На дворе стоял небольшой глинобитный дом, за ним амбар, а чуть поодаль — коровник. Скоро понял я, что обитает в нем семья из четырех человек: мужчина лет сорока, две женщины, одна молодая, другая постарше, и маленький мальчик. Взрослые чуть свет, не покладая рук, начинали трудиться, а мальчик, предоставленный сам себе, играл в немудреные игры.

Шло время, и я до мельчайших подробностей знал все о жизни этой бедной семьи турецкого крестьянина, словно незримо жил под одной с нею крышей. Если кто-либо из домочадцев не выходил утром из дома, меня

охватывала тревога — не заболел ли он? Признаюсь тебе, Шарах, тем, что я выжил, просидев многие годы в каменном мешке, обязан я этой семье. Словно она носила мне еду и воду, подбадривала мой дух, не давая сойти с ума от одиночества.

Наблюдая сквозь отдушину жизнь этой семьи, я понял, что обе женщины — жены хозяина. Наверное, раньше он был более состоятельным человеком и мог содержать двух жен. Всем членам этой турецкой семьи я дал убыхские имена. На Кавказе с нами сосед, ствовала семья тоже из четырех человек: хозяина, его жены, сынишки и сестры. Вот их именами я и нарек моих знакомцев на той стороне крепости. Хозяина дома назвал Шматом, его маленького сына — Навеем, старшую из женщин, сухопарую и смуглую, — Шамсия, молодую, грудастую — Рафидой. Она была матерью Навея.

У нас, убыхов, многоженство искони было запрещено. Женатый человек не мог привести в дом вторую жену. Если бы такое произошло, первая жена ни одного дня не осталась бы с мужем под одной кровлей. Родители или братья забрали бы ее к себе, а мужу за нанесенную обиду грозила бы смерть. Он был бы объявлен кровником рода.

Когда я впервые увидел Навея, ему было годков пять. Шустрый, непоседливый, он играл во дворе с черной собачкой, гонялся за красным петухом или в тени дерева что-то мастерил из прутьев и камушков. Взрослые не вникали в его развлечения. Если мать отправлялась по воду, он увязывался за ней. Больше всех он боялся мачехи. Если от ушиба или укуса пчелы он начинал плакать, стоило ей прикрикнуть, как, обтерев рукавом слезы, Навей утихал, всхлипывая все тише.

Однажды он с матерью, аккуратно одевшись, куда-то отправился, может, в гости, а может, в город. Веришь ли, дад, я ждал их возвращения с таким нетерпением и тревогой, словно был мужем Рафиды и отцом ее сына.

Шамсия всегда ходила в черном и никогда не улыбалась. Очевидно, она была женщиной бесплодной, отсюда и пошли все ее горести. После того как Шмат привел в дом молодую жену, он и вовсе охладел к сухопарой Шамсии, но она не считала себя чужой в доме, напротив, старалась показать, что право первой хозяйки остается за нею. Об этом свидетельствовали громкие раздоры, что изредка возникали в семье.

Шмат жил особняком. Можно по пальцам сосчитать дни, когда в его двор заходили люди потолковать о деле или поведать новости. То были, наверное, соседи из селения, расположенного поодаль и невидимого мне из моего окна. Шмат, как заключил я, был человек малоразговорчивый, степенный, неторопливый. Он медленно ходил, не сразу брался за работу и если рубил, к примеру, дрова, то спорости не проявлял, а когда садился курить, всегда о чем-то думал. Но, несмотря на это, работал он с утра и до темна.

Помню, наступила ранняя весна, склоны гор зазеленели, а Шмат, чем-то опечаленный, никак не начинал вспашку. Я в душе корил его почему зря: мол, что же ты теряешь драгоценное время, ходишь туда-сюда, или не видишь, что самый срок братья за плуг? Оказалось, что у него, бедного, не было волов и он ждал, когда люди в деревне окончат пахать, чтобы самому приняться за пахоту. А поздний посев кукурузы редко дает хороший урожай.

С приближением зимы Шмат точил топор на точиле, прощался с домочадцами и, забросив хурджины за спину, уходил из дому. До весны он обычно не появлялся. Только если слишком много снега выпадало зимой, Шмат на день или два возвращался и, очистив крышу и двор от снега, наколов дров и заготовив корм для единственной коровы, вновь уходил. Я предположил, что где-то за горой или двумя горами шла разработка леса и Шмат уходил до весны на заработки.

Всякий раз, когда Шмат со своими женами мотыжил кукурузу или сажал табак, я был с ним неотлучно. Мои ноздри сладко щекотал запах земли, и кровь в жилах ускоряла бег. Я словно забывал, что сижу в тюрьме, из которой мне не выйти до самой смерти.

Медленно, как нагруженная арба в гору, ползли годы. В день моего заключения в моей бороде, ниспадавшей на грудь, не было ни единого седого волоска, а когда Навей начал уже бриться, борода моя была словно осыпанная мукой. По тому, как все подрастал и подрастал сын Шмата, я и считал годы, проведенные мною в тюрьме. Мальчик был моим календарем. Ночной караул поднял тревогу. Слышались свистки, крики. Грянул выстрел. Я подумал: наверное, кто-то бежал.

А утром, подойдя к оконцу, я увидел, что во двор Шмата входят люди. Потом показался мулла. Сердце мое упало: случилась беда. И действительно, в эту ночь умерла Рафида. Навей, не стыдясь слез, оплакивал мать. Будь я рядом с ним, я постарался бы найти слова утешения. После смерти жены Шмат сильно сдал. Подолгу, облокотясь на палку, сидит, бывало, в тени, склонив голову. Позовут к обеду или ужину — поднимется словно нехотя и не спеша поплетется в дом.

Однажды, когда во дворе находились Шмат с Шамсией, в ворота въехал всадник. Старик и старуха поклонились ему, но он, размахивая плетью, стал что-то громко им выговаривать. Бранил, видать. Потом, распалясь, он двинул коня прямо на хозяина дома. Шмат, который и так еле стоял на ногах, оказался на земле. Шамсия начала кричать, звать на помощь, но никого не было поблизости. «Собачий сын! — сжимая кулаки, заметался я по камере.— Будь я во дворе Шмата, костей бы ты не унес!» И в бессильной ярости застучал кулаками о стену. В памяти выплыл из омута забытья случай, когда Шардын, сын Алоу, взметнул над Матой плетью в Осман-Кое и был выдворен мною восвояси. Я смекнул, что всадник—управляющий какого-нибудь эфенди. По всей вероятности, он требовал уплаты налога.

«Откуда Шмату взять деньги, когда он после смерти Рафиды сам еле ноги передвигает?» -думал я.

Шамсия сидела на пороге и что-то шила или латала. Мужчин в этот день не было дома. И вдруг, гляжу, во двор входят четверо незнакомцев, а впереди Навей. У каждого в руках — винтовка1 «Ишь ты, при оружии парень», — подивился я, считавший ранее что он даже стрелять не умеет.

Шамсия пригласила всех в дом. Мужчины долго не показывались во дворе, как видно, закусывали чем бог послал. «А если эти четверо из разбойничьей шайки и заманили в свою компанию Навея? — встревожился я. — Нет, — сопротивлялась душа со бственней тревогой, — сын честного крестьянина не станет промышлять грабежом. — Но первый голос возражал: — Воспитать человека — годы нужны, а испортить можно в мгновение».

Гости, выйдя из дома, стали прощаться и направились со двора не через ворота, а через лаз в изгороди. Навей, дождавшись, покуда четверо его приятелей скроются из вида, с винтовкой за плечом возвратился в дом. «Что ж это все значит?» — мучился я в догадках. Не отрывая лица от оконца, я старался понять, что происходит во дворе напротив. Ноги мои устали, руки, упиравшиеся в стену, онемели, похлебка из бобов, которую надзиратель сунул в дверь одиночки, остыла в глиняной миске, а я все не сводил глаз с дома Шмата.

И вот вижу, приближается снова тот всадник, что грудью коня повалил на землю ослабевшего Шмата. Въехав во двор, он что-то стал спрашивать у Шамсии. Может быть, он спрашивал ее: «Где мужчины?»

Удостоверившись, что мужчин нет дома, он, повернув коня, поскакал к полянке, где паслась единственная корова — кормилица семьи.

Спешившись, он отвязал один конец веревки, которым к колышку была привязана корова, и, вскочив опять в седло, погнал ее впереди себя, размахивая плетью. Шамсия, воздев руки к небу, стала заклинать его не забирать корову, но всадник даже ухом не повел.

В это время из дома выскочил Навей. В руках у него была винтовка. Вначале я заметил вспышку над дулом, а затем расслышал звук выстрела. Всадник замешкался, бросил веревку и пришпорил коня. Прозвучал второй выстрел, всадник, прижав голову к конской гриве, наметом уходил прочь. Навей привязал корову к тому же колышку на полянке и, сопровождая красноречивыми жестами свою речь, успокоил во дворе утирающую слезы, напуганную мачеху. Потом через тот же лаз в изгороди, через который ушли накануне его товарищи, отправился в горы.

«Молодчина, сынок! Лихо поступил с обидчиком! Ты, оказывается, настоящий мужчина!» — радовался я, вслух нахваливая Навея. И сам, как старый орел в клетке, мысленно расправил крылья и ощутил желание вырваться на волю, чтобы еще хоть раз подняться в небо. Вот как может разжечь в человеке угасший дух его пример мужества. Вот какую силу имеет «глазок» на свободу...

Теперь Навей редко появлялся дома. Наведывая отца и мачеху, он сразу принимался за работу и, окончив ее, немедля исчезал. Колол ли он дрова, полол ли кукурузу, чистил ли коровник — рядом была его винтовка. Давно ли этот мальчик строил из камушков и прутьиков какие-то незатейливые игрушечные сооружения, а теперь, ладный, высокий, в расцвете лет, готов был к защите с оружием в руках и отчего дома, и отчего поля, и своего достоинства.

Случалось, что Навей приходил с товарищами, такими же удальцами, как он сам. Я любовался ими. Эти парни пробудили во мне надежду. Все чаще воображение мое рисовало одну и ту же картину: отряд, возглавляемый Навеем, нападает на тюремную охрану, сметает ее и распахивает двери камер.

«Выходите! — слышится голос Навея.— Да здравствует свобода!»
Перешагнув порог темницы, я обнимаю Навея. И вижу, что он очень похож на моего брата, пропавшего без вести. О сладость надежды! Нигде она так не тешит душу, как в тюрьме.

И если бы Навей предложил мне: «Бери оружие, пойдем с нами. Враг у нас один!» — я бы не раздумывая пошел драться под его началом, если бы даже знал, что первая пуля недруга пробьет мою грудь.

У вас, абхазцев, дорогой Шарах, есть пословица: «Душа утонувшего и на дне моря косит сено надежды». Воистину это так.

В месяц один раз нас, арестантов, выводили на прогулку, но разговаривать нам запрещалось. Осмелившегося заговорить лишали очередной прогулки. Одно время, по ночам, когда наступала могильная тишина, я слышал из соседней камеры, как бессрочный постоялец ее тяжело вздыхал, надсадно кашлял и громко стонал, но потом, даже прикладывая ухо к стене, я ничего не слышал. Умер, наверно, страдалец.

И вот однажды ночью, когда меня терзала головная боль и сон сторонился меня, я вдруг явственно услышал песню страдания. «Мерещится, должно быть,— подумал я вначале,— кто может здесь петь абхазскую песню о ранении?» Но мне не мерещилось. Потрясенный, забыв о собственной боли, я, приложив ухо к холодной булыжине, стал прислушиваться. Мой слух стал чуток, как у летучей мыши. Нет, это не было миражем слуха, действительно кто-то глухим, зыбким от страдания голосом пел знакомую песню. Порою песню прерывал мучительный грудной кашель или узник в соседней комнате замолкал, впадал в забытие, но затем мне снова слышался печальный и мужественный напев. Я улавливал не все слова, а только отдельные из них, но этого было достаточно, чтобы понять, о чем поет сосед за стеною. До зари я не сомкнул глаз.

День прошел в ожидании. И когда далекая звезда над вершиной снова начала мерцать, до меня донеслась его песня. От матери-абхазки еще в детстве я узнал, что песню ранения поет мужчина, когда он смертельно

ранен. Долг и обычай обязывали меня прийти на помощь. Но как это сделать? Призвать к милосердию стражника? В тюрьме для пожизненного заключения любой из стражников не понял бы меня, ибо, жалеючи арестанта, он мог желать ему только смерти. Лишь она избавляла от мук, и счастливым узником считался тот, кто умирал быстро.

Песня ранения... Вспомнилась Цебельда, там жили родственники матери. Я был уже в отроческом возрасте, когда один из братьев матери, раненный в живот, находился при смерти. Близкие и соседи каждую ночь сходились у его одра и пели ему песню ранения. Он, подавляя стон, подпевал им. С этой песней на запекшихся губах дядя умер. Мученик за стеной тоже не жилец, но по абхазскому закону я был обязан выслушать его завещание и после того, как он умрет, закрыть ему глаза.

И когда во вторую ночь собрат за стеной завершал песню, я затаил ее первым голосом, и так громко, что стражник, открыв дверь, гаркнул: «Что ты орешь?» Оставив без внимания недовольство тюремного надзирателя, я трижды запеваю песню ранения, воскрешая в памяти ее слова:

Уаа-райда, не мужчина,
Кто не может, стиснув зубы,
Скрыть страдания свои.
Уаа-райда, не мужчина
Тот, кто стоном может выдать
Боль раненья своего...

Постепенно снижая голос, я прикладывал ухо к стене. Это повторялось трижды. И вдруг убедился: раненый абхазец услышал меня. Он подпевал мне. Сомнения не было, именно подпевал. И я обрадовался этому. Разве, дорогой Шарах, неудивительно, что поющий песню ранения мог почувствовать радость? Такого, наверное, никогда еще не было. Но я и мой сосед по заключению — мы радовались, услышав друг друга. Я кончу петь — он начинает, он кончит — я запеваю.

Обессилов, мы засыпали. И так продолжалось не одну ночь. Но вскоре из соседней камеры в урочное время не донеслось ни звука. «Наверное, отмучился бедняга», — решил я.

Назавтра была прогулка. Казалось, не люди, а тени выходят на тюремный двор. И одна из таких теней отважилась шепнуть мне:

— На свободе большие волнения. Скоро набьют нашу блошницу, как рыбой бочку, двоих на одиночку!

По поведению Навея и его товарищей я еще раньше догадывался, что на воле происходят какие-то перемены.

Не прошло и трех дней, как дверь, побуревшая от ржавчины, с лязгом отворилась, и тюремщики сначала втолкнули в мою камеру деревянный топчан, покрытый тюфяком, а потом ввели арестанта.

— Принимай гостя! — мрачно пошутил один.

В тусклом свете я увидел высокого человека, голова его почти касалась потолка. Густые волосы, еще не тронутые сединой, падали на лоб, а впалые щеки заросли колючей бородой, как терновником Ты когда-нибудь видел, сынок, горные озера вблизи вершины, венчанной вечным снегом? Они всегда такие синие, словно осколки неба. Вот такого цвета были глаза у вошедшего. Он был худой как посох и еле держался на ногах. Но, несмотря на слабость, старался стоять прямо.

— Добрый день! — прижав ладонь к груди, приветствовал он меня. И с печальной усмешкой добавил: — Правда, добрых дней в тюрьме не бывает. Скажи, друг, не ты ли разделял со мной боль и пел песню ранения? Не абхазец ли ты родом?

Его появление ошеломило меня; если бы я не держался за стену, наверняка упал бы.

— Твой приход праздник для меня, — сказал я. И забеспокоился: — Тебе тяжело стоять. Ты садись, садись!

Он опустился на край топчана, и лицо его попало как раз в струю света из оконца. И сердце мое замерло от скорби: на лице синеглазого лежала уже тень смерти.

— Я уبخ, но мать моя абхазка, — и в порыве нежности я, глотая слезы, обнял обреченного.

И здесь он, словно чем-то пораженный, стал внимательно всматриваться в меня:

— В детстве я знал человека под именем Зауркан Золак. Ты очень похож на него. Только тот, коли он жив, будет, пожалуй помоложе...

Слезы застили мне глаза:

— Я и есть Зауркан Золак! Но кто ты, дорогой?

— О боже милостивый! — прошептал он и выдохнул еле уловимый стон. — А говорили, что тебя повесили. Неужто со дня убийства Селим-паши ты сидишь здесь?

— Почти...

— В те годы я был еще мальчиком, но по глазам узнал тебя По глазам...

Больше говорить он не мог. Кашель, удушающий кашель начал разрывать ему грудь. Я помог страдальцу лечь на топчан и подал воды. Когда приступ кашля чуть утих и парень почувствовал облегчение, он, слегка отдышавшись, спросил:

— Ты не забыл, Зауркан, селение Осман-Кой? По соседству с вами жил абхазец — садз Абухба Мзауч. Вы, помнится, были с ним добрыми приятелями. А сын Мзауча — маленький Шоудид больше проводил времени на вашем дворе, чем на своем. Ты еще игрушки ему мастерил...

Несчастный дышал прерывисто и все время держал руку на груди, словно остерегался, что вот-вот проклятый кашель снова начнет душить его.

— Так ты Шоудид? Сын Мзауча — Шоудид?! — воскликнул я.

— Ты угадал, Зауркан.

— Господи, что делает время!

Сын Абухбы Мзауча родился в Турции, в Самсуне, и мой отец дал ему имя: Шоудид! Так называлась одна из высоких вершин Абхазии. Наверное, я мог бы представить себе и не такое, но представить, что передо мной Шоудид, тот самый, которого я когда-то держал на руках и мастерил ему свистульки, — это было сверх моего воображения.

Пулевая рана в его груди гноилась, разливала по телу гибельный жар, испепеляя силы. С каким наслаждением я бы отдал свою жизнь, чтобы только хоть на немного продлить его годы. Он понимал, что умирает, и не жаловался на судьбу, держась стойко, как подобает мужчине. Ему нельзя было говорить, но он пренебрег этим, чтобы поведать мне о том, что случилось с ним и его семьей после того, как я уложил Селим-пашу.

— Мы с отцом и матерью оставили Осман-Кой и переехали в окрестность Адапазары, где вслед за садзами расселились дальцы, цебельдинцы и гумцы. Сородичи помогли построить нам дом. Меня отдали в мектеб*. Мектеб — школа. Я оказался способным, и после окончания учебы в мектебе меня отправили в стамбульское медресе*. Медресе — училище. Проучился я в нем два года, но окончить его так и не смог: не хватило денег у отца. Правда, за два года я успел изучить три языка и приобрел кое-какие полезные знания. В Стамбуле я встретился с Тагиром, внуком Хамиды. Он стал учителем и после того, как убухов выслали из Осман-Коя, последовал за ними. Я переписывался с ним. В далеком селе он обучает грамоте убухских детишек. Достоинейший человек! А наследник Шардына, сына Алоу, Мансоу, хоть и рос рядом с Тагиром, гулякой стал: пирушки, карты, женщины. Отцовские страсти...

Шоудиду не хватило воздуха, к тому же его постоянно мучила жажда. Дай хоть полный кувшин, он его осушит до дна. Для того чтобы он хоть немного отдохнул, я сам то и дело брал вожжи разговора в собственные руки. И о

своих злоключений рассказал ему, и о том, как я породнился с семьей Шмата.

Сына Абухбы Мзауча не очень удивило то обстоятельство, что Навей защищал свой дом с помощью оружия. Оказывается, на воле произошли большие события. Турецкие крестьяне, доведенные до крайнего разорения в результате бесконечных войн и многочисленных налогов, все чаще бунтовали и даже с оружием в руках выступали против султанской власти. И в России было неспокойно... От Шоудида я узнал, что его отец примкнул к войску Камлат-паши, чтобы попасть домой на Кавказ.

— Перед отплытием он сказал мне: «Мать береги и не думай, что я иду воевать с русскими. Как только высадимся, я уйду от Камлат-паши. И еще запомни, сынок. Родина может потерять тебя, но ты никогда не смеешь терять родины в своем сердце». Он, как только высадились на кавказском берегу, бежал от Камлат-паши, уводя с собой сотню стрелков. И пропал без вести. Мать умерла, так и не дождавшись благой вести: отец, оказывается, жив. Я получил от него письмо: старик проживает в селении Джгерда. Он зовет меня к себе... Да не увидать мне уже отца...

И Шоудид закрыл глаза. Я положил ладонь на его горячий лоб. Он попросил воды. Я поднес ему миску с водой, и он с жадностью пил, а в груди у него все клокотало.

Вскоре он продолжил свой рассказ:

— Спустя неделю, как я получил письмо от отца, абхазцы-махаджиры, доведенные до отчаяния поборами и непосильным трудом, восстали и убили управляющего князей Маршан. За это им грозила высылка в пустынные земли или в Сирию. Люди решили вернуться домой, в Абхазию. Решили нанять пароход, но для этого потребовались большие деньги. Таких денег у нас не было. Сгоряча пошли на преступление. Возник план: ограбить почтовую карету, которая перевозила казенные деньги. Я был в засаде. Карету, на нашу беду, сопровождал в этот день усиленный конвой. Началась перестрелка. Пуля прострелила мне грудь. Потом судили... Так и не довелось мне увидеть родины. Если ты, Зауркан, увидишь ее, поклонись ей от меня... Я верю, что придет, еще придет для тебя день свободы! «Уаа-райда, уаа-райда», — затянул он вполголоса песню ранения...

С этой песней на устах он и умер на моих руках. Я, обливаясь слезами, подпевал Шоудиду до последнего его дыхания. А потом закрыл ему глаза, еще не зная, что его слова окажутся для меня пророческими. Все вокруг бурлило и волей мятежного духа менялось. Был свергнут зловещий султан Абдул-Хамид, и власть перешла к младотуркам. Они объявили манифест. Перед многими открылись двери тюрем. И я, за истечением давности совершенного мною преступления, оказался на свободе.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Что может изменить время?

— Как спал, дорогой Шарах? — Старик так озабоченно спросил меня сегодня утром об этом, что мне стыдно ответить ему, что я спал как мертвый.

— Это хорошо, когда у человека сон спокоен! — сказал старик. — А я как только начинаю думать о пережитом, воспоминания, подобно морским волнам, подхватывают и несут меня куда-то мимо сна, как мимо берега. Знаешь ли, дорогой Шарах, о чем я думал ранним утром сегодня? «Пока мой гость, мой дядя по матери, находится у меня дома, я снова не чувствую себя заброшенным и безродным, но как мне быть, когда он уедет?» Думаю об этом каждое утро, с тех пор как ты перешагнул мой порог! Но сегодня мне почудилось, что наши старики, Сит, Соулах и другие, давно ушедшие из этого мира, приказали мне не бояться, что ты уедешь.

«Когда он будет уезжать, дай ему с собой свою душу, — сказали они, — пусть он возьмет ее и вернет родной земле. Ведь и наши души уже давно ушли туда, а твои старые кости так же, как и наши, пусть тлеют здесь, кому они нужны!»

Так сказали они мне, пока ты спал, а я не спал. И если они правы, то даже пусть я не успею, не вручу тебе свою душу — она все равно сама пойдет туда, за тобой! И, наверное, уже недолго ей ждать этого! Проклятая старость! Не обижайся, но я сегодня, наверно, ничего не расскажу тебе. Мне надо побывать в одном месте, а потом, когда вернусь, может быть, я все-таки засну. Усталые ноги иногда помогают голове заснуть, даже когда она не хочет...

Сказав это, Зауркан взял свой посох и вышел из дома. Куда? Может быть, направился к старым могилам? Не знаю.

Бирам пришел, как всегда, к полудню, но, увидев, что нет старика, спрашивать о нем не стал. Посадил меня за стол, накормил и ушел.

И я остался один со своими мыслями, даже довольный этим неожиданным подарком — одиночеством. Записывая, не успеваешь думать. Биография Зауркана Золака, ее кровавая история, как след раненого, тянется через всю трагедию убыхского народа. И меня в который раз поражает точность памяти этого столетнего человека. Сравнивая рассказанное им о себе с историческими датами, почти всегда находишь совпадения. Убыхи оставили кавказское побережье в 1864 году. Если Зауркану Золаку было тогда двадцать четыре года, а так это примерно и выходит по его рассказу, то, значит, он родился в 1840 году и, считая, что ему сейчас в 1940 году, сто лет, говорит мне чистую правду.

«Не больше пяти или шести лет я оставался среди убыхов после того, как мы высадились в Самсуне, считая и годы, прожитые нами в Осман-Кое!» —

рассказывает он. Если верить этому, то он, мстя за своих сестер, убил Селим-пашу где-то в 1869 или 1870 году. А после того как его выкрали из тюрьмы и продали в рабство, он, по его словам, «...восемь лет, спотыкаясь и падая, день и ночь шел по африканской пустыне». И, несмотря на поэтическую форму, суть сказанного — точна или почти точна: если он был в Африке восемь лет, то действительно мог вернуться в Стамбул в 1877 году, именно тогда, когда происходило то насильственное переселение абхазцев в Турцию, которое оставило свой след и в его старческой памяти.

После этого некоторое время был на свободе, и трудно понять по его воспоминаниям, когда именно он опять был арестован, но зато совершенно ясна дата его освобождения. Младотурецкая революция совершилась в 1908 году; тогда же был свергнут и кровавый султан Абдул-Хамид, о котором с таким ожесточением вспоминает старик.

Когда Зауркан Золак проводил безнадежные годы пожизненного заключения, через толщу тюремных стен до его оторванной от всего мира камеры все-таки долетели искры первой русской революции. Вспомним рассказ старика, озаглавленный мною «Песня ранения». Откуда мог знать узник-горец, через расщелину в тюремной стене долгие годы подряд наблюдавший жизнь турецкой крестьянской семьи, что выросший мальчик, которому он дал имя Навей, как и тысячи других турецких крестьян, с оружием в руках восстанет против султанского ига и что даже те самые военные, на которых так надеялся султан, как на оплот своего могущества, вдруг окажутся ненадежными. Ведь именно в те годы — чего старик, разумеется, не знал, но что я прекрасно знаю — двадцать восемь турецких офицеров написали сестре казненного русского революционера, бесстрашного лейтенанта Шмидта, письмо, которое я со студенческих лет помню наизусть: «Мы клянемся бороться до последней капли крови за святую гражданскую свободу, во имя которой у нас погибло немало наших лучших граждан. Мы клянемся еще и в том, что будем всеми силами и мерами стараться знакомить турецкий народ с событиями в России, чтобы общими усилиями завоевать себе право жить по-человечески...»

Откуда мог знать Зауркан Золак все связи между одним, и другим, и третьим — между 1905-м годом в России, казнью лейтенанта Шмидта, письмом турецких офицеров, свержением Абдул-Хамида и собственным освобождением из тюрьмы? Нет, конечно, знать он не мог, но следы всего этого все равно то в странной, то даже в причудливой форме прошли через его рассказ.

И хотя мы с ним пока остановились на этом, наверное, и дальше повесть его жизни не останется глухой к отзвукам истории. Ведь впереди у нас с ним еще и мировая война, и революция в России, и революция в Турции, — и я еще не знаю как, но уже не сомневаюсь, что как-то, каким-то боком все это соприкоснулось, не могло не соприкоснуться и с историей убыхов, и с собственной судьбой старика.

Я, с одной стороны, радуюсь сегодняшнему перерыву, а с другой — тревожусь. Срок моего отъезда близится, что я еще успею и чего уже не успею записать?

Когда Зауркан вернулся, так и не объяснив мне, куда он уходил, он вдвоем со мной, но молча поужинал и лег спать раньше меня. Его присказка — что усталые ноги помогают спать голове — оказалась святой правдой. Я не слышал, чтобы он вставал ночью, а утром, едва мы оба встали, он, словно угадав тревожившие меня вчера мысли и не дожидаясь моих просьб, сразу начал рассказывать. За порогом тюрьмы ожидали меня годы скитаний. Это только так говорится: «Даст бог день — даст бог пищу». Никто ничего даром не дает. Будь хоть трижды неприхотлив и вынослив человек, а без хлеба он не проживет, не правда ли, Шарах? Прах многих дорог покрывал мои ноги. Кем я только не был? Чабанил, нанятый в пастухи владельцем курдючных отар; работал грузчиком в измидском порту; прибирал в лавке богатого купца; был землекопом на строительстве железной дороги. И вот таким образом добрался я до селения Шат-Ипа, где проживали абхазцы-махаджирьы. Близких родственников по материнской крови в живых уже не оказалось, но двоюродный дядя мой по имени Кансоу приютил меня, и прожил я под его кровом почти два года. На кладбище Шат-Ипа он показал мне две могилы. В одной из них покоилась моя мать, в другой — отец. В изголовье обеих стояли неотесанные валуны. Могилы заросли травой. Я огородил их и мог утешаться тем, что мать с отцом последнее пристанище обрели среди своих.

Ты хочешь, Шарах, узнать, как мои родители оказались в Шат-Ипа? После того как я убил Селим-пашу, Мата скрылся. Он был неглупым малым и сразу смекнул, что надо спасти отца с матерью. А путь к спасению имелся один: бежать из Осман-Коя. Так переселились они в Шат-Ипа, где родной брат матери — он еще был жив в то время — предоставил им убежище в своем доме. Убитая несчастьем, произошедшим с дочерьми, и моим арестом, мать не протянула и года. Пять лет спустя скончался отец.

После его смерти Мата решил было построить дом и обзавестись собственным хозяйством, но здесь объявили призыв в армию. Среди других цебельдинцев загребли и его. Военская часть, в которую он попал, направлялась маршем в Аравию. С тех пор ни слуху о нем ни духу, как в воду канул.

И сестры мои без вести пропали. Родственники Селим-паши после его гибели распродали принадлежавший ему гарем со всеми женами и наложницами. Установить, где теперь мои сестры и Фелдыш, да и живы ли они вообще, было невозможно.

Ты, наверно, удивлен, мой терпеливый Шарах, что я с такой легкостью говорю о смерти и исчезновении самых дорогих мне людей. Что поделать? Немало с тех пор воды утекло. Время притупляет боль, высушивает слезы, повязывает память чалмой забвения. Оно — великий утешитель. Не будь у него этого назначения, может, половина человечества сошла бы с ума. А

зачем тогда вспоминать прошлое, ворошить давнее, воскрешать тени предков, спросишь ты? Да в назидание, сынок, ради добра, чтобы предостеречь одного или многих от жестокой ошибки и горького раскаяния в будущем.

Жить бы мне в Шат-Ипа, да затосковал я по убухскому слову, да и отвык я от оседлой доли. Затосковал, и потянуло меня в дорогу, ибо сказано: «У того, кто пришел, есть и обратный путь». Шел не быстро и верст отмахал немного, но стала земля походить на пепелище: сверху зола, а под белым прахом ее еще жар таится. И не на чем взор остановить: все голо кругом до самой черты, где свод небесный лепится к земле. Ветер подул и подхватил пыль, свивая ее в серые жгуты на пути моем. Словно вымер весь свет, и я один в этом сумеречном, обезлюдевшем мире, где воет ветер и впору самому завывать от безысходного одиночества и жути.

Вдруг сквозь клубящееся седое марево я, прикрывая ладонью глаза, заметил какую-то черную точку. Вначале подумал: стервятник. Точка росла, приближалась, и сквозь сиплый хрип и свист мертвящего ненастья я уловил человеческий голос. Он дрожал, как осенний лист на ветке. Кто-то пел протяжную, печальную песню, похожую на плач, на причитание и проклятие одновременно. Ветер то заглушал ее, то относил в сторону, то словно усиливал, направляя навстречу мне. Вскоре я различил человека, едущего на осле. То был старик, чье лицо, обожженное солнцем, походило на морщинистую землю, по которой двигался его низкорослый ишак. Появление живой души ободрило меня. Когда ездок поравнялся со мной, я приветствовал его, приложив ладонь ко лбу. Но он, устремив отрешенный взгляд в мутное небо, не заметил меня, находясь во власти своей печальной песни. Я было решил, что старик, вопреки обычаю, совершает намаз, сидя верхом на осле. Но песня его не походила на молитву, хотя обращена была к небу. Он, проехав мимо, даже не оглянулся, точно желая сказать: «Путник, я тороплюсь. Пусть песня моя расскажет тебе обо мне»

Я глядел ему вслед, и ветер, метнувшийся в мою сторону, донес протяжный голос старого турка. Понукая усталое животное, всадник пел о том, что, кроме старости и ослика, ничего у него не осталось. И обращался к своему выносливому вислоухому другу:

Вези меня, куда велит кручина,
Сквозь даль на все четыре стороны,
Куда ушли мои четыре сына
И там остались на полях войны.

В груди не сердце у меня, а рана,
И горьких слез глаза мои полны.
За это проклинаяю я султана,
И вторят мне четыре стороны.

Всадник таял вдали, и его печальная песня звучала все глуше, пока не оборвалась, как нить. Стыдно признаться, но я позавидовал этому

горемычному старику, ибо он хоть в песне нашел успокоение для души своей.

О, если бы я мог, как этот осиротевший турок, запеть обо всем пережитом, клянусь, я бы выжал слезы из глаз даже каменных людей. Но я оставался убыхом, а какой убых способен петь в одиночку, за исключением лишь песни ранения. Нет, мне для песни нужна была не только апхиарца, но и слушатели, которые соединили бы свои голоса с моим, словно пенистые чаши с горьким или медовым вином. Мы, убыхи, в этом походили на горы: запоет один — эхом откликнутся другие.

— Чтоб тебя волки разодрали, паршивый телок! Все до капли норовишь высосать! — размахивая палкой, набросился на телка, прильнувшего к вымени матери, коренастый старик.

Схватив рыжего обжору с белой звездочкой на лбу за хвост, он оттащил его от коровы и, ударом ноги отворив калитку, загнал телка во двор.

— Еще солнце не село, а ты уже домой приплелась. Обленилась щипать траву, дармоедка! — продолжал выговаривать старик, обращаясь теперь к корове, чьи глаза напоминали спелые сливы, омытые дождем.

Брань старика показалась мне благозвучнейшим приветствием, потому что звучала она по-убыхски.

Пожалуй, в иную, более раннюю пору голова моя закружилась бы от радости и слеза благоговейно скатилась бы по щеке, но сейчас душа моя не была такой податливой на нечаянную отраду.

Боже мой, язык убыхов! И подумать страшно, как давно я не слышал его! Все это произошло в отдаленном селении, куда забрел я в поисках отдыха и ночлега. Из ворот выглянула приземистая старушка:

— За этим пронырой не углядишь! Он и вчера ухитрился выбраться на улицу, чтобы в подойник ничего не попало... Привязывать его надо...

Хоть кожа моя загрубела, как буйволиная, и то по ней прошла дрожь: я узнал голос моей родной тетушки Химжаж, сестры отца. «А старик — это же Сит, муж ее. Как же я сразу не признал его?» — пронеслось у меня в голове.

Какая-то задумчивость нашла на меня. Я стоял, улыбался и думал, сколько же лет миновало с тех пор, как мы не виделись. Из этого состояния вывела меня маленькая пегая собачка, которая с пронзительным лаем выскочила со двора.

— Добрый день! — поздоровался я.

Старик со старухой переглянулись. Их поразило, что незнакомец говорит по-убыхски.

— Добро пожаловать, путник,— ответил Сит, взглядываясь в мое лицо.

— Кто этот несчастный? — не скрывая тревоги, шепнула мужу тетушка.

— Если судить по лохмотьям, то непременно царевич!

Она не поняла его шутки и растерянно спросила:

— Какой царевич?

Здесь я не выдержал и протянул к ней руки:

— Тетушка Химжаж, родная моя, или не узнаешь? Это я, Зауркан!

— Зауркан? — выдохнула она и, зажав пальцами губы, словно сказала что-то не то, обессиленно прижалась спиной к воротам.

— О аллах, кого я вижу! — простонал Сит и, плача, стал обнимать меня.

— Кто это, Сит? — снова пролепетала старушка.

— Несчастная, протри глаза! Перед тобою — Зауркан! — И почти закричал: — Зауркан! Твой племянник!

— Зауркан? Мой племянник? — И тетушка засеменила ко мне, но, сделав несколько шажков, закатила глаза, и ноги у нее подкосились.

Я подхватил старушку, стал дуть ей в лицо, но это не помогло. Она была в обмороке. Я на руках внес тетушку в дом и положил на тахту. Сит, смочив холодной водой полотенце, начал прикладывать его к вискам жены:

— Если уж ты собралась на тот свет, то выбрала самое подходящее время. Родной племянник поможет мне похоронить тебя.

Я был не на шутку напуган. Если тетушка умрет, не приведи господь, я окажусь невольным виновником ее смерти.

— Не бойся, Зауркан, не помрет она. Скоро очнется. Не первый раз! — спокойно махнул рукой Сит. — Ты вон сколько времени в покойниках числился, родней оплаканный, и то воскрес. Дай-ка получше разглядеть тебя, сынок. Не красит время, не красит. Сед как лунь, а ведь давно ли парнем был? Когда бы мать с отцом знали, что ты живехонек, не так страшно помирать было бы им. Ты садись, садись, отдыхай! Ноги небось гудят с дороги, гудят.— И кивнул, словно извиняясь, в сторону жены: — А за нее не беспокойся, придет в себя.

И действительно, тетушка открыла глаза, охая, привстала и, спустив на пол ноги, позвала меня:

— Сядь-ка поближе, сердечный мой.

Она поправила под черным платком растрепавшиеся седые пряди. Я сел на низкой скамеечке подле нее, и она, нежно глядя мою голову, все вздыхала, не в силах продолжить разговор, и слезы в три ручья текли по ее бескровным щекам. Потом она накрыла на стол, и принялись мы, ужиная, изливать души, вспоминать мертвых, как на тризне несбывшихся надежд.

Дом Сита под плоской крышей, как и все остальные дома деревни, был построен из кизяка. Стены изнутри его и снаружи были обмазаны глиной. В доме было две комнаты. Когда я проснулся в одной из них, солнце уже стояло высоко. Снаружи доносились голоса — мужские и женские, произносилось мое имя. Это соседи, сообразил я, явились, чтобы поздравить Сита и Химжаж с моим возвращением.

Быстро одевшись, я вышел к ним. Мигом все пришедшие встали, окружили меня и, приветствуя по-братски, обнимали.

— Здравствуй, Даут! Где ты пропадал, Мурат?

— А ты помнишь нас, Зауркан?

— Как не помнить, когда вы все такие же молодцы! — отвечал я, еле узнав сильно постаревших Хафиза и Хатхва, что были братьями.

Посреди двора стоял на огне котел, в котором варилось мясо. По запаху понял я, что варится козлятина. От щедрот душевных Сит, видать, в долг купил козла, тряхнув старинным гостеприимством убыхов. И вот все мужчины сели к столу, предоставив мне почетное место. Женщины в чадрах оставались за порогом комнаты, и лишь одна Химжаж стояла в дверях, не сводя с меня любящих очей. Соседки подносили тарелки с кушаньем к дверям передавая их расторопному парню, который, в свою очередь, ставил их перед гостями. Раньше в нравах убыхов такого не было. Женщины лиц не прятали и могли вместе с мужчинами угощаться за столом, петь песни и танцевать. Прислуживали гостям обычно лишь молодые девушки, а что касается молодых людей, то им не полагалось сидеть, как равным, со старшими, а тем более вступать в их разговоры. Другие времена — другие песни. Я увидел, что за столом между стариками находятся несколько парней, которые шумно говорят, смеются и даже осмеливаются перебивать седоголовых. В былые времена мясо распределялось между сидящими за столом по степени уважения. Более почетные гости получали лучшие куски, как, например, ляжку, лопатку, голову или половину головы. Человек, в обязанности которого входило распределять мясо, выполнял предписание закона, и такой обычай никого не обижал. А здесь козлятина, разрезанная на куски как попало, лежала на большом подносе, и каждый брал то, что было ему по вкусу Машалыш, одно воспоминание о которой заставляло меня глотать слюни, на столе не было. Ее заменял черствый хлеб. Мед, разбавленный водой, заменял нам вино.

Перед началом трапезы взял слово Сит:

— Почтенные гости, братья и соседи! Сегодня в нашем сиротливом доме праздник. Каждый из вас видит: вернулся Зауркан! Вернулся как с того света! Благодарю вас за то, что вы пришли разделить с нами нежданную радость. Окажите честь, дорогие, и отведайте, пожалуйста, все то, что стоит перед вами, и не взыщите, если что не так! Благослови, аллах!

Сит отпил разбавленного меда и приступил к еде. Все последовали за ним. Шумная разноголосица, шутки и смех огласили дом. Больше всех тараторили молодые, они громко переговаривались и развязно хохотали. Я смотрел на моих старых знакомых, облаченных в ветхие, залатанные черкески, и с грустью думал про себя: «Как подточило их время, а какими были...»

И еще подумалось мне: «Доведись Ситу принимать гостей в своей стране, все выглядело бы иначе. Хоть мясо целого быка подали бы к столу, извинился бы хозяин перед гостями, что угощение его бедно и не выражает того уважения, которое заслуживают собравшиеся. На деревянном подносе пустил бы он по кругу стопку водки для начала, чтобы каждый осушил ее до дна. А вслед за этим избрали бы тамаду. И такого, которому ума и почета не занимать. И начались бы тосты, и не столько насытились бы желудки, сколько души. А в свой час словно с небес спустилась бы застольная песня. А потом удалцы кинулись бы в пляс, положив ладони на тонкие талии. И застенчивые девушки выплыли бы в круг, вызывая на танец седоусых стариков. И они, не ударив в грязь лицом, доказали бы, что есть еще порох в их газырях.

Сит в стране убыхов слыл златоустом и шутником, умеющим подковать словцо. А теперь он будто лез за словом в карман и не всегда находил его там. Былой щеголь, он был одет в обветшалую, латаную и перелатанную черкеску. Одно лишь оставалось прежним в этом не пощаженном временем и судьбой человеке — доброе сердце.

Да и сверстники Сита могли жить только прошлым. А молодые, родившиеся в Турции, и не подозревали, какими молодцами и соколами были когда-то эти полусогбенные старики. И когда поднявшийся Хафиз предложил спеть старинную заздравную песню, молодые даже ухом не повели. Они, чавкая, ели козлятину, споря о каких-то занимавших их помыслы происшествиях.

— Эх, братцы, предки наши так не поступали! — старался перекричать невежливую разноголосицу молодежи Хафиз. — Когда появлялся гость, то ради него они могли забыть даже лежащего на смертном одре. Гости величают песней и радуют пляской!

— Оставь, пожалуйста! «Предки, предки!» Умер Али, да не знаем какой! — отмахнулись от Хафиза молодые.

«Да,— подумал я,— таких среди убыхов не довелось мне еще встречать».

Но Хафиз, невзирая на грубость молодых, затянул старинную убыхскую застольную песню:

Уа-райда, станем петь
О былых героях, други,
И едины будем впредь,
Словно звенья у кольчуги.

Два-три человека из пожилых, в том числе и я, подхватили знакомый напев. Мой голос, чему я сам поразился, звучал свободно, словно вырвался он из цепей молчания.

Уа-райда, в добрый час
На отеческом пороге,
В честь гостей, почтивших нас,
Стар и млад поднимут роги!

Песня как внезапно началась, так внезапно и оборвалась. Хоть на миг, но заставили мы помолчать молодых и послушать нас — последних хранителей родного огня. Шмат, смахнув слезу, улыбнулся мне:

— На исходе жизнь, но благодаря тебе, Зауркан, мы сейчас словно побывали на отчих вершинах.

Женщины, толпясь в дверях и прикрывая рты кончиками платков, глядели на меня с удивлением. Это продолжалось недолго, и снова мы спустились на землю.

Я остался жить в доме Сита. Сыновья его, ушедшие на войну еще из Осман-Коя, пропали без вести, и старики всю свою любовь и заботу перенесли на меня... Если отсюда, мой любезный гость, где мы сейчас с тобой сидим, скороход отправится на юг, то ему понадобятся две недели, чтобы добраться до селения Кариндж-Овасы, что означает «муравьиная долина». Вполне возможно, что до появления убухов не обитало там ни одной твари, кроме муравьев. То была голая, узкая полоса земли... Она напоминала собачий язык, острием своим свисающий в сторону севера. Основание ее и поныне упирается в гниlostные болота, над которыми кишмя кишат малярийные комары, а острие упирается в каменистое плоскогорье. Лето там, как правило, удушливое, палящее. И если оставить поля без полива, то на них и былинки не уродится. А зима тамошняя, напротив, студеная, ветреная и почти бесснежная. Каторжней места не сыскать. Только шайтан в черную пятницу мог подать мысль о выселении убухов именно в эту безжизненную пустошь. Мол, если выживут — их счастье, перемерут — не наше горе. И выселили.

Человек, застигнутый бурей в открытом море, после того как корабль пошел ко дну, может уповать лишь на собственное мужество, силу рук, сжимающих весла, а уж потом — на бога. Убухи, избрав по краям долины менее выжженные участки земли, начали хозяйствовать. Возникло

тридцать селений из кизячных безоконных домов с плоскими крышами. Вдумайся, дад, — «из кизячных домов». Это как насмешка судьбы. Ведь когда-то, строя даже простую хижину, убых отвергал ореховые жерди и применял жерди из духмяного рододендрона, обходил стороной ольху и вырубал стропила из каштана, а кровлю застилал не папоротником, а золотой соломой или смолистой дранкой. И никаких колодцев убыхи не рыли, утоляя жажду из живительных родников. А в Кариндж-Овасы им приходилось долбить омертвелую землю на десятки саженей вглубь, чтобы добраться до мутной воды. И трудно было винить молодых людей, которые родились и выросли вдали от рододендроновых рощ и серебряного клекота горных родников, в том, что не умеют они петь убыхские песни, кидаться в пляс по зову праздничного барабана и скакать на конях, как некогда скакали их отцы.

Знаешь, о чем я всю жизнь здесь мечтал, милый Шарах? Сокровеннейшим желанием моим было хотя бы одну ночь провести в убыхской пацхе. Ах, какие волшебные сны снятся под ее кровлей! Какая бы ни стояла летом жара, в пацхе никогда не бывает душно. Через ее плетеные стены, как из-под птичьих крыл, течет дуновение ветра. А по ночам через те же щели льется лунный свет, и ты ощущаешь его на своем лице. А снаружи цикады распевают колыбельные песни. Блаженство!

А возьми, к примеру, очаг! Ни один убых не мог себе представить жилого дома, в котором не было бы очага. Он, как святыню, почитал огонь, и огонь никогда не гас в очаге. Страшнее не было проклятия, чем слова: «Пусть твой очаг провалится!» И казалось, что впрямь это проклятие кто-то обрушил на головы всех убыхов, и оно исполнилось. Теперь в домах убыхов посреди земляного пола вырывалась яма, под названием тандыр, в ней гнезился огонь. На этом огне готовили пищу и пекли хлеб.

Медная труба

Летний полдень, солнцепек. Куры, забравшись под дувалы, лежат с разинутыми клювами. Все покрыто махровой пылью. На дороге она горяча, это чувствуется даже через сапоги. Крыши, листва редких деревьев, дувалы, ворота, жующие вечную жвачку верблюды — все осыпано пылью. Ударишь ладонью по боку верблюда или ткнешь калитку — и рука погружается в летучий, взрывчатый прах. Селенье словно вымерло, даже собаки не лают. Люди в своих безоконных жилищах пережидают жару. Они просыпаются до восхода солнца, трудятся, пока не раскалится воздух, а потом ждут вечера, чтобы закончить работу. Летом иначе нельзя. Я живу в Кариндж-Овасы как временный постоялец. Во всяком случае, все меня принимают за него. «Раз пришел, значит, уйдет», — рассуждают соседи.

Посредине селения стоит мечеть. Пять раз на день муэдзин всходит на ее минарет, чтобы призвать правоверных к совершению намаза. И снова звучит его голос: «Нет бога, кроме аллаха...»

...К востоку от Кариндж-Овасы осенью появлялись джамхасары, принадлежавшие к племени уарак, потомственных кочевников. Жили они замкнуто, по собственному строгому адату, и чужеродцев в среду свою не допускали. Даже торговые дела с иноплеменниками вели по крайней необходимости. На вид, как все кочевники, родившиеся в седлах, это были статные, поджарые, смуглолицые люди. Промышляли они скотоводством, перегоняли коз и овец с пастбища на пастбище. Когда кочевники располагались в конце лета на короткий срок поодаль от убыхских селений, их черные, из овечьей шерсти, палатки напоминали отдыхающую стаю воронов, готовую каждую минуту подняться и улететь. Предводителем джамхасаров был Джавад-бей, суровый, необщительный старик. Несмотря на то что в его гареме были убышки, он не щадил убыхов. Даже устраивал на Кариндж-Овасы набеги, похищая женщин и скот.

Само собой разумеется, что махаджиры хватались за оружие, защищая свое достояние и честь. И всякий раз лилась кровь, но кто думает о последствиях, очертя голову кидаясь в схватку?

К западу от голой равнины жили шаруалы. На слово приветливые, обходительные, всегда себе на уме, расчетливые и чуть плутоватые, они из поколения в поколение занимались одним промыслом — торговлей, держа в своих руках не только ближние, но и дальние базары.

Шаруальская мать, укачивая сына, пела над колыбелью:

Баю, баю, спи, сынок,
Для всего наступит срок.
День придет. Отцу под стать
Будешь в лавке торговать.

С появлением убыхов в Кариндж-Овасы едва ли не на следующий день нагрянули шаруалы:

— Кому чуреки! Кому чуреки!

— Керосин! Керосин! — слышались крики новоявленных коробейников.

Вскоре один из предприимчивых шаруалов открыл лавочку в убыхском поселении, другой — кофейню, третий начал ссужать наших небольшими деньгами под процент. Когда открылась мечеть, то муллою в ней стал хаджи* Хаджи — «святой человек», совершивший паломничество в Мекку. опять-таки из рода шаруалов, а сельским старшиной — его троюродный племянник. Говорили, что даже сам вали-губернатор — выходец из племени прижимистых шаруалов.

Со временем между убыхами и отпрысками этого купеческого корня установились не только торговые отношения, но и родственные. Смекалистые, не промах, парни забывали о базарных днях, удачных сделках, должниках, когда видели красивых убыхек. Свадебные тосты в результате этого звучали на двух языках, а чаще на турецком, чтобы было понятно большинству приглашенных. И убыхские женихи, родившиеся подданными Османской империи, охотно женились на девушках с приданым, нажитым на торговле и ростовщичестве.

Ты не забыл ли, дад Шарах, Тагира — внука старухи Хамиды, что покончила с собой, бросившись в волны реки Чорох? Еще в тюрьме, откуда нет возврата, сын Мзауча Абухбы, царствие ему небесное, рассказал мне о том, что Тагир, став знатным грамотеем, отправился добровольно вслед за высланными убыхами. Воистину все было так. Он учительствовал, обучая детей чтению и письму на родном языке. Как ты понимаешь, для такого благородного занятия надлежало иметь книги. Но книг на убыхском не существовало. Вот и пришлось ему самолично составить убыхский букварь. Конечно, это была рукописная книга и, наверно, единственная в истории нашей. Мулла не мог оставаться безучастным к такому предосудительному, по его разумению, поведению «черкеса». «Зачем детям знать какой-то там бесовский язык? То ли дело я, мулла, учу их турецкой азбуке, чтобы вывески могли читать, а в будущем расписываться в получении воинских повесток. К тому же раз они в мектеб ходят, то и арабский обязаны зубрить. Коран по-арабски писан. Молитвы в стране ислама надлежит знать на память. А учить их языку, на котором ни молитвы не прочтешь, ни имени султана, — затея вредная, ибо отвлекает учеников от занятий, предписанных свыше. А если смотреть сквозь пальцы на самовольство учителя Тагира, то, еще чего доброго, отпрыски разбойничьего семени проявят усердие и научатся чтению и письму по-убыхски. А потом, с годами, пойдешь проверить, о чем они пишут и что затевают. Спаси аллах, и без них полно смутьянов».

Распаляя подозрительностью свою бедную голову, мулла все чаще приходил к убеждению, что дело здесь нечистое.

«Откуда взялся этот осведомленный в науках Тагир? Из Стамбула! А в Стамбуле рос он где? В семье изменника и убийцы Шардына, сына Алоу. Тот и оно». И доносил своему начальству мулла: «Ставлю вас в известность, что сей нечестивец Тагир мало того что обучает детей инородцев небогоугодному языку, вопреки предписанию и закона, но и выступает ходатаем бунтарей и душегубов. Так, невзирая на султанское ираде, подстрекал единоверцев не платить налоги Али Хазрет-паше, сочинял жалобы и на мухтара*, Мухтар — местный начальник.и на управляющего паши Хусейна-эфенди. Эти жалобы, а вернее, кляузы, писанные якобы от имени народа, не раз сам доставлял он во дворец великого визиря».

Что правда, сынок, то правда, был Тагир заступником народа и ходатаем его. Пророк слова свои через писца донести старался, а убыхи — через Тагира. Но как летний снег волновали визиря наши заботы. Он и краем уха не повел, только подивился: «Что? Убыхи? Неужели до сих пор не вымерли

и не смешались? Значит — сами виноваты!» И все старания и усилия Тагира остались втуне. А мулла добился своего: учить детей убыхскому языку запрещено было внуку Хамиды раз и навсегда. Это случилось накануне моего появления в Кариндж-Овасы. Я хотел повидаться с Тагиром, но не пришлось. Он опять отправился в Стамбул о чем-то хлопотать в защиту односельчан...

Как ты сам понимаешь, дорогой Шарах, жить нахлебником в доме Сита я не мог. Подумал было заняться кузнечным делом, которому меня обучил сын Давида, но из одного благого намерения кузни не построишь, молота, наковальни, щипцов и других принадлежностей не приобретешь. Одолжил бы деньги у Сита, да откуда они могли быть? «В моем кармане лишь блоха на аркане», — горько шутил он. На один уголь в этой безлесной равнине и то потребовались бы немалые деньги. Стал я помогать старикам по хозяйству: сеял с ними хлеб, хотя какой можно было снять урожай на выхолощенной суховеями земле? К тому же не следует забывать, что надел Сита и тетушки Химжаж можно было, как говорится, буркой накрыть. Хотели было заняться выращиванием хлопка, но отступились: на него воды не напасешься. Однажды мы раздобыли семена дикой тыквы. Называлась она горлянка. Высадили семена и сами подивились: тыква уродилась на славу. Бедняк на выдумку горазд. Стали мы эту тыкву высушивать и ладить из округлой корки ковши с красивыми ручками, цедилки, чаши и прочую утварь. Наловчились и детские игрушки делать из сушеной горлянки: куклы, украшенные птичьими перьями, маски с усами из шерсти и прорезями для глаз. Нехитрый этот товар продавали на базаре. Правда, на продаже его много заработать было трудно, и привозили мы домой лишь медные деньги.

Слава богу, что отец мой не дожил до того позорного дня, когда его сын, рожденный быть пахарем и воином, оказался рыночным продавцом всех этих пустяковин.

Как-то под палящим солнцем, страдая от назойливых мух, я до самого вечера, разложив перед собой изделия из горлянки, проторчал на базаре. Солнце начало садиться, когда я на вырученные деньги купил соли, керосина, хлеба и пустился в обратный путь. Настроение было скверное, меня угнетало сознание, что дело, которым я занимаюсь, не дело для истинного кавказца, а кроме того, огорчали и настораживали услышанные мною вести. От людей я узнал, что не миновать новой войны. Говорили, что греческие войска готовятся высадиться в Измиде, а на Мерсинском рейде бросили якоря французские корабли; что в Стамбуле англичане диктуют свою волю лишенному самостоятельности султану, втягивая его в кровавые сделки. Дома, рассказывая Ситу о слухах, дошедших до меня на базаре, я выразил тревогу за судьбу убыхов.

— Поссорится князь с княгиней, а попадает служанке! — мрачно отозвался старик.

По пятницам я стал посещать мечеть. Не подумай, что Зауркан Золак оказался обращенным в магометанскую веру. Нет, мне приходилось так поступать только ради того, чтобы не подводить Сита и тетушку Химжаж. Что бы сказали о них, если человек, которому они предоставили приют в своем доме, слыл безбожником?

Должен тебе, дорогой дад, сказать, что все убыхи за годы моего скитания по Африке и пребывания в тюрьме прониклись исламом. Это обстоятельство немало поразило меня. Мне даже казалось, что они являли более благочестия, нежели жившие среди них шаруалы.

Каждую пятницу и старики, и молодежь отправлялись в мечеть. Теперь сородичи мои постились согласно мусульманскому календарю, что, правда, при убогом достатке сделать было нетрудно, а также не работали по праздникам, особенно в дни уразы и навруза. Обращаясь к небу, они уже не зывали: «Боже, помоги!», а произносили: «Помоги, аллах!» — и складывали перед собой ладони. Но что более всего поразило меня: не брали в рот хмельного. Да, все меньше походили эти люди на убыхов...

Ты спрашиваешь о Бытхе, милый Шарах? Как раз я и собрался тебе рассказать о ней. Еще существовала эта святыня, и старики продолжали поклоняться ей. Такое поклонение не должно тебя удивлять. Мне в молодости доводилось видеть, как шапсуги поклонялись стволу грушевого дерева, на котором был изображен крест, хотя слыли они язычниками. Да и среди черкесов всегда было две или даже три веры: одни поклонялись Христу, другие исповедовали ислам. А у иных черкесов имелись даже малые божества, как бы христианские святые, слитые с языческими божествами, вроде Мерисы, покровительницы пчел. Эти черкесы уверяли, что однажды в холодный год у них погибли все пчелы, кроме одной, которая уцелела, потому что укрылась в рукаве безгрешной Мерисы. От этой, мол, спасенной пчелы и возродился медопрносящий род.

Жрецом Бытхи являлся, как и прежде, старец Соулах. К тому времени вошел он уже в преклонный возраст, как я сейчас.

И вот как-то Сит говорит мне:

— Соулах занемог. Пойдем навестим его, сынок! Жаль, что ты не проведал старца до сих пор!

Я повиновался, и мы отправились к больному жрецу. Мой спутник был одет, словно шел на торжественный сход. На нем была черкеска, под ней — бешмет, на поясе висел кинжал, а в руке Сит держал посох с железным наконечником. Старик вырядился так празднично, чтобы вид его был приятен очам жреца. Встречные здоровались с нами:

— Салам алейкум!

И, вонзая в землю острие посоха, Сит отвечал всякий раз:

— Ваалейкум ассалам!

Ни одного прежнего убыхского приветствия. Вместо «добрый день» или «рад тебя видеть» — «салам алейкум», «ваалейкум ассалам»! А ведь говорили это убыхи! Как могло-такое случиться? Я спросил об этом Сита. Он ответил кратко:

— Привыкли!

На дороге мальчишки играли в «ножички». Когда мы проходили мимо них, ни один из них не поднялся, чтобы уступить нам путь. Все они, словно не замечая седобородых прохожих, продолжали азартно вонзать в землю стальное жало. Пришлось их обойти. Один черноволосый мальчик, по виду старший, оторвался от игры и, глядя вслед Ситу, крикнул:

— Сбрось шерстину, дед! Дай костям проветриться.

Игравшие расхохотались. Но Сит даже не оглянулся. Должно быть, он не раз слышал, как потерявшие стыд мальчишки подшучивают над пожилыми людьми. Новые времена — новые обычаи.

— Эх-эх-хей! Лучше бы не родиться мне! — проворчал старик и о чем-то задумался. Может, понунив голову, вспомнил дни своей юности в Убыхии. О, там все было иначе!

«Коня!» — прикажет, бывало, седобородый старец, и мальчик Сит опрометью кидается к коновязи и подводит скакуна. И пока почтенный всадник садится в седло, мальчик придерживает стремя. А если выпадет честь сопровождать верхом этого всадника, то едет по левую сторону его, на полкорпуса сзади. Осадил коня старик, чтобы спешиться, а мальчик Сит уже на земле: одной рукой держит повод, а другой стремя, помогая спешиться. Потом устремится вперед и откроет перед ним калитку. Сядут старики к столу, принесет воду в кувшине, таз и полотенце, чтобы омыли они руки перед едой. И сколько бы ни сидели старшие за столом, хоть трое суток, будет им прислуживать, не присев ни на минуту. И пока не спросят, слова не вымолвит. Годы промчались, сам стариком стал, а молодежь нынче пошла другая. Те сопляки, что в «ножички» играют, плоть от плоти, кровь от крови убыхов, а горского воспитания в них и в помине нет. Значит, это только слова — что они убыхи, а кто они на самом деле — даже и не скажешь...

Когда мы вошли во двор дома, где жил Соулах, я увидел одетого во все белое, как для отправления молебна, жреца. Он сидел на низкой скамье, держа алабашу*. Алабаша — посох с железным наконечником. Пепельная борода доходила ему до пояса. По обе стороны от него сидели местные старики. Соулах узнал меня и, поднявшись, обнял:

— Да придет счастье в дом, приютивший тебя.

И усадил меня рядом с собой, хотя я сам не осмелился бы сидеть на столь почетном месте. Старец страдал головными болями, но сейчас словно забыл о них. По его велению я поведал ему о своих скитаниях и годах заключения. Мой рассказ его взволновал.

— Братья мои,— обратился Соулах ко всем окружавшим его,— если бы вы сегодня не навестили меня, я бы все равно призвал вас. То, что и Зауркан здесь, это ко времени. Принял я решение сложить с себя обязанности жреца.

Такое неожиданное известие ошеломило нас.

— Давно я пришел к мысли об этом, но все медлил сказать, остерегаясь, что для вас — последних убыхских стариков — будет это тяжким ударом.

— Помилуй, не вправе ты поступить так. Твой разум и воля еще с тобой, и негоже тебе торопиться. Долг, возложенный на тебя народом, нелегок, но при упадке духа наших сородичей, стоящих пред бездной забвения, решение твое поспешно,— не скрывая тревоги, возразил Сит.

— Крепость духа важней, чем крепость ребер,— напомнил Даут.

— К чему предводитель, когда некого вести? Дерево не может жить, если корни его подрублены! Кому нужен жрец при святыне, которая давно в забвении? — печально, опустив голову, произнес Соулах.

— Нет, уважаемый Соулах, пока существует хоть один убых, поклоняющийся святой Бытхе, не можешь оставлять свои обязанности,— встал на сторону Сита его ровесник Татластан.

— Вашими устами говорит страх перед завтрашним днем народа, а моими — истина,— сказал Соулах.— Горька она, но куда от нее денешься...

Старец замолчал. Приступ головной боли заставил его долго сидеть не двигаясь. Это был уже совсем дряхлый человек. Морщины, избородившие его чело, были глубоки, как борозды. На горбинке носа, выступавшего как скала из-под снега, кожа была так тонка, что сквозь нее просвечивал хрящ. Губы дрожали, словно он все время что-то нашептывал. Глазницы ввалились. Из глубины их смотрели на свет выцветшие, холодные, как стеклышки, голубые глаза, подернутые серой дымкой. Голос жреца, некогда зычный, звучал теперь глухо, как из пещеры.

— Сказано: уважь и старшего, и младшего. Будь по-вашему! — когда головная боль утихла, изрек Соулах.— Соберем сход и воочию убедимся, много ли осталось ищущих покровительства Бытхи.

— Число их уменьшилось, но не иссякло,— в глубине души не будучи в этом уверенным, обнадежил старца Даут.

Но жрец не терял трезвости и в словах Даута почувствовал слабодушный вымысел:

— За коровой бредет теленок, за рассказчиком — сказка. Ждать недолго осталось. В первый же четверг созывайте людей. Если откликнутся...

— Э-э-ех! Были бы мы у себя дома, стоило бы только в трубу протрубить, как все явились бы разом,— вздохнул Сит.

Мы поднялись, чтобы разойтись по домам, но Соулах попросил нас повременить. Он подозвал своего болезненного, однорукого внука и что-то тихо приказал ему. Тот кивнул головой, скрылся в доме и через минуту вынес прекрасный старинный кинжал на убыхском поясе и священную медную трубу.

Соулах поднялся, взмахом, насколько хватило сил, вонзил алабашу в землю и огладил бороду.

— Братья,— с неожиданной пылкостью обратился он к нам,— знайте, что это перешло ко мне от дедов и отцов моих. Знайте, что этот кинжал выкован еще тогда, когда край убыхов процветал в славе и доблести. Все владельцы его были настоящими мужчинами, и длань каждого из них была продолжением стального лезвия. А эта труба слыла глашатаем народа, вестницей его радостей и горевестницей. Даже горы вторили ей. Я стою у края могилы. Мой внук, как вы знаете, человек больной и малоопытный.— Соу-лах повернулся ко мне: — Сын мой, Зауркан Золак, ты моложе всех присутствующих, а страданий перенес больше, чем любой из нас. Слабых духом страдания разрушают, а сильных духом — закаляют. И потому только ты достоин унаследовать вещи, на которых лежит печать судьбы.

— Уволь,— оторопел я,— могу ли быть преемником их? Ведь на мне кровь невинного Саида и кривлю душой я порою, ибо хожу в мечеть, не веруя...

— Подчинись! Мне видней,— сказал старец. Присутствующие стали меня поздравлять с оказанной честью. И, положив руку мне на левое плечо, Соулах повелел:

— В четверг утром ты явишься к священному капищу. Встанешь на вершине холма, приложишь к губам медноголосую трубу и воззовешь. Да напомним людям ее зов, кто они! Павшие духом да воспрянут, забывший себя да обретет себя! И если мы не лишились милости бога, сход состоится!

Старики приободрились, словно скинули с плеч по десятку лет. А я стоял перед ними и не знал, радоваться ли мне или плакать.

Конец нашего жреца

Наступил четверг, день, которого мы, пожилые, ждали с замиранием сердца. Небо темнело от осенних низких туч, неприятно мчавшихся куда-то вдаль. В воздухе запахло дождем, но еще клубилась пыль на дороге. Отары, принадлежавшие джамхасарцам, спустились с гор и норовили подобраться к нашим полям. Убыхские дозоры, вооружившись, постреливали накануне ночью в сторону кочевников, а те, в свою очередь, палили по часовым.

Рано утром, как было мне велено, я поднялся на холм, чье темя венчал худосочный граб, посаженный в год появления убыхов в Кариндж-Овасы. Очевидно, почва не подходила для его жизни, и потому вырос он убогим и жалким. Под неказистым деревцем в глубине каменной ниши покоилась ястребиноликая Бытха. Я стоял напротив нее и все не решался начать трубить. «Разве под силу мне, чья грудь уже слаба, набрать столько воздуха, — думал я, — чтобы, дунув в трубу, подать громогласный зов, который слышали бы сотни людей?» Но выхода не было. И, прильнув губами к мундштуку трубы, я извлек себе на удивление из ее огненного горла протяжный звук. Уверовав в свою силу, я продолжал трубить. Вначале лицо мое было обращено на восток, потом я обратил его в противоположную сторону, не отнимая трубы от губ. Вскоре север был у меня за спиной, а затем за спиной оказался юг. Я трубил и трубил. Переводил дыхание и снова дул в трубу. Кровь стучала в висках. В горах эта труба звучала по-иному. Там, откликаясь, вторили ей горы, а ветер, дующий с моря, не позволял звуку покинуть гнездовье эха. А здесь, казалось, ее призывный голос тягуче ударялся о низкие тучи и угасал в них, как в войлоке. Начался дождь. Я напрягал легкие, дул в трубу, и на лице моем капли пота сливались с каплями дождя. Труба не пела, а издавала гудки, как пароход, взывающий о помощи.

Я изнемог и присел под деревцем, положив трубу по правую руку. Накрапывавший дождь прекратился, и сквозь клочковатые тучи выглянуло солнце. Сход должен был состояться в полдень, и у меня оставалось время, чтобы пойти домой и возвратиться к назначенному часу. Но мне хотелось посидеть в одиночестве, предаваясь раздумьям. И я остался.

Дошел ли зов трубы до убыхов? Каким мыслям предаются они сейчас? А если соберутся в полдень, станут ли слушать Соулаха? Душевное смятение постепенно утихало, уступая место блаженному состоянию покоя. Какая-то дрема охватила меня. Сквозь полусомкнутые веки я увидел горы в дымке утреннего тумана. Заостренные хребты сверкали первозданной белизной. А по склону, сквозь зеленое буйство чащобы, вся в белой пене, каскадом спадая с гранитных уступов, мчалась речка Сочи. Но вот она достигла долины и, обретая прозрачность, потекла медленней. На донных камушках отражалось солнце. В том месте, где русло уже, а берега выше, речка была оседлана узким мостом. Я стоял на нем, глядел в воду и видел безбородое молодое лицо свое. Вдруг раздался еле уловимый треск камышинки. Я оглянулся: три косули, пугливо озираясь, спускались на водопой. Какие у них были прекрасные глаза, отороченные длинными ресницами. Такие глаза я видел не раз у женщин в горных селениях. Со мною моя кремневка, но стрелять жаль, и я отодвинул от себя ружье. Почему оно такое холодное?

О господи, да это же труба... И здесь я очнулся. Передо мной лежала в желтых подпалинах земля. Замухрышка граб, как юродивый, что-то пролепетал мокрой листвой, и меня охватил страх. Где я был минуту назад? Неужели заснул? Нет, нет, я даже не смыкал глаз! Но как могло явиться мне видение, подобное сну? Или человек способен видеть сны с открытыми глазами?

Мысли мои отвлек путник, который направлялся к подножию холма. На всякий случай я бросил взор на небо. Нет, солнце еще не поднялось в зенит; следовательно, если этот человек спешит на зов моей трубы, то он опережает событие. Идет с непокрытой головой. На плечах — блуза, на Ногах — сапоги. Вот уже я различаю черты его лица. Незнакомый! Высок, тонок, полуседые волосы зачесаны к затылку. Приблизился и заулыбался:

— День добрый! Удачи тебе, Зауркан. Когда бы ты знал, как я рад сегодня!
— И обнял меня.

— И тебе всех благ, незнакомец!

— Почему незнакомец? Мы прекрасно знаем друг друга! Не ты ли делил со мной хлеб-соль, когда я жил в вашем доме?

Тут меня как осенило:

— Тагир! Клянусь святой Бытхой, ты мой названный брат Тагир!

И сам схватил в объятия поседелого мужчину, которого, страшно подумать, более полувека назад Мата и я несли почти бережно на руках по дороге в Осман-Кой. Он действительно жил в нашем доме, пока Шардын, сын Алоу, заодно с собственным отпрыском не отправил его в Стамбул. О, как горько плакала моя матушка, провожая маленького Тагира! Мы глядели друг на друга и не могли наглядеться. Чем пристальней я вглядывался в лицо нынешнего Тагира, тем резче воскрешала память облик маленького Тагира. Да, да, это его нос, такой прямой, да, да, это его глаза, такие синие.

— Встретились — и где встретились? Перед самой Бытхой. Воистину святое место,— сказал я.

В улыбающихся синих глазах Тагира отразились тучи:

— Святое место убыхов за морем осталось... Ночью, когда я вернулся из Стамбула домой, жена сказала мне о твоём воскрешении. Не решился в поздний час тревожить. А утром узнал от Сита, что ты сюда направился. Потом зов трубы услышал. Да, муж твоей тетушки прав: «Если кто-нибудь когда-нибудь,— сказал он,— воскресал из мертвых, то это наш Зауркан». Вернись ты после всего пережитого домой в доброе старое время, о тебе сложили бы песни на Кавказе и пели бы их в сопровождении апхиярцы. Но все равно для убыхов, не потерявших себя, возвращение твое — великое событие. Привез ты им напоминание о древней притче: «Когда горе

взвалили на плечи горам — они не выдержали этой тяжести; тогда переложили на плечи людей — и они под ним не согнулись». Имя твое придает силу духа изнемогшим, учит мужеству и терпению.

Он говорил, а я смотрел на него и любовался. Над широкими плечами, словно горловина кувшина, возвышается смуглая шея, лоб чист и высок, и единственная морщина пересекает его, как шрам. Поседевшие усы коротко подстрижены и чуть прикрывают верхнюю губу, а брови еще черны.

— Я рад был слышать, Тагир, от людей, что слывешь ты заступником народа. Это похвально! Какие вести привез из Стамбула?

— Дурные вести, Зауркан! Никому нет дела до убухов. Разброд и безволие царят в верхах. Месяц я обивал пороги правительственных ведомств. Никто не пожелал вникнуть в мои жалобы. С чем уехал, с тем и вернулся. Отверженные мы...

Время приближалось к полудню.

— Как думаешь, соберется ли народ? — спросил я.

— Старейшины ходили по домам, звали людей на сход. И трубный глас был слышен. Какая-то часть соберется, пожалуй! — отвечал он, прохаживаясь взад и вперед по холму.

— Убухи стали правоверными мусульманами. — Тагир кивнул в сторону Бытхи. — Поклонение ей ушло в прошлое. Иную бы святыню следовало иметь им...

— Какую?

— Веру в свободу! Но ей поклоняться надо, не сгибая колен и с оружием в руках.

— Как может горстка людей воевать против целого государства?

— Горстка не может, ты прав, но верой в свободу должен проникнуться весь обездоленный люд. Распри между племенами идут не от человеческой природы, а от умысла власть имущих. Бедняк бедняка всегда поймет, на каких бы языках они ни говорили. Хозяевами земли должны быть те, кто на ней трудится в поте лица своего. Лучшее будущее, как дети, должно рождаться от согласия.

— Наверно, согласие не в природе человека. Где есть день, там есть и ночь; где есть богатство, там есть и бедность. Один радуется, другой слезы льет; один — здравствуйте! — явился на белый свет, другой — прощайте! — покидает мир. Нет, не в наших силах человеческих изменить этот порядок, Тагир.

— Насчет жизни и смерти, дня и ночи — так, а про людей — нет. Или ты не слышал, что в России царя скинули...

— Я не глухой...

— Инкилаб* Инкилаб — революция.не сказка. Закон братства в России вступил в силу. И господствует там не право сильных, а сила права всех народов. Твой единоплеменники по матери — абхазцы — имеют теперь свое государство. Глава правительства Абхазии в прошлом году посетил Турцию...

Пойми, дорогой Шарах, в каком душевном смятении я оказался. Пришел помолиться святой Бытхе — и вдруг слышу такие слова! И как я ни старался представить знакомую мне с детства Абхазию иной, о которой рассказывал Тагир, воображение мое было бессильно.

— Эхо событий, происшедших в России, докатилось сюда. Власть султана висит на волоске... Люди и здесь придут в движение, и тогда...

— Что тогда?

— Все изменится, Зауркан. Слушай, я хочу с тобой посоветоваться. Может, когда соберется народ, мне встать перед ним и прочитать собственную проповедь насчет всего того, о чем мы здесь толковали...

— Как знаешь! Удобно ли? Боюсь, подставишь себя под удар. Среди убыхов давно единства нет...

Солнце стояло над головой, и по два, по три человека к холму стали стекаться люди. Среди них не было женщин: привился магометанский обычай. Два парня, просунув жердь сквозь путы на ногах, несли к подножию холма белого козленка. За ним шли старики во главе со жрецом. Я с Тагиром спустился с холма, потому что в день молебна никто не имел права находиться на его вершине, кроме жреца. Народу, как я и ожидал, собралось немного. После молебна жрец заколол жертвенного козла. Молодые парни не знали, как освежевать заколотое животное, и за это взялся старейшина Татластан. Содрав шкуру с козла, он разрубил мясо на куски и положил в котел. В старое доброе время каждый род обязан был приносить в жертву козла, но теперь все поклонники Бытхи едва смогли наскрести денег на одно жертвоприношение.

Когда-то в таких случаях козлятину ели с широких свежих чинаровых листьев, а здесь на десяток верст в округе даже деревьев не было, поэтому несколько человек отправились за кукурузными листьями.

Сход представлял из себя грустное зрелище для того, кто видел на своем веку другое. Куда подевались статные джигиты в архалуках и черкесках, в черных папахах, с газырями на груди? Где чинные беседы стариков и услужливое поведение молодежи? Где лихие наездники, что после

молитвенного обряда устраивали в честь него скачки? Где девушки с косами до пят, которые в кругу скачущих коней плыли на носках, раскинув руки, словно крылья? Где ретивые скакуны, что в нетерпении косили глазами и рыли копытами землю, позвякивая удилами? Один облезлый верблюд пасся поодаль. Собравшиеся, усталые, изнуренные, переговаривались о чем угодно, только не о святой Бытхе. Многие, увидев Тагира, обступили его и расспрашивали о поездке в Стамбул.

Но вот Соулах в белоснежном одеянии как привидение появился на макушке холма. В правой руке он держал лозинку, на которую были, как на шампур, насажены вареное сердце и печень козла. От них исходил пар. Старики у подножия холма, скинув шапки, преклонили колени. Я последовал их примеру. К моему удивлению, и Тагир склонил колени. «А хотел собственную проповедь произнести»,— подумал я.

Большинство присутствующих как стояли, так и продолжали стоять. Кто-то даже курил.

— О всемогущий бог! — начал Соулах. Воцарилась тишина. И жрец зыбким, немощным голосом напевно продолжал: — О святая, ястребиноликая Бытха, покровительница и заступница наша! Благослови нас! Отпусти грехи заблудшим и наставь их на путь праведный. Не осуди нас за скромность жертвоприношения! Коленопреклоненные, мы обращаем к тебе надежды наши. Услышь нас, всемилостивая...

И едва я успел подумать, что предки, наверно, не зря считали Бытху всемогущей, что она защищала их и помогала им, как в заднем ряду раздался пронзительный свист. Все оглянулись. Свистел, заложив четыре пальца в рот, человек в выцветшей одежде аскера. На него зашикали, но он не смутился:

— Весь век молимся, а какой прок от этого! И дед молился, и отец перед ней на коленях стоял, как паралитик,— он кивнул на Бытху,— а толку что? Три года я во славу султана вшей кормил на Балканах и орошал землю кровью. Вернулся — ни отца, ни матери, ни кола ни двора. Скажи, почтенный старец, почему пресвятая Бытха оказалась такой слепой, такой глухой, такой бессильной, что не помогла безвинному? — И, сплюнув, махнул рукой.— Все это ложь, и больше ничего!

— Ты что, обезумел? — оскорбленный богохульством бывшего вояки, в сердцах крикнул Сит.

— В мечети слова не скажешь, и здесь держи язык за зубами! Хватит с нас! — огрызнулся дружок солдата.

— Замолчите, святотатцы! — крикнул старик Даут.

Но солдат и его приятель не обратили на его крик никакого внимания.

— Бытха давно почила, и ты, жрец, напрасно держишь на палке перед ней сердце и печень козла! — бросил первый.

А второй насмешливо поддержал его:

— Или ты без твоей Бытхи сам не знаешь вкуса сердца и печени?

Начался шум и перепалка между стариками и молодыми.

— Вы что, сговорились сорвать молитвенный обряд? — потрясая посохом в воздухе, стоя лицом к молодежи, взвыл Татластан.

Тагир стал подниматься на вершину холма, должно быть решившись сказать людям свое слово. И в это время жрец Соулах, прервав молитву, выронил лозину, на которую были нанизаны сердце и печень козла. И как простыня, сорванная с веревки ветром, весь в белом, он вскинул руки и упал перед Бытхой.

Старца подхватили на руки и отнесли домой. В ту же ночь, не приходя в себя, он скончался.

Мансоу, сын Шардына

О мой Шарах! Ежели я не совсем заморочил тебе голову, прими еще несколько плодов с дерева моих воспоминаний.

Самым ненавистным человеком был для меня Шардын, сын Алоу. Все беды убыхов и нашей семьи я связывал с его именем. Этот святотатец явился виновником позора и гибели моих сестер. Даже его мученическая смерть не смогла успокоить моей жажды мести. Я продолжал оставаться духовным кровником Шардына, сына Алоу, чтобы и на том свете таскали его черти на штыках.

Когда я поселился в Кариндж-Овасы, меня поразило, что Мансоу, отпрыск молочного брата моего отца, живет припеваючи. Крестьяне обрабатывали барщину в его имении. Казалось бы, сын государственного преступника, убийцы сераскира должен был бы, в лучшем случае, превратиться в рядового подданного турецкого султана, а не жить за счет других. Нет, оказывается, у знати свои законы. Бедняк вроде меня совершит преступление — всю семью его режут под корень, совершит подобное деяние властелин — наследникам его не мстят, сын за отца не ответчик. И позаботились о Мансоу. Что говорить, повеса парень, без царя в голове, но кровей-то дворянских. Нельзя же, чтобы дворянин пахал землю. Случись такое, завтра простолюдины, чего доброго, решат, что порядок, установленный в подлунном мире, не от аллаха, а всего лишь от лукавого, и прежнее почтение ко всем представителям знати сойдет на нет.

Когда Шардына, сына Алоу, прикончили, мать Мансоу не без труда отправила наследника во Францию. Возвращения его она не дождалась, ибо умерла два года спустя. Бесшабашный малый, горячий норовом и видом не дурен, занялся торговлей и, связавшись с шулерами, ночи напролет проводил в казино. Однажды, пойманный с поличным, он вспомнил об убыхах и объявился в Кариндж-Овасы. «Я ваш дворянин,— напомнил он людям.— Прошу любить и жаловать». Его признали — рады вашей милости! — и повиновались.

Э-ех, убыхи, убыхи, как ни учила их жизнь, а старинная закваска сидела в них прочно. Склонили шеи, а на склоненные шеи ярмо надеть недолго. Да и власти расщедрились, отвели ему землю с лихвой: живи, мол, правь, наслаждайся. Приобретя опыт в махинациях, занялся новоявленный верховод убыхов перепродажей хлопка. Дела у него пошли, и вскоре этот голодранец сколотил состояние. Дом его на сто верст в округе первым сделался на зависть самому Али Хазрет-паше. На соплеменников, их нужды и заботы Мансоу, попросту говоря, поплеывал. Его интересовало только одно — чтобы они ишачили на его земле и не отлынивали от наследственной повинности. Яблоко от яблони недалеко падает: повадки и пристрастия отца перенял он с плотью и кровью. Я как мог сторонился шардыновского потомка, но Сит занемог, и пришлось мне раз в неделю выходить за него на поле Мансоу, то скот пасти, то мотыгой орудовать. Помню, между убыхами и джамхаса-рами вспыхнула очередная распря. Пропал у их предводителя Джавад-бея десяток баранов. Он подал жалобу вали: дескать, баранов убыхи зарезали. Трех убыхских парней взяли под стражу, учинили им допрос, но улики не было, и подозреваемых, на всякий случай отхлестав плетью, отпустили. Джавад-бей пришел в ярость: как так, бараны пропали, а похитителей не оказалось? И погнал он табун верблюдов на наши поля. Убыхи открыли пальбу по верблюдам и погонщикам. Началась перестрелка. Суток трое летели пули с обеих сторон. А между тем глядим: Джавад-бей в сопровождении верховых из охраны скачет в гости к Мансоу, сыну Шардына. Сидят пируют, наслаждаются, пьют за здоровье друг друга и похваляются, сколько люди одного ухлопали людей другого.

Старики, собравшись в доме Сита, ничего лучшего придумать не могли, как поручить мне отправиться к Мансоу и заклинить его, чтобы он договорился с Джавад-беем о прекращении кровопролития.

— Нашли кого посылать,— сопротивлялся я.

— Ваши отцы были молочными братьями,— напомнили они,— больше идти некому.

Пусть, дад Шарах, так везет твоим врагам, как мне повезло с этим поручением стариков. Я отворил железную калитку в воротах, украшенных какими-то замысловатыми чудовищами. Как из-под земли вырос караульный.

— Чего тебе надо?

— Меня зовут Зауркан Золак. Я родственник хозяина, и у меня есть к нему дело.

— Родственник, говоришь? Зауркан Золак? Рот порвешь, пока выговоришь имя твое — Зауркан Золак! Что-то я не слышал о таком родственнике.

И, ощутив меня подозрительным взглядом с ног до головы, страж скомандовал:

— Кругом, дурень! Шагом марш!

— Гляди, как бы тебя не взгрел хозяин твой за такое обращение с близким ему человеком.

— Занят господин! Знатные гости у него, не чета тебе, оборванец! Али Хазрет-паша и французский генерал пожаловали. Проваливай! Кому сказано, пошел прочь!

Что мне оставалось делать? Потоптался на месте и поплелся домой. Когда огибал ограду, со стороны двора послышался веселый говор. Прильнув к прутьям железной ограды, я увидел четверых мужчин. Впереди стоял улыбающийся Мансоу. Чтобы угадать это, проницательности не требовалось: уж очень он походил на Шардына. По левую руку от него раскуривал чубук кряжистый, как бочка, турок в сверкающих эполетах. «Али Хазрет-паша», — смекнул я. Справа с тросточкой в руках, сверкая знаками отличия, что-то громко на языке, которого я не знал, выкрикивал сухопарый господин. «Видать, это и есть французский генерал», — подумал я. А чуть поодаль стоял высокий, в белом бурнусе, Джавад-бей. Таким его и раньше описывали мне очевидцы.

Мужчины уселись за столик, на котором стояли фрукты, щербет и орехи. «Сладко живут, лихоимцы, — мелькнуло в моей голове. — Только петушиных боев им не хватает». И тут, как по волшебству, явились двое слуг с петухами. Выпустили птиц. Красный петух остервенело кинулся на белого кочета. Налетел, сцепились так, что пух полетел, а потом отпрыгнули друг от друга. Взъерошенные, с распущенными крыльями, поточили клювы о землю и пригнули к ней головы. Помигивая веками, с минуту зло наблюдали друг за другом и снова ринулись в бой. Раскровавили гребни. В клюве каждого торчал пух, у красного петуха белый, у белого — красный. Гости и хозяин умирали со смеху и подзадоривали драчунов, свистели, кидали в них орехами.

Мне стало тошно. Оттолкнувшись от прутьев ограды, сжимая кулаки, я, от греха подальше, поспешил прочь.

«Нас стравливают с соседями, как этих петухов, — размышлял я по дороге. — Птицы схлестнулись — им смешно, люди дерутся — им опять же забава, развлечение, даже выгода: враждуйте, темные, нам от раздоров ваших спокойнее».

На следующий день, проведав, что гости уехали, я вновь появился у железных ворот, будь они прокляты! Открыл калитку, и другой стражник, сменивший предыдущего, спросил:

— Чего надо?

Я объяснил, что хочу видеть Мансоу, сына Шардына, молочного брата отца моего.

— Видишь, конь под седлом? Хозяин на охоту собирается. Не до тебя ему!

— Я его ненадолго задержу. Всего два слова сказать желаю.

— Не могу пропустить! Велено никого не пропускать!

Пока я препирался со стражником, во двор с балкона спустился Мансоу, сын Шардына. На ногах сапоги выше колен, на голове соломенная шляпа, двустволка за плечом.

Я был в архалуке, черкеске и при кинжале. Заметив незнакомца в странной для турецких обычаев одежде, он подошел ко мне.

— Добрый день! — приветствовал я его по-убыхски.

Вместо того чтобы ответить на приветствие приветствием, он спросил по-турецки:

— Кто такой?

— Приглядишь, может, вспомнишь!

— Недосуг мне приглядываться!

— Я Зауркан Золак. Наши отцы были молочными братьями.

— А-а, Мухтар мне говорил о тебе...— И, заматывая плетью вокруг голенищ ослабилась.— Тот самый, что зарезал знатного пашу...

— Не единственный случай в нашем роду,— не удержался я, намекая на то, как его отец пристрелил сераскира...— Помилван по манифесту.

— Манифест, говоришь. При чем тут манифест? Ты убийца, и на руках твоих кровь...— Мансоу, сын Шардына, поморщился.

— Не по своей нужде я пришел...

— Говоришь, мы в родстве?

— Бабушка моя была кормилицей твоего отца.

— О господи, когда это было! Быльем поросло то время. Что тебе от меня надо?

— Извини, что задерживаю тебя, но знай, что я лишь по средник.

— Между кем?

— Тобой и твоими соплеменниками.

Мансоу, сын Шардына, насторожился:

— А что пожелали мои соплеменники?

— Чтобы ты договорился с Джавад-беем о прекращении вражды. Кровь льется в три ручья...

— Тебе ли сожалеть о пролитой крови... Пусть убыхи прекратят кражи, и все кончится само собой. Так и передай тем, кто послал тебя.

Давая понять, что разговор окончен, он направился к оседланному коню и, сделав несколько шагов, обернулся:

— В какие дни ты у меня работаешь?

— По понедельникам и вторникам.

— Ты вспомнил имя моего отца. В честь этого я освобождаю тебя от одного дня. Выходи на работу только по вторникам. А сегодня, раз уж пришел, подсоби прислуге. Эй, Хасан, покажи ему, что делать!

И, сев на коня, выехал на большую дорогу, где скрылся в облаке пыли. «Почему я не сломал себе ноги, когда направлялся в этот злосчастный двор?» — сплюнул я в сердцах.

Тот, кто именовался Хасаном, черноглазый детина, заросший густой щетиной, подвел меня к груде дров и указал на топор:

— Поплюй на ладони и принимайся за дело!

Когда я кончил колоть дрова, этот же буйвол Хасан повел меня в сад и подал грабли:

— Убери сено!

Солнце стояло в зените. В моем животе послышалось голодное урчание. Я мечтал об одном: оказаться по ту сторону ворот. Но вновь появился толстомордый Хасан и потащил меня на псарню:

— Надо собак искупать. Закати рукава, а я буду поливать из кувшина.

Чего только мне не приходилось делать, но купать собак... этого еще не доводилось. Одет я был, как подобает истинному сыну гор, и чресла мои опоясывал кинжал. Чтобы черт побрал всех сук и кобелей! Сроду не притрагивался к ним, а тут — купать!

— Ты что, оглох, что ли? Закатывай рукава, бродяга! — заорал толстомордый.

Я возмутился:

— Не могу!

— Чтобы тебя чума сразила! Как это — не могу?

И сжал кулак. Но не тут-то было. Я выхватил кинжал, и шестипудовый Хасан, родственники которого нажили бы грыжи, придиись им нести его на кладбище, стал легче бабочки, долетел до дверей кухни и словно провалился в нее. А я поспешил покинуть этот двор — да наполнится он грабителями! — и вышел на дорогу.

Больше всего злила меня моя бабка, похороненная в далекой убыхской земле. «Чтобы сквозь кости твои пророс чертополох! — проклинал я ее в душе.— Когда ты, бестолковая, купала своего воспитанника и вместо воды наливала в таз молоко, как только твои руки не отсохли? Купала его в молоке, а теперь его ублюдок сын заставляет меня купать собак! Будь он проклят со всеми его псами!»

В моем по-собачьи впалом животе появилась боль, то ли от голода, то ли от злости на собственную покойную бабку. Чем дальше оставалась усадьба Мансоу, сына Шардына, тем безбрежней становилось море, разделявшее нас с ним. «Только бы не встречать его больше никогда!» — мысленно взмолился я.

Астан Золак

Обернемся к нашим горам,—

Они не знают, куда мы уходим.
Обернемся, оставим им песню,
Чтобы она бродила, как эхо,
От одной горы к другой.
Если ребенок уходит от матери.
Значит, она виновата,
Но разве она виновата?
Разве она виновата?
«Почему вы уходите, дети?
В чем виновата я, дети?»—
Плачет наша земля,
Спрашивает нас земля.
Прости нас, бедных,
Прости нас!
Мы бессильны остаться.
Мы можем тебе оставить
Только одно — свою душу.
Мы навсегда уходим.
Она навсегда остается.

Газета из Абхазии

Дом Тагира, как все крестьянские дома, был невзрачен и тесен, но не проходило дня, чтобы в него не заходили люди. Всех здесь умели

приветить, потому что слово, идущее от сердца, попадает тоже в сердце. В управлении мухтара разве прока добьешься? Нет, ходить туда с заботой не имело смысла. А в доме Тагира двери не запирались: милости просим. Хозяин и совет подаст, и жалобу напишет, а главное — выслушает, утешит, а если тяжба возникла, рассудит по справедливости, как судья праведный. Даже за целебными травами обращались люди к Тагиру, хоть врачеванию не учился он в Стамбуле. Обстоятельства обязывали, и по старым знахарским книгам Тагир обрел познание в лекарском деле. Мухтар завидовал ему и ненавидел его. Мухтара бесило, что какой-то убых, не наделенный никакой властью, так почитаем среди всех махаджиров. Не мулла, оказывается, их духовный наставник, а пробившийся в учителяшки некий простолюдин, отца и матери-то которого никто не помнит. О! За подобными надо следить в оба. И он установил слежку за Тагиром и строчил доносы на него Али Хазрет-паше. Тагир знал об этом, но не сдавался, не отступал, не трусил.

Заметив, что я появился во дворе, он вышел на порог:

— Зауркан, дорогой, посиди немножко в тени на воле. Я скоро освобожусь. Тут ко мне люди пришли по делу.

— Гость во власти хозяина,— ответил я и расположился в тенечке.

Проворная Гюлизар — жена Тагира — вынесла мне чашечку кофе. Стамбульская турчанка, статная, смуглая, приветливая, не закрывавшая лица чадрой и не прятавшаяся от мужчин, она чем-то была похожа на Фелдыш, и у меня всякий раз падало сердце, когда я ее видел. Гюлизар понимала наш язык, но говорить на нем не могла. Тагир женился на ней поздно, и родила она ему двух отроков. Мальчики, не в пример тем, что, помнишь, играли в «ножички» на дороге, когда мы с Ситом ходили к жрецу Соулаху, были воспитаны в правилах горской вежливости. Вскоре, проводив заходивших к нему односельчан, Тагир позвал меня:

— Заходи в дом, Зауркан. Извини, что так долго держал тебя на дворе: сочинял крестьянам прошение.

Хозяин провел меня в небольшую комнату, смежную с более просторной. В ней я был впервые. Меня поразило, что все ее стены до самого потолка были заставлены книгами. В жилище убыха увидеть книгу — случай редкостный от века. А здесь множество книг. Ты, Шарах, конечно, тоже великий книгочий. Мне же, как слепцу, заглянуть хоть бы в одну из книг, стоявших в комнате Тагира, или даже перелистать ее не было бы пользы. Смотрел я на них, и в голове мелькнула мысль, прочти я все эти книги — пожалуй, заткнул бы за пояс любого визиря.

— Среди книг, что ты видишь, Зауркан,— показывая рукой на стены, сказал Тагир,— есть древние и редкие сочинения. Мы, убыхи, не сорная трава, у нас славное прошлое. О нас писали ученые мужи на древнегреческом, арабском, турецком и многих других языках. То, что коса превратной

судьбы так обошлась с нами, вина продажных наших главарей. Не склони они народ к махаджирству, процветал бы он сейчас.

— Как попали к тебе эти книги?

— Шардын, сын Алоу, ссужал Мансоу деньгами, не скупясь. Я в годы учения был невольным наперсником бесшабашного малого, и он давал мне лиры на приобретение книг, потому что я должен был учиться и за себя, и за него. Гуляке было недосуг заглядывать в книги, и я излагал ему их содержание, за что он еще мне приплачивал. Так я собрал мое сокровище, которое ты видишь.— Подвинув стул, Тагир усадил меня к столу, на котором лежала толстая рукопись.— А это, Зауркан, история убыхов с самой глубокой старины до наших дней. Давно уже я пишу ее. Если буду жив, закончу работу. Живущее изменяется, а изменяющееся живет. Может, наступит время, когда мы как народ исчезнем, растворимся, станем воспоминанием, но моя книга расскажет миру о нас, о нашем величии и падении.

— Святое дело! Дай бог тебе удачи! Помню, как отцы, даже проигрывая сражение, пели песню героев. Она воодушевляла их и наводила ужас на врага. Книга твоя подобна песне героев. Не будь ее, исчезнет и память о нас, а слово — нетленно, прочтут и помянут уважением: «Покуда жили — не изменяло им мужество».

— Спасибо, Зауркан!

Тагир погладил рукопись, как строгий отец любимого сына, а я мысленно сравнил то, что слышал здесь, с тем, что слышал во дворе Астана. Там дух пел отходную, здесь здравицу, там он опустился в пропасть, здесь царил над вершиной. Тагир взял со стола ручку:

— Ты знаешь, что это такое?

— Да, то, чем пишут.

— Поверь, Зауркан, оно сильнее любой сабли. Если бы мы, убыхи, как, например, грузины, знали письменность, мы бы имели оружие, которое из рук не выбьешь. Больше чем уверен, с нами ничего бы не случилось. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. Пусть икнется дедам и прадедам наше нынешнее бедственное положение. Многие горцы, которые попали в Турцию, хоть и с запозданием, но прозрели. Абхазцы составили азбуку, хотят стать грамотными, стараются открыть свои мектебы. Адыгейцы — тоже. И я,— Тагир придвинул к себе стопу исписанной бумаги толщиной в палец,— сложил убыхский букварь.— Открыв первую страницу, он сказал:— Вот, смотри! Это буквы: а, б, в...

— Э-э-э, дад Тагир, будь они даже не такими маленькими, а размером со слона, я все равно ничего не пойму. Не старайся. Мне и очки уже не помогут.

— Будь ты один такой, сказал бы «жаль», а когда все поголовно такие — беда. Иначе не скажешь. Сумей я добиться от властей разрешения на открытие мектеба для обучения убыхских детей на родном языке, я бы превратил свой дом в мектеб для них и стал бы бесплатно учительствовать в нем. День первого урока сделался бы для меня лучшим днем моей жизни.

Я положил на ладони рукописный букварь и покачал его, словно новорожденное дитя:

— Наверно, твоя книга хорошая вещь, и, наверно, по своей темноте я не могу оценить в полную меру твой труд. Ты уж меня прости, но не раз говорили мне турки, которые слышали убыхскую речь, что наш язык положить на бумагу нельзя, слишком он напоминает птичий клекот. А управляющий Хусейн-эфенди назвал его «стервячьим языком».

— У Хусейна-эфенди на плечах не голова, а тыква. Нет в мире языка, которым нельзя было бы писать на бумаге. О, если б только удалось мне напечатать букварь и открыть мектеб!.. Но я надеюсь, не падаю духом.

— И правильно делаешь.

Тагир собрал обе рукописи, выровнял страницы и положил книги в сундук, стоявший в углу комнаты. Гюлизар принесла нам чашечки дымящегося черного кофе, только что снятого с огня.

Тагир, подперев ладонью голову, время от времени разглаживает подкрученные усы. Я смакую кофе. Мне уютно, спокойно, словно я сижу в родной пацхе. А Тагир, открыв табакерку, закуривает, и в облаке дыма до меня долетают слова:

— Я все время думаю об Убыхии, которую помню, как дивный сон своего детства. Я тебе уже говорил, что в России, в том числе и на Кавказе, установилась власть народа. Ты представляешь, что это такое? Там ныне навсегда покончено с междоусобицей и распрями между племенами и народами. Провозглашено братство людей. Э-э-эх, не кинься мы в добровольное изгнание, как бы теперь жили! Горше раскаянья, чем наше, вряд ли переживал какой-нибудь народ. Остается локти кусать!

И вздохнул — как зарыдал! И новое облако грешного дыма обволокло его лик.

— Даже не верится. Представить себе нельзя, чтобы, к примеру, такой, как Али Хазрет-паша, поделил землю свою с таким, как я, и превратился из волка в барашка.

— По доброй воле вовек бы не отдал, но когда объединяются все пахари, все кузнецы, все оружейники, все табунщики, все грузчики, то такой, как Али Хазрет-паша, из тигра превращается в кошку.

— Не растравляй мою душу, не рассказывай о привольном житье.

— Когда я последний раз был в Стамбуле, то познакомился в порту с одним греком. Он плыл из Сухуми в Афины. Узнав, что я родом кавказец, он принялся мне рассказывать об Абхазии, рассказал, что она стала самостоятельным государством. И на прощание подарил газету...

— Газеты и в Турции есть,— сказал я.

Тагир открыл сундук, куда раньше спрятал рукопись двух книг, и достал газету.

— Это не простая газета, а газета твоих сородичей по матери. Называется она «Красная Абхазия». «Красной» ее назвали в честь крови, пролитой за свободу и независимость. Вот видишь снимок? На нем крестьяне, которые взяли себе дворянские земли. Посмотри, может, кого узнаешь среди них?

— А это кто? — ткнул пальцем я в портрет какого-то мужчины.

— А это глава их абхазского правительства. Держит речь перед народом.

— Господи,— вырвалось у меня из груди,— благодарю тебя, что дожил я до сегодняшнего дня. Было бы несправедливо, если бы этого не случилось.— И поцеловал газету. Человек, не побывавший в моей шкуре, не поймет подобного поступка.— О мучитель души моей, Тагир! Если родила тебя сердобольная женщина, окажи мне милость: в день моей смерти положи мне на грудь эту газету. С ней и похорони меня. Буду считать, что положил ты не ее, а горсть материнской земли.

Слезы покатались из моих глаз. Откуда они взялись? Ведь я считал, что они давным-давно все иссякли. Или не хватило выдержки? Порою, дад Шарах, сильно натянутая тетива неожиданно рвется. Допоздна я засиделся в доме Тагира и, несмотря на все его просьбы, остаться переночевать отказался.

— Завтра утром нас вызывает Мансоу! — сказал Тагир, когда я уже был на улице.

— Не желаю его видеть!

— Мне самому до смерти неохота идти к нему, но, кажется, дело касается всех убухов, поэтому хочешь не хочешь, а идти придется.

Мы простились, договорившись о времени и месте встречи. Всю ночь я блуждал по темным притихшим просторам за околицей. Газета, подаренная Тагиром, покоилась у меня за пазухой. Если бы кто-нибудь меня встретил, он бы решил, что это сумасшедший бродит и разговаривает сам с собой. Бывает так, что сны снятся наяву. И на этот раз почудилось мне, будто я шагаю к селению, где живут братья моей матери. Кряжи Цебельды, гора Пиандж, а с ее вершины вся Абхазия как на ладони. Одна

грань скалы Кваначхир поблескивает на солнце, а внизу в каменном горле рокошет Кодор. Чу, напрягаю я слух, и со стороны Дала доносятся песня всадников, конский цокот и выстрелы в честь какого-то пиршества.

Но вот я поднимаюсь. Передо мною дом Сита. Я поднимаюсь на веранду. Ложусь на деревянные нары и слышу, как начинают перекликаться первые петухи.

На противоположных берегах

Отворив калитку в железных воротах, мы с Тагиром вступили во двор дворянина Мансоу, сына Шардына. К моему удивлению, мы не услышали окрика часового: «Что надо?» Караульного не было. Стояла тишина, слуги не сновали перед домом.

— Вымерли, что ли? — шепнул я Тагиру.

— Если бы...

Когда мы огибали площадку, которая недавно была местом петушиного ристалища, мне привиделись окровавленные птицы и послышалось улюлюканье развлекающихся господ. В душу вкралось предчувствие: «Здесь ничего хорошего нас не ждет». Около дома как из-под земли вырос слуга. Стоило нам сказать, что мы явились по вызову Мансоу, сына Шардына, как он учтиво ответил:

— Вас ждут!

И указал на витую лестницу, чьи ступени вели на второй этаж. Поднявшись, мы оказались в просторной зале, застланной мягким ковром. С янтарным мундштуком в зубах, дымя сигаретой, откинувшись на подушку дивана, закинув ногу за ногу, в просторном турецком халате сидел Мансоу, сын Шардына.

— О, заходите и присаживайтесь,— дружелюбно пригласил он.

Мы опустились в кресла напротив. Я стал разглядывать хозяина дома. В прошлый раз на нем было охотничье одеяние и голову покрывала соломенная шляпа, надвинутая на самые брови. Это был еще крепкий мужчина, и, несмотря на то что ему было шестьдесят, а в его коротко постриженных волосах я не заметил седины. Веки слегка припухшие, а глаза маленькие, глубоко запрятанные. Я знал его, когда он был мальчиком. Далекая пора. Ни одной черточки детства не осталось в его лице. Руки Мансоу, выглядывавшие из рукавов свободного халата, были почти бескровны, с оттенком желтизны, как стебли кукурузы, выросшей в тени. На одном из его костлявых пальцев мерцало кольцо.

— Как жизнь? Что нового? — сделав последнюю затяжку и выбив окурок из мундштука, спросил сын бывшего султанского шурина.

— Я простой крестьянин, живу в приземистом домишке, тебе со второго этажа видней,— отвечал Тагир.

— Не придуривайся! Какой ты крестьянин? Все окрест называют тебя алимом*. Алим — ученый. Дом твой набит книгами, а сам ты с пером не расстаешься...

— Что верно, то верно! Азбуку составил, пишу историю убыхов, но кормлюсь я от земли тем, что сам посеял и собрал.

И тот, и другой говорили по-турецки.

— Ты человек незаурядных способностей. Я это помню еще по Стамбулу. Да не в коня оказался корм: книги сбили тебя с панталыку. Грустно и смешно плыть против течения времени.

— Каждый живет по своему разумению и совести.

— Ученый упрямец хуже осла. Что ты можешь переиначить? Обстоятельства сильнее тебя. Каменную стену лбом не прошибешь. Подумал бы о себе, о детях своих...

— С превеликой охотой я бы последовал этому совету, если бы ты подумал о подопечных своих...

Мансоу, сын Шардына, достал белоснежный платок и вытер им лицо, которое покрыла испарина. Потом он открыл серебряную табакерку и протянул ее нам:

— Закуривайте!

— Не хочется,— отказался за обоих Тагир.

Мансоу снова задымил. И продолжал:

— Зачем сеять вражду между имущими и неимущими? Это не спасет народ. Разве такие люди, как ты, Тагир, способны изменить природу человека? Тщеславная самонадеянность. Было бы полбеды, когда бы по неосмотрительности своей ты сам погиб, но ведь ты мутишь народ и не отдаешь себе отчета в том, что можешь погубить многих.— И, словно ища поддержки у меня, спросил: — Разве я не прав, Зауркан?

— Тагир стремится помочь людям и делает это от чистого сердца. У него нет корысти, нет умысла. Ведь к тебе, Мансоу, ты уж прости за откровенное слово, люди не придут за советом, не придут искать защиты от

несправедливости. А следовало бы тебе, их опекуну, подумать и побеспокоиться о всех убыхах, живущих в Кариндж-Овасы.

Хозяин дома криво усмехнулся.

— И в тебя уже попал яд этого,— он кивнул в сторону Тагира,— доморощенного проповедника? А может, в тюрьме набрался ты, вместе со вшами, этого ума-разума?

— Тюрьма и сума всему научат.

Мансоу, сын Шардына, опустив голову, что-то прикидывал. Взгляд мой, скользнувший по стене над диваном, остановился на картине. От неожиданности я даже вздрогнул. Во всей бесстыжей и прекрасной наготе предстала спящая женщина. Покрывало ползло с нее и небрежно валялось на ковре около ложа. Ее руки были заложены под голову так, что были видны подмышки в золотых завитках, одна нога касалась другой... Я смутился и отвел зор. В краю, где аллах запрещал изображать людей, где женщины прятали лица, иметь такую картину было кощунством, безбожием, великим грехом. «Наверняка Мансоу, сын Шардына, порочный человек»,— рассудил я.

— Ни к чему нам препираться, Мансоу,— послышался голос Тагира.— Скажи, зачем звал?

Слуга, которого мы встретили внизу, у порога, принес на подносе три чашки с кофе и удалился.

— Убыхи со дня переселения — бельмо на глазу Турции,— невозмутимо и степенно начал Мансоу, сын Шардына.

Тагиру следовало бы проявить выдержку и дать полностью высказаться хозяину дома, но и опытный стрелок забывает порой ставить курок на предохранитель:

— Бельмо — не причина, а следствие!

Мансоу словно не расслышал язвительности собеседника.

— Глава этой державы считается ставленником аллаха, наместником его на земле, поэтому все подданные обязаны быть мусульманами до мозга костей. Власть знает одно: если исчезнет вера — начнется разброд. А убыхи ходят в мечеть лишь для отвода глаз.

— Надо бы султану знать, что подданных без недостатков не бывает. Таких он может найти только в раю, где ждут его объятия чернооких гурий. Кроме того, хочу тебе заметить, что Магомед не позволял насилия против тех, которые будут упорствовать в неверии, в том случае если они

беспрекословно подчинятся его власти и согласятся платить ему дань. А разве мы не платим налогов?

— Толковать учение пророка может только султан, а ты еще даже не визирь. Наступило время слиться вплотную убыхам с мусульманами под зеленым знаменем с золотым полумесяцем. Пусть сменяют имена и фамилии свои на турецкие, пусть пишутся османами.

— Они и так уже в большинстве своем Бытху забыли, говорят по-турецки, ходят в мечеть, а теперь еще имена надлежит сменить. Это уж слишком...

— Таков закон! Все, кто проживает в Османской империи, должны быть османами. И желаю тебя предостеречь, Тагир: не поднимай смуты, остерегись, иначе погубишь и себя, и других. Спичка, которой хотят поджечь мечеть, сгорает раньше, чем мечеть. Подай пример убыхам — смени фамилию.

Скрипнула боковая дверь, и вошла молодая женщина. На ней было белое длинное платье с короткими рукавами и большим вырезом на груди. В воздухе повеяло амброй и розой. Я почему-то подумал: «Не она ли изображена на картине?» Мы с Тагиром разом поднялись и поклонились. Красавица улыбнулась в ответ и, подойдя к Мансоу, сыну Шардына, залепетала что-то на языке, которого я не знал. Позже, когда мы с Тагиром покинули дом Мансоу, он мне передал, что жена хозяина говорила по-французски. Она отправлялась на прогулку и собиралась навестить Али Хазрет-пашу.

— Вечером не забудь приехать за мной, — пошутила молодая хозяйка и, перед тем как уйти, протянула руку Тагиру, потом приблизилась ко мне, сделала удивленные глаза: — Ой-ла-ла! Кавказ!

Потрогав осторожно мой ремень, кинжал, газыри, выразила на, своем лице страх и восхищение одновременно:

— О!

Женщина покинула нас так же стремительно, как и появилась

Тагир заметил Мансоу, сыну Шардына:

— А ты не считаешь великим грехом, что твоя жена не прячет как мусульманка лицо свое...

— Она француженка, католичка...

— Аллах запрещает правоверным заниматься изображением людей. А над тобой изображение обнаженной женщины... Если бы кто-нибудь из убыхов повесил бы в доме такую картину...

— Когда мы учились, ты однажды привел мне латинское изречение: «То, что дозволяется Юпитеру, запрещено быку». Я не турок и не убых, я европеец.

— Зачем же господину европейцу поучать нас и предостерегать от опасности?

— Благоволю вам!

— А, вот оно что! Если благоволишь, то не мог бы ты от богатств своих ссудить нас деньгами на постройку мектеба, на издание хотя бы моей азбуки?

— Мог бы! Да кому это нужно? Это ведь глупо, пойми. Когда великая нация, пусть даже насильно, усыновляет маленькую нацию, то в этом деянии сказывается веление времени. Ведь даже твои сыновья не знают убыхского языка. Турецкий им откроет в жизни больше, чем убыхский, замкнувшийся в четырех скалах. Даже на латыни люди уже не говорят, а на ней книги писали, да еще какие!

— Если идти по этому пути, то можно сделать еще проще: заставить весь мир говорить на одном языке, к примеру, на французском. А насчет латыни тоже скажу, — добавил, разгорячась спором, Тагир, — она еще много веков жила даже после гибели империи, в которой была государственным языком.

— Пробеги мысленно, упрямец Тагир, убыхскую историю. Назови хоть одного выдающегося человека в ней. Нет такого! Нет! Кем ты можешь похвастать? Никем! О ком же ты будешь рассказывать детям? О предводителях набегов, о волосатых кровниках, о бесшабашных абреках? Лучше пожалей детей и пойми, что судьбу убыхов история решила сама. Ставить ей палки в колеса смешно и бесполезно. Чем раньше убыхская молодежь примкнет к османам, тем больше она выигрывает, потому что по грамотности, культуре, развитию ремесел турки стоят на много ступеней выше, чем многие малые народы, я уж не говорю об убыхах...

Я не сдержался:

— Скажи проще: с волками жить — по-волчьи выть!

Но, странное дело, Мансоу, сын Шардына, не взорвался яростью, а продолжал невозмутимо усовещать нас:

— Если убыхи просто хотят уцелеть, то нет у них другой возможности сделать это, как только вручив свою судьбу султанской власти. Али Хазрет-паша, которому подчинены эти владения, собирает отряды против мятежников. Пусть под султанское знамя встанут и убыхские парни.

— Где ты их возьмешь-то, убыхских парней? Много ли их с Балкан вернулось? А те, кто вернулся, увечные да больные.

— Если вы с Заурканом бросите клич, убыхи возьмутся за оружие.

— Мир праху твоей матери,— сказал я,— Тагир правду говорит, какая от нас уж помощь!..

— Какая ни на есть, но если вы не поддержите султана в его борьбе с Кемаль-пашой, он сочтет это за измену и не простит вам предательства. Прошу не рассчитывать на мое содействие, если Али Хазрет-паша двинет на вас войско, как на посредников врага. Он сгонит убыхов с земли и превратит их жилища в амбары для хлопка.

— Тогда и тебе здесь не будет жизни! — не выдержал я.

— Знаю, не будет! — спокойно согласился Мансоу, сын Шар-дына, и, встав, подошел к зеркалу.— Но за Мансоу не беспокойтесь,— и пальцами пригладил брови.— Хуйсен-эфенди хочет купить мой дворец и мою землю. Я уезжаю к тестю во Францию. В провинции Шампань ждет меня прекрасный уголок с виноградниками и погребями. Там я выпью за здоровье верных султану турок и, если вы не послушаетесь моего совета, за упокой ваших душ.

— Ты будешь там давить виноград, а здесь будут давить нас! — прорвалось негодование Тагира.

— Я из игры выхожу. Мог бы уехать, не предупредив вас,— и дело с концом...

— Куда бы ты ни бежал, печаль убыхов еще найдет твое горло и перехватит его.

— Довольно препираться! Знайте — судьба убыхов мне не безразлична, вот почему я предостерег вас об опасности.— И, обратясь к Тагиру, отчеканил: — Помни, проповедник вчерашнего дня, швырнешь мой совет свинье под хвост — не взыщи! Прощайте оба!

И, вскинув голову, Мансоу, сын Шардына, вышел из залы.

В тот вечер Зауркан прервал свой рассказ раньше обычного. Долго устало молчал, а потом, когда мы снова заговорили с ним — уже о житейских вещах,— он расстроился, что не может вспомнить одного слова ни по-абхазски, ни по-убыхски.

В конце концов оказалось, что слово это — «сковорода».

— Такое простое слово,— сердился Зауркан,— но вот уже сколько лет никто не говорил его при мне по-убыхски, ни здесь, ни у соседей. Живу, как в могиле. Забываю слова, которых не слышу!

И он долго еще сокрушенно сидел и молчал, обхватив голову руками, а я, хочешь не хочешь, глядел на него и думал о той трагедии, с которой столкнула меня жизнь в этом доме.

В первые дни, когда я встретился с Заурканом, он, казалось, вообще не верил, что убыхский язык может погибнуть, и даже старался уверить меня, что его родной язык сохранился на его родине в Убыхии, что он не мог исчезнуть так, как не могли исчезнуть горы, леса или реки. Я не спорил с ним, только молча удивлялся стойкости его заблуждений.

И вдруг в эту ночь мне стало ясно, что старик, живший со своим, уже никому кругом него не понятным языком, как единственный живой среди мертвых, искал себе утешения. И это было чем-то похоже на тот пир мертвецов, который он справил при мне в первую ночь, когда я пришел.

Зауркан Золак не знал слова «проблема». Но сама жизнь много раз трагически ставила перед ним проблему языка, от которой ему некуда было деться.

Долгие годы он мог разговаривать только с самим собой и скучал по родному языку, как об ушедших в небытие близких. Сколько раз, ловя ухом неразборчивый дальний говор людей, он надеялся, что вдруг услышит родную речь. А потом, когда он все-таки вернулся к своему народу после такого долгого перерыва, каких страданий ему стоила та горькая истина, что все меньше и меньше становилось старых людей, с которыми он с детства разговаривал на родном языке и слушал их речи, и все больше молодых, которые или плохо, или вовсе не знали этот язык...

Так сама жизнь столкнула его с этой проблемой, о которой, живя на родине, он, наверно, никогда и не подумал бы, она просто-напросто не существовала бы для него.

А для меня? Для меня, как для сына своего народа, эта проблема решена, потому что она решена в жизни самого народа.

Но как для ученого-филолога она, эта проблема, изучение убыхского языка, прямо связана с моей специальностью. Для меня — это альтернатива тому пути, на который мы встали в своей стране. И альтернатива горькая, с которой мне в душе трудно примириться, о каком бы народе ни шла речь. Собственно говоря, если бы это не волновало меня, я, наверно, не переплыл бы море и не приехал сюда, и здесь, на краю этой голой равнины, не сошлись бы два человека, столетний и тридцатилетний, каждый по-своему переживающий эту проблему.

Исчезновение Бытхи и смерть Тагира

Знаешь ли ты, мой дорогой Шарах, чем отличается память от женщины? Вижу: не знаешь. И не ломай голову над разгадкой. Сам растолкуй. Все проще простого: женщина может изменить мужчине только тогда, когда она молода, а память изменяет ему, когда становится старухой. Не взыщи, сынок, если моя память станет все чаще изменять мне.

В год отречения Мустафы Кемалю от звания паши мы сняли богатый урожай хлопка. Возрадоваться бы такой удаче, да где там! Время было беспокойное, шла война, и дороги на базары были перерезаны враждовавшими армиями. С одной стороны — султан, не то попавший в кабалу, не то продавшийся англичанам, французам и грекам, отхватившим по жирному куску турецкой земли, а с другой — повстанцы Кемалю, поклявшиеся освободить родину. Барышники, как шакалы, шныряли по вилайетам*. Вилайет — губерния. Они за бесценок скупали хлопок и, переправив его куда-то за линию фронта, перепродавали втридорога. А кому пожалуешься? Хусейн-эфенди сам неплохо зарабатывал на темных сделках с хлопком. У него закона не ищи. А в Стамбуле, если верить слухам, султан, оказавшийся заложником чужеземцев, стал почти безвластным. Он заочно приговорил к смертной казни Кемалю и его соратников, но каждую ночь в столице были пожары, взрывались пороховые склады, горели пароходы с амуницией у Галатского моста, а вблизи Ильдыз-Киоска, султанского дворца, слышалась перестрелка. Аскеры, посылаемые султаном против повстанцев, часто переходили на сторону их вождя, приговоренного к смерти в Стамбуле, но ставшего самым главным в Анкаре. Страна походила на туловище о двух головах. Селение наше Кариндж-Овасы напоминало караван-сарай. Кого в нем только не побывало! Видели мы французов, и греков, и султанских башибузуков, и у всех у них не было ни стыда, ни совести. Каждого вставшего на постой — корми; сам под открытым небом ночуй, но ему место в доме дай! А тут еще наши убыхские парни, играя в нарды, повздорили. Слово за слово, и вспыхнула драка. Дело дошло до крови. На лице одного из них остался шрам. Пострадавший был из спесивого рода нагвацев. Они сочли, что им нанесена такая смертельная обида, словно в этой драке отправили на тот свет их сородича:

— Око за око! С таким шрамом спокойно жить не будем! Оскорбление вызывает к мести!

Парня, оставившего зарубку на лице своего прежнего приятеля, звали Фархат. Был он из рода чызмаа. Родственники его, почуяв, что случившееся кровопролитие обещает теперь долгую резню, не струсил, а, напротив, закусив удила, решили, что им идти на мировую с нагвацами никак нельзя.

— Если начнем мириться, — эти трусливые нагвацы решат, что мы ослабели, — предупреждал один из них, слывший провидцем за то, что всегда попадал пальцем в небо.

— Надо тайком отправить Фархата к шаруалам под покровительство самого Хусейна-эфенди! — посоветовал второй, уму которого, как говорили злые языки, мог бы позавидовать тогдашний великий визирь Тевфик-паша.

И Фархата отправили к шаруалам. Хочу объяснить тебе, милый Шарах, что любая распря среди убухов была праздником для сердца Хусейна-эфенди. Он, как сына, принял Фархата, обласкал его и, обмундировав, определил в отряд стражников, оберегавших достояние Али Хазрет-паши. Увешанный оружием, на бесноватом коне, с мозгами набекрень, Фартах ничем не отличался от вороватых и крикливых делибашей, для которых, как и для самого Хусейна-эфенди, убить беззащитного человека было все равно что зарезать цыпленка. Воистину собака эмира хуже, чем сам эмир. Случалось, отряд головорезов, в числе которых был Фархат, наведывался и в Кариндж-Овасы. И каждое такое посещение походило на набег.

Как-то довелось видеть Али Хазрет-пашу издали, в усадьбе Мансоу, сына Шардына. И теперь, когда он появился у нас, я сразу узнал его. Он сидел на черном арабском жеребце и держался одной рукой за переднюю луку, словно боялся упасть с седла. А рядом на белом мерине восседал высокий и худой как жердь французский генерал в фуражке с козырьком, похожим на сорочий хвост. Позади них целой подковой стояла конная свита. Мухтар, выйдя из толпы, приблизился к всадникам, снял шапку и поклонился, но паша, гарцуя, не обратил на него внимания. Он повернулся к толпе:

— Уважаемые жители Кариндж-Овасы, я не верю, будто вы оказались клятвоотступниками и отказываетесь поддержать великого султана, наместника аллаха на земле. Я не верю, что вы желаете разбить сердце вашего славного земляка — Анзавур-паши, приближенного султана. Турция не по своей вине понесла тяжкие потери в мировой войне. Воспользовавшись этим, преступные самозванцы, возомнив себя полководцами, сеют смуту и раздоры. Но султан сумеет свернуть им шею. К тому же он не одинок. Вот смотрите, рядом со мной — французский генерал. Этот храбрый военачальник прибыл со своей армией помочь великому султану — законному правителю страны. И не только доблестные французские войска протянули нам дружескую руку. Англичане и греки тоже союзники султана. Кто устоит против такой силы? Мужественные убухи, вспомните, как в тяжелое для вас время турецкие власти предоставили вам убежище и осыпали вас милостями. Презренные самозванцы хотят оклеветать вас, распространяя слухи, будто вы отказываетесь служить в войсках великого султана.

Сит, отделившись от толпы, приблизился к всадникам и, взяв шапку под мышку, поклонился:

— Милостивый паша, ты прав, мы не враждуем с султаном, но откуда нам взять воинов, чтобы пополнить его войска? Нас осталась горсточка! Молодые почти все погибли в боях...

Али Хазрет-паша нетерпеливо прервал Сита:

— Не к лицу тебе, старец, обманывать меня. Эй, Мухтар, подай список подлежащих призыву.

Мухтар на полусогнутых ногах подбежал к паше и вынул из-за пазухи затрепавшие на ветру листы бумаги.

— Вот видишь, старик, сколько здесь имен. И все занесенные в этот список обязаны в должное время явиться на майдан. Все, кто уклонится от призыва, подлежат военному суду. Я вижу, что среди вас нашлись смутьяны, которые сеют заразу, подбивают на бунт. Эй, Мухтар, ты что, потокаешь врагам отечества? Почему не донес, что в селении появились лазутчики врага?

Дрожащий от страха Мухтар, отвечивая поклоны паше, забормотал:

— Я доносил Хусейну-эфенди!

— А-а... Вспоминаю, вспоминаю. Алим какой-то мутит здесь воду...

— Так точно, господин мой! Алим по имени Тагир!

— Где же этот предатель?

— Он уважаемый в народе наш человек,— возразил Сит, надев шапку.

— Где же он, я спрашиваю?

— Отправился в Стамбул.

— Зачем?

— С жалобой на Хусейна-эфенди.

— Вот оно что!

— Все по закону, и отправился он не куда-нибудь, а в Стамбул.

— Я надеюсь,— вновь обратился паша к толпе,— что удальцы убыхи будут рады, как и прежде, отличиться в боях за дело султана и халифа!

Ты спрашиваешь, дорогой Шарах, чем окончилась наша встреча с султанским пашой? Да ничем. Паша уехал, у него было много разных других хлопот, не только с нами, убухами. И пока наших парней начали забирать в султанскую армию, многих из них и след простыл. Каких-то неудачников все-таки взяли. Конечно, тех, кто не успел удрать. Но с неудачниками ведь так всегда и бывает — то они некстати спешат, то некстати задерживаются...

Однажды утром, когда солнце уже стояло, над головой, на проселочной дороге, поднимая пыль, появился верховой. Он сидел на неоседланной лошади и кричал:

— Эй, люди! Пропала наша святыня! Исчезла Бытха!

— Как — пропала? Куда исчезла? — не веря ушам своим, спрашивали встречные.

— Ступайте к подножию холма! Сами убедитесь! Ступайте, все ступайте!

Словно гонимая ветром искра, пронеслась по селению недобрая весть. И народ поспешил к холму с одиноким грабом. Сит болел, но, услышав об исчезновении Бытхи, забыв о недуге, оделся и, опираясь на посох, направился к холму. Я еле поспевал за ним. Когда мы приблизились, у подножия холма уже стояла толпа, словно в былые дни, когда верующие еще собирались к Бытхе. Старцы, поднявшись на вершину, к ужасу своему убедились, что парень, всполошивший все население, не соврал. Каменная ниша, в которой покоилась ястребиноликая Бытха, была разрушена. А одинокий граб, как убитый часовой, лежал рядом, подрубленный под корень. Народ молчал. Сит долго разглядывал обломки камней, след топора на стволе кривого дерева, щупал пальцами увядшую, помертвелую листву, потом выпрямился, окинул взглядом толпу и сказал:

— Совершенно злодейство! Кто-то похитил нашу святыню. Не сегодня это случилось и не вчера. Листва успела пожухнуть и след топора побуреть.

Народ загудел. Большинство людей, стоявших в толпе, уже не исповедовали прежней, но святотатство оскорбило их. В эту минуту память крови напомнила им, кто они, и соединила их во гневе. Так порою печаль после долгой размолвки соединяет на похоронах родственников.

Поверь, Шарах, я почувствовал себя так, словно нанесли мне смертельную обиду. И если бы вдруг передо мной оказался человек, повинный в этом преступлении, мои руки первыми дотянулись бы до его глотки.

— Кто решился на такое кощунство?! О всемогущая Бытха, обернись громом, обернись молнией и обрушья на голову злодея! Пусть вечное клеймо проклятья ляжет на весь его род,— сняв шапку и воздев к небесам дрожащие руки, негодовал старик Татластан.

И многие в толпе отозвались ему:

— Аминь!

«Этого не мог совершить убых»,— подумал я про себя, но оказалось, что подумал я вслух, и кто-то из односельчан крикнул:

— Верно, Зауркан! Это кто-то из врагов наших!

Но лысый, плюгавый, кривой на один глаз сосед Тагира — жаль, что я запомнил его имя,— ухмыльнулся и возразил:

— Легко на чужих валить! А если свой?

— Не дури! — обрезал кривого седоголовый Даут.

— Почему раньше не заметили, что пропала Бытха? — спросила женщина в темном платке. В ее вопросе звучал укор всем мужчинам селения.

И, словно снимая вину со стариков, кивнув на молодежь, Даут ответил:

— Чего удивляться? Убыхам давно не в новость бросать свое и поклоняться чужому. Не зря, верно, о нас говорят как о перекасти-поле. Давно ли вы сами зубоскалили здесь над жрецом Соулахом, царство ему небесное!

И опять подал голос лысый:

— Дыма без огня не бывает. Бегали за вором по чужому селу, а он в своем спокойно спал...

Люди насторожились.

— Говори, если кого-то подозреваешь! — потребовали из толпы.

— Мало сказать, надо доказать! — предостерег лысого Сит.

— Свидетели найдутся...— огрызнулся лысый.

Толпа сдвинулась плотнее.

И в тот же миг послышался возглас:

— Дайте пройти!

Люди расступились, и, весь в белом, с часовой цепочкой на животе, вперед вышел Рахман с сыном. Этот человек давно промышлял у нас торговлей и базарными сделками. Не то чтобы он сам был купцом, но частенько пристраивался к проходящим караванам и выполнял поручения караван-башей. В общем, умел держать нос по ветру и, куда бы ни отправлялся, всегда брал с собой сына. Натаскивал своего щенка.

— О праведная и всемогущая Бытха,— взмолился Рахман, опустившись на колени и положив перед собой снятую с головы соломенную шляпу,— если окажется, что я лжесвидетельствую, пусть гнев твой падет не только на мою голову, но и на голову моего единственного сына. Окаменеть мне на этом месте, если я совру хоть единым словом.

— Выставила лиса в свидетели свой хвост,— сказал Татла-стан.

— Своими глазами видели! — сказал сын Рахмана.

— Бытху украл Тагир! — точно под пыткой выдавил из себя Рахман.

Толпа замерла.

— Этого не может быть! Клевещешь! — угрожающе поднял посох Сит.

— Понимаю: поверить трудно, но против правды не пойдешь.

— Ври, да не завирайся! Гоните его в шею!

— Легко сказать: «Брысь под лавку!» — а может, так оно и есть! — крикнули из толпы.

— Всякое бывает, — опять подал голос лысый. — Даже дочь муллы согрешить может! Дайте договорить отцу с сыном.

— Уважаемые, наша похищенная святыня, где бы она сейчас ни была, обладает силой возмездия. Пусть, если я навожу на Тагира напраслину, кара Бытхи падет на меня самого... Дней десять тому назад я и мой сын присоединились к каравану, который шел в город Кония. Завершив там дела, мы решили кое-что купить себе на обратную дорогу. Проходя по торговой улице, волей случая мы оказались рядом с лавкой, где продают ценные вещи из камня, стекла и слоновой кости. Глядим: из лавки выходит Тагир. Мы окликнули его, но он или не услышал нашего зова, или сделал вид, что не услышал, и скрылся в толпе. На той улице всегда много людей. Мы знали, что Тагир еще до нашего отъезда отправился в Стамбул с жалобой на Хусейна-эфенди, и вдруг вот тебе на — он в городе Кония! Я и мой сын из любопытства заглянули в ту — не для простых людей — лавку, из которой вышел Тагир. Входим и видим, словно в дурном сне: трое приказчиков разглядывают на прилавке ястребиноликую Бытху.

Услышав это, толпа ахнула, а Рахман, как мусульманин во время намаза, сложив перед собой руки, продолжал:

— Базальтовое тело Бытхи будто почернело, позолоченные глаза сверкали яростью, а на когтях словно кровь проступила!

«Этот черкес, кажется, надул нас», — разглядывая Бытху, сказал один из приказчиков, а другой, похлопав его по плечу, рассмеялся: «Не горюй! Эта штука не драгоценная, но редкая. Все равно в барыше будем».

Мы с сыном прямо там на лавке упали перед Бытхой на колени, но выскочившие нам навстречу приказчики вытолкали нас за дверь.

— Чего время попусту тратить! Все ясно: теперь знаем, кто вор! Пусть Тагир вернет нам святыню, а не то сдерем с него шкуру живьем! — сердито

крикнул парень, который когда-то, на последнем молебне, в день смерти Соулаха, первым свистел здесь же, на этом холме.

Толпа колебалась, одним хотелось растерзать Рахмана, другим — кинуться к дому Тагира.

— Хоть режьте меня на куски, не верю я этому барышнику! А Тагиру — верю, как себе самому! — вскрикнул Сит.

— Всем рот не заткнете! — крикнул лысый. — Пригрели осу под рубашкой! Поехал в Стамбул, а оказался в Конии!

Я и еще несколько человек знали, что Тагир отправился вовсе не в Стамбул, а в Анкару, чтобы поговорить там о наших делах с представителем Советской России, который, по слухам, уже приехал к Кемаль-паше. Тагир хотел узнать: не могут ли теперь, после революции, те из убухов, которые этого пожелают, вернуться к себе на родину.

Но оповестить всех о действительном местопребывании Тагира было опасно: в толпе наверняка находились ищейки Хусейна-эфенди, и они мигом бы донесли хозяину. А уж этот душегуб не замедлил бы тогда взять под стражу всю семью Тагира.

Я вышел вперед:

— Пусть заткнут глотки лжецы! Скоро сами убедитесь, что все сказанное Рахманом — ложь! Он напрасно решил, что мы ослы вислоухие! Ни в какой Конии Тагир не был!

Ко мне подскочил лысый и взвизгнул так, словно ему прищемили то самое место, которое отличает мужчину от женщины:

— В сговоре вы с ним! В сговоре! Одной шерсти черти!

Я рванул из ножен кинжал:

— Выпущу кишки и намотаю тебе их на шею.

Лысого как ветром сдуло — он кубарем покатился по склону. Как видно, от сплетни и на коне не ускачешь. И пошла она гулять по всем убухским селениям. Один соврал, другой не разобрал, а третий от себя добавил. Скотина бывает пестрой снаружи, а человек изнутри. Те, кто вчера перевозносили Тагира и готовы были подать стремя каждому его слову, сегодня, поверив лжи, называли этого благородного человека вором и готовы были отсечь ему голову. В Кариндж-Овасы и его окрестностях шли суды-пересуды о краже Бытхи. Мне, как и другим друзьям Тагира, не терпелось дожидаться его возвращения и вместе с ним постараться узнать, кто в самом деле похитил Бытху и кем были натравлены на него Рахман и лысый.

Но Тагир все не возвращался, и как-то под вечер я и Даут решили поговорить с Рахманом сами. Вошли во двор — ни души, даже куры не квохчут. Спросили соседей:

— Где Рахман?

— Уехал с семьей еще на закате того дня, когда узнали о пропаже Бытхи. Погрузили все пожитки на повозку, привязали сзади корову и уехал.

— Куда?

— Кто знает? Фархат Чызмаа наведывался к нему накануне.

«Ах, вот куда ниточка ведет», — подумали мы, на горе свое еще не зная, как далеко она ведет...

Лошади были — конюшни не было, конюшня появилась — лошадей не стало... Тщетной оказалась надежда Али Хазрет-паши сделать убыхов аскерами султана. Напрасно конные вестники паши с возгласом «Да здравствует султан!» рыскали по селениям.

Но, как я уже говорил тебе, Шарах, пожива их была небогата.

А про Али Хазрета нам говорили, что когда он про все это узнал, то язык его запенился от бешенства, словно раскаленный кусок железа, опущенный в воду. Каких только ругательств не обрушивал он на грешные головы убыхов! И все ничего было бы, когда бы дело кончилось одними проклятиями. Но абреки паши теперь по его приказу врываются в наши дома, отбирали все, что им понравилось, угоняли скот, насиловали женщин, а если заставляли где-нибудь хворых или притворившихся хворыми молодых парней, то сразу расстреливали их как дезертиров.

— Ла илаха ила-ллахи! Да здравствует султан!

И именем бога можно делать зло, и именем закона творить беззаконие.

— Астагфураллах!* Помоги, аллах! — взмолились люди.

Они поняли, что житья им в Кариндж-Овасы теперь больше не будет — изведут. Надо куда-то уходить, переселяться. Ох уж эти переселения! Они, словно злой рок, преследовали нас, убыхов.

Беда придет — с ног собьет... Тагир возвратился, так и не добравшись до Анкары. Кругом посты, кордоны, заставы, дороги перерезаны, у мостов и переездов — часовые, одним словом: война. Был поздний час, когда бедная Гюлизар, встретив вернувшегося среди ночи мужа, кинулась ему на шею. Слезы так и лились из ее глаз.

— Что стряслось? — спросил ее Тагир.

Гюлизар начала рассказывать, как оклеветали его, обвинив в похищении Бытхи. И едва успела закончить, как вдруг Тагира позвали с улицы.

— Хозяин дома?— спросил кто-то по-убыхски.

— Не выходи! Спрячься!— кинулась к Тагиру жена.

— Не тревожься. Это кто-нибудь из своих!— сказал он и пошел открывать калитку. Раздался выстрел, и Тагир упал.

Четверо вооруженных мужчин, спешившись с коней, ворвались в дом, схватили взывающую о помощи Гюлизар, заткнули ей кляпом рот, связали по рукам и ногам. Проснувшихся перепуганных сыновей тоже спутали веревками. Всех троих бросили поперек седел, подожгли дом и ускакали.

Когда мы с Ситом добежали, домик Тагира превратился в груды черных дымящихся досок. Насытившийся огонь еще выбрасывал багровые, искрящиеся языки. Дым, пепел и гарь неслись по ветру. Тагир, залитый кровью, лежал ничком во дворе. Я сначала подумал — убит наповал. Но он был не мертв, а смертельно ранен и, когда очнулся, еле слышно спросил, где жена и дети.

— Живы, живы,— отвечал я, не зная, что сказать, и готовый завывать от горя.

Но Тагир не поверил моим словам. Это я понял, увидев, как по щеке его проползла слеза.

— Кто стрелял в тебя?— спросил я, приподняв его голову.

— Фархат Чызмаа.

Сбежались люди. Все, кому Тагир был дорог, близок, кто связывал свои надежды с ним, находились здесь, сраженные горем. Раненого перенесли под наскоро сооруженный навес. Я смотрел на угасающие черты родного мужественного лица, и небывалая, беспомощная тоска сжимала мое сердце. Тагир умирал, и в огне погибло все, чему он посвятил жизнь. Никто уже не напишет истории убыхского народа, никто не составит азбуки для убыхских детей.

Тагир еле пошевелил безжизненной рукой и прошептал:

— Возвращайтесь домой! На Кавказ... Все... Домой!

Это были его последние слова, его завещание. Тагир умер до восхода солнца. Почти все селение собралось, чтобы оплакать его. Даже мулла явился, который еще недавно называл Тагира гяуром. Тайнственное бегство Рахмана и убийство Тагира было неопровержимым доказательством, что он не имел никакого отношения к исчезновению Бытхи. И тот, кто навет

Рахмана принял за чистую монету, теперь пристыженно каялся, лил слезы и просил прощения у мертвого.

— Уаа, нан, мой Тагир,— запричитала тетушка Химжаж, сидя с распущенными волосами в изголовье покойного,— взгляни, сколько достойных людей собралось почтить тебя!

Послышались рыдания женщин и тяжелые вздохи мужчин.

Пришел проститься с другом юности и Мансоу, сын Шардына. Шепотом он сказал поблизости стоящим:

— Жаль его! Настоящим алимом был! Даром погубил и себя и семью. Я предупреждал его... Хотел проткнуть мизинцем каменную стену... Мечтатель...

Подъехали богатые дрожки и остановились поодаль. Перед тем как сесть в них, Мансоу, сын Шардына, подошел к нам, старикам:

— Да пребудет добро с вами! Не забуду трудов ваших, положенных на меня. Спасибо! Должно быть, мы уже не свидимся больше. Имение я продал и уезжаю во Францию, на родину жены. Как говорится, кто старое вспомянет, тому глаз вон, но не скрою, разобидели вы меня, когда последнюю святыню народа через управляющего Хусейна-эфенди послали в дар Али Хазрет-паше. Или я менее его был достоин такого дара? Откупиться от него хотели? Да разве с этим разбойником можно иметь дело? Было бы больше прока, если бы вы поддержали султана! Но как бы вы ко мне ни относились, все равно я не забыл, что мой отец был убыхом. Да, почтенные, не забыл! И знаете, что я сделал? А вот что: выкупил ваш дар у Али Хазрета. Выкупил и на цену не поскупился. Увожу Бытху с собой, может быть, хоть мне принесет она теперь счастье на чужбине. Прощайте и не поминайте лихом!

Мансоу, сын Шардына, сел в дрожки и скрылся в облаках пыли, взбитых копытами на дороге.

Почти все мы, собравшиеся проститься с Тагиром, были люди старые, оплакивая его, мы оплакивали всю нашу черную судьбу и сквозь слезы видели завещанную им нашу далекую незабвенную родину, имя которой Убыхия.

Тагира похоронили на холме, на том самом холме, где раньше находилась Бытха. Закатное солнце осветило прощальными лучами свежую могилу.

Люди не торопились расходиться. Они стояли склонив головы, и скорбные думы не покидали их. И тогда я поднялся на холм и стал рядом с могилой Тагира. В руке у меня была труба. Я поднес ее к губам, и по пустыне поплыли стенания медной трубы убыхов. Она рыдала над свежей могилой Тагира. Она проклинала и звала в путь, в страну убыхов, на родину! Больных — на носилки, младенцев — в сумки, за пояс — топоры и кинжалы.

Пусть это будет кровавый путь, но мы должны идти, ибо кто потерял родину — тот потерял все.

Так печалилась и звала труба до тех пор, пока я не изнемог и не опустил руку.

Темень все плотнее обнимала все окрест, только на небосводе мерцали редкие звезды, будто небо оплакивало нас холодными слезами. Это была последняя ночь убухов на земле, на которой им не стало житья.

Последний путь

Уже больше недели, как почти все мы — неспособные носить оружие жители тринадцати убухских поселений, старики, женщины и дети, — находились в пути, с остатками своего скарба похожие не то на погорельцев, не то на цыган, не то на беженцев из фронтовой полосы. Три тысячи дворов снялись пусть не с дедовских, но все же с насиженных мест, а три тысячи — это немало. Стояло лето — сухое, каленое. Днем жара такая, что мозги кипят, а ночью холод собачий. Ни дать ни взять как в африканской пустыне, где я маялся и коптился караванщиком у Исмаила Саббаха, чтоб ему на том свете жариться в адском огне.

Словно выполняя волю покойного Тагира, мы держали путь в сторону Кавказа. Может быть, если бы наша дорога лежала в Сирию или Аравию, которые уже не принадлежали Турции, Али Хазрет-паша махнул бы на наше переселение рукой: «И без убухов забот полон рот!» — но направлялись мы к отеческим пределам, где правила ныне власть, дружественная Кемаль-паше. «Пригрели змею на груди своей, — негодовал Али Хазрет-паша, — все эти махаджире с Кавказа — изменники, предатели, враги султана. Ну, я им покажу!» И слова его не расходились с делом: карательные отряды этого султанского приспешника будто волчьи своры налетали на нас и выдирали все новые и новые жизни из нашего, спасавшегося бегством, людского гурта.

Не знаю, но думаю, что будь у нас побольше сил и оружия, мы пробилась бы и через мюридов Али Хазрета, и через греков, которые то наступали, то отступали в этих местах, и в конце концов наше упрямство и наша удача, может быть, и вернули бы нас на Кавказ, на наши родные вершины.

Но сил у нас было мало и оружия тоже. Хотя все-таки оно было, потому что по дороге к нам присоединилось несколько десятков наших вооруженных парней, до этого или воевавших то на одной, то на другой стороне, или скрывавшихся в горах. Они были при оружии и, как могли, защищали нас.

Мы шли по голой, как ограбленный мертвец, равнине Конин, где на десятки верст ни деревца, ни родника, ни колодца. Недаром сами турки говорят о ней, что «ее и на верблюде не одолеть».

Лошади, осаждаемые слепнями, еле передвигали ноги. Словно перемалывая кости, скрипели арбы, на которых сидели дети, лежали немощные и хворые старики. Мы торопились. Мертвых хоронили наскоро и оплакивали на ходу. Раненые, которые могли еще передвигаться сами, хотя у них мутилось сознание, не просили места на повозках. И только тех, кто уже находился между жизнью и смертью, везли на арбах или несли на носилках. То спереди, то еще где-то вспыхивала перестрелка. Стрелять в людское скопище — дело недостойное, но зато верное: всякая дурная пуля жертву найдет. А у наших парней задача была посложней: наши преследователи на конях, они увертливы, как шайтаны, разрядят свои ружья и снова скачут прочь врассыпную.

Али Хазрет-паша грозил через подсланных им уговорщиков:

— Если не хотите поголовно погибнуть, бросайте оружие и поворачивайте, пока не поздно, обратно! Клянусь аллахом, что стремящиеся в объятия врагов султана с моей помощью угодят в объятия смерти!

Но мы не поддавались ни на посулы, ни на угрозы. Река стремится к морю, а человек — к родной земле. И раз мы уже пошли, мы не хотели возвращаться, потому что зов родины, как зов истины, неодолим. Чтобы подбодрить упавших духом, мы — старики — иногда затягивали старинную походную песню убухов:

Пусть кровь течет из наших ран,
Врагам наперекор,
Вперед, достойные стремян,
Вперед — во славу гор!

Так звучал припев этой песни. Молодые уже не понимали слов песни, но им все равно нравилось, когда мы ее пели. Половина гиблой равнины осталась позади. И тут пришла новая напасть: наши скудные запасы пищи кончились и начался голод — начался он с плача детей. Лучше день и ночь слышать свист пуль над головой, чем плач голодных детей. Выхода не было: пришлось колоть быков, потом стали стрелять лошадей. Тебе приходилось, дорогой Шарах, слышать предсмертное ржанье коня? Когда мы сожгли повозки, настал черед пустить на дрова и деревянные люльки. А больше ничего деревянного, пригодного для костра, у нас не оставалось, если не считать ружейных прикладов, но они нам были еще нужны, чтобы отвечать огнем на огонь...

«Пусть кровь течет из наших ран...» — эта песня была как посох для души. Но кроме голода нас взяла за горло еще и жажда. Голод и жажда вцепились в нас, как два бешеных волка. И не отобьешься. Кругом ни источника, ни родника, ни колодца!

— Пить, мама, пить!— обуглившимися губами шептал ребенок.

А у матери даже слезы высохли. Когда ранят — кровь уже почти не течет, черная, мгновенно запекается. Отряд, посланный найти воду, не вернулся. Людской поток уже не движется, а ползет. Голод приводит к распрям из-за куска хлеба, из-за глотка воды. Люди едят траву, когда она изредка попадает на пути. А кому удастся поймать мышонка — счастлив.

Не падайте духом, дождь милосердно
Нынешней ночью прольется с небес,—

пробуя подать людям надежду, поем мы, старики, но это уже не песня, а причитание.

И вдруг как глас с небес!

— Болото, здесь неподалеку болото!— шатаясь, как пьяный, хрипел невесть откуда взявшийся человек, и казалось, даже умирающие поднялись, услышав эти слова.

Кто бегом, кто шагом, кто ползком — все двинулись туда, куда показал этот человек. Матери подхватили на руки малых детей, а дети постарше опередили взрослых. Иные, лишившись чувств, рухнули на потрескавшуюся, словно корка перезрелой дыни, горячую землю и лежали на ней с открытыми ртами, как рыбы, выброшенные на берег. И никто не обращал на них внимания.

Вскоре под ногами людей захлюпали кочки. Болото было широким. Зыбкие подступы к нему заросли тростником. Над трясинной стоял гнилой смрад. Почва и трава вокруг были словно посыпаны солью. Кто-то кричал:

— Остерегитесь пить эту воду, остерегитесь!

Да где там! Отталкивая друг друга, тяжело дыша, люди кидались на колени и, прикинув к бурой, мертвой воде, пили ее до тех пор, пока не начинали захлебываться. Вода была теплая, тягучая, в ней кишмя кишели какие-то осклизлые блохи, личинки, паучки, но мы, убухи, пили ее с такой жадностью, с какой никогда не утоляли жажды из своих горных чистых родников. И когда напились уже, как говорится, до ушей, все равно не отходили от болота. Несмотря на испепеляющую жару, дрожа всем телом, люди испытывали муку жаждобоязни, как бешеные собаки испытывают муку водобоязни. Потом, отдышавшись, стали наконец оглядываться, ища близких. Бросились поднимать не дошедших до воды, среди которых уже было несколько мертвецов.

Не одно, так другое. Чуть утолили жажду, как снова начался голод. Правда, на следующий день нам повезло. Двое наших парней-разведчиков, шедших на несколько верст впереди, вдруг заметили косяк пасущихся коней. Парни не растерялись и выстрелами погнали весь косяк на нас, терзаемых

голодом. Ты когда-нибудь слышал, дорогой Шарах, о войне между людьми и лошадьми? Так вот слушай: она произошла там, у берегов злосчастливого болота. У кого в руках были ружья — открыли огонь по лошадям, у кого были кинжалы — кинулись на мчавшихся животных, как в рукопашную схватку, у кого были топоры — врубались в заметавшийся косяк, как в лесную чащу. Безумный храп и ржанье лошадей, с которых летела багровая пена, люди под копытами обезумевших коней, стоны, вопли! Падали окровавленные лошади с разрубленными черепами, перебитыми ногами, с распоротыми животами, падали раздавленные люди. Со сраженных животных, порой еще недобитых, сдирали шкуры, раздирали тела их на куски. Голодный человек как волк. Нарубили, наломали тростник. Развели из него вонючие костры. Запахло поджаривающейся кониной. Когда утолили голод полусырым мясом, снова почувствовали жажду и снова подходили к болоту и пили тухлую воду, черпая ее горстями. Потом похоронили погибших в схватке с табуном. И прежде чем двинуться дальше, подожгли тростник, густо росший вокруг болота: «Пусть враги думают, что мы еще жжем костры!»

Надежда, возродившаяся в огне костров, придала нам силы, но ненадолго. Ушли от двух бед — настигла третья. Среди убыхов вспыхнула холера. Первой заболела, женщина, мать троих детей. Крепко стиснув руками живот, дрожа от озноба, она с посиневшими губами и веками каталась по горячему песку. Потом руки и ноги ее начала сводить судорога. Через несколько часов женщина умерла, а болезнь перекинулась на ее детей. Людей охватил ужас. Одни возносили молитвы богу, другие проклинали его. Я превратился в добровольного могильщика и вскоре похоронил двух самых близких моему сердцу людей: тетюшку Химжаж и ее мужа Сита. Когда первой умерла Химжаж, он сказал мне:

— Зауркан, я занемог. Похорони меня рядом с Химжаж, не хочу оставлять ее одну в этой проклятой земле.

Он сам вырыл себе могилу бок о бок с могилой жены, и предсмертная мука его была недолгой.

Я стоял над их могилами, и хотя глаза мои были сухи, на щеках появились слезы. Так порою на скалах, хотя небо ясно, появляются холодные капли. Я плакал, как эти скалы, и слезы мои проступали сквозь морщинистую кожу щек.

И вдруг я услышал голос самого старого из нас всех, Татластана:

— Еще не успели умереть, а хороните себя. А ну, поднимите головы! Ахахара, хахаира! Хлопайте в ладоши! В пляс! В пляс!— И он затанул плясовую песню, словно был самым здоровым среди нас человеком, сбросившим с плеч сразу полстолетия.

Я недоумевал: не спятил ли он с ума?

Но Татластан был в твердом уме и ясной памяти.

— Разве вы не видели, как свеча, перед тем как потухнуть, вдруг вспыхивает сильнее? Давайте, как падающая звезда, нет, как молния, сверкнем перед смертью в глазах врагов!

Татластан все сильнее и сильнее бил в ладоши, подходя то к одному, то к другому из нас:

— Ахахара, хахаира!

И правда, совершилось чудо. Никто не крикнул в ответ: «Ты с ума сошел! Угомонись!» Напротив, люди, еле державшиеся на ногах и без проблеска воли лежавшие на песке, начали потихоньку хлопать в ладоши и шепотом, потом вполголоса, а потом и во весь голос подхватили плясовую песню своих дедов.

— Эта земля оглохла и не слышит плача наших детей, она ослепла и не видит, как мы гибнем! Так давайте станцуем, так станцуем, чтобы топот наших ног загремел в ее ушах. Пусть знает, что мы еще живы и не хотим сдаваться ей!— взывал Татластан.

Постепенно образовался круг. Если бы ты, сынок, видел лица стоявших в этом кругу... Представь себе лица улыбающихся мертвецов...

А Татластан, обращаясь к себе самому, выкрикивал:

— Эх, Татластан, неужто пропало твое умение? Ведь на свадьбах в Убыхии ты мог когда-то танцевать на узком столике. И у девушек кружились головы, когда ты— ахахара!—плясал, стоя на носках. И столик не качался. И из стаканов, полных вина, не пролилось ни капельки! А ну, тряхни молодостью!

И он пустился в пляс, положив руки на бедра.

И тогда все смешалось — и причитания, и удалые возгласы «ахахара», и слезы, и улыбки. Наступило безумие. И я сам, как накурившийся гашиша, ударял в ладоши:

— Ахахара, хахаира!

А Татластан даже попробовал припасть на одно колено, но это ему не удалось.

«Старые кости уже не поддаются,— подумал я.— Каждому танцу — свои годы! Но откуда же все-таки он взял силы?» Воистину о молодости женщины судят по лицу, а о молодости мужчины — по душе. Происходившее там, в пустыне, напомнило мне поговорку, которую придумали наши предки еще задолго до моего рождения: «Мертвецов

созовем на пир и покойников заставим танцевать!» «Неужели,— вспомнив это, содрогнулся я в душе,— они предвидели ужасный конец своих потомков?»»

Вдруг Татластан, не переставая пританцовывать, стал выходить из людского круга, зовя за собою всех нас, хлопающих в ладоши. Дух старика был на исходе. Он от усталости уже не мог ворочать языком и только кивками головы предлагал толпе следовать за ним. И толпа повиновалась, словно он тащил ее на веревке. А он тянул ее в ту сторону, где вдруг проголосил петух. Там, уже совсем рядом от нас, была первая в этой пустыне деревня... Что случилось дальше, Зауркан представлял себе плохо. И о пройденном пути рассказывал сбивчиво. Он не мог вспомнить ни сколько времени убыхи находились в пути, ни названия местности, которой они достигли, ни числа оставшихся в живых убыхов. Сегодня рассказывал одно, а завтра — другое. Все путалось.

В те дни он сам заразился холерой, может быть, этим и объяснялись провалы в его памяти? Одно было ясно: старик пережил что-то кошмарное. И когда начинал говорить об этом, то и дело вздрагивал, лицо его мрачнело, а голос пропадал.

Но все же где именно это место?

Я взял карту Турции и подсел к старику. Пальцем показал ему Конийскую равнину и болота, которые зелеными точками были обозначены на ней. Но старик не мог добавить к своим рассказам ничего нового.

По карте эти болота находились недалеко от места, где мы сейчас разговаривали со стариком. Оказывается, добираясь сюда, я проехал через те места, где покоятся кости погибших от холеры убыхов. Это где-то совсем рядом! И представление Зауркана о том, что они так долго находились в пути и что этот путь был нескончаемым, довольно далеко от истины: в действительности убыхи прошли не больше чем шестьдесят — восемьдесят верст. Но кто может винить старика в том, что сила горя удлинила в его памяти и дни и версты?

И опять мы садились вместе, и опять старик, мучаясь, собирал в своей памяти разрозненные воспоминания. Оказались мы словно между двух огней: и вперед хода нет, и назад путь отрезан. Жители окрестных деревень бежали от холеры в горы, прихватив с собой запасы пищи и угнав скот. Лишь те из них, кого уже поразил недуг, оставались дома. Где бы гром ни загремел, а молния всегда падала на нашу убыхскую голову. В распространении холеры османы обвинили нас, и те, кто остался в их деревнях ухаживать за их больными, и те из больных, кому уже удалось осилить свою хворь, встали с оружием в руках на пути нашего исхода.

Полицейские получили строжайший приказ из Стамбула: «Преградите убыхам все дороги. Не останавливайтесь перед применением оружия. Мертвых сжигайте!»

Когда мы приблизились к первому селению и были уже у крайних домов, навстречу нам выбежал какой-то крестьянин, выстрелил в шедшего впереди всех нас Татластана и исчез. Татластан упал. Я склонился над ним.

— Вот и меня прикончили, Зауркан! Если ты мужчина, похорони меня головой к Убыхии.

Он умер, а я почувствовал в теле озноб. Мне вспомнились слова из старинной песни: «В холерный год и ласточки не летают», и я посмотрел на небо: ласточек и правда не было. Даль заволокло туманом. Я провел ладонью по лбу. Туман растаял, но потом появился снова. Стоя над мертвым Татластаном, я никак не мог понять, в какой же стороне находится Убыхия. Похоронить его я не смог — не было сил. Я только перетащил его под дерево и закрыл ему глаза. Мне становилось все хуже. Чувствуя боль в животе, я поплелся к стоявшему на отшибе дому. Над головой засвистели пули, но я не обратил на них внимания.

Племянник Татластана и еще какой-то убыхский парень пробежали мимо меня с обнаженными кинжалами в поисках того крестьянина, который застрелил старца.

— Не мог же он сквозь землю провалиться?— кричал один из них.

— Наверняка он спрятался в каком-нибудь доме.

Приблизившись к воротам, я услышал душераздирающий крик женщины. Собрав остаток сил, я вошел в дом. Загнав перепуганную женщину в угол, племянник Татластана приставил кинжал к ее груди:

— Говори, где спрятался стрелявший? Я видел, он забежал в этот дом. Что стучишь зубами? Отвечай, тебе говорят! Если не скажешь, гурия ада, и тебе, и твоему сыну будет конец!— и кивнул на больного мальчика, который метался на постели.

— Клянусь аллахом, никто сюда не заходил. Обыщите дом, но не убивайте нас, невинных. Мой сын сирота, его отец умер два года назад,— отвечала перепуганная женщина, пытаясь протиснуться к несчастному мальчику.

— Прочь!— завопил я.

И наверное, мой голос походил на предсмертный крик зверя.

Ошалелые парни спрятали оружие. В это время на улице раздался выстрел, потом еще, и они выбежали из дома. Я тоже было шагнул обратно за порог, но женщина обхватила меня двумя руками:

— Не уходите, умоляю, не уходите! Если мы останемся одни, они вернутся и прикончат нас. Пожалейте нас!— она показала на мальчика.

Если бы эта женщина не удержала меня, тогда вряд ли бы я далеко ушел. Вскоре в глазах моих все поплыло, и, уложенный ею на тахту, я потерял сознание.

Сколько времени в бреду и в корчах, а потом в забытии пролежал я — сам не знаю, но когда пришел в себя, увидел, что нахожусь в незнакомом доме.

— Где я?— это были мои первые слова в день возвращения с полпути на тот свет. Обращены они были к женщине, стоявшей у моего изголовья.

— Считайте, у себя в доме.

— А кто ты, ханум?

— Если хорошенько посмотрите, может, вспомните?

Мне показалось, что женщина улыбнулась, и я начал рассматривать ее. Круглое лицо, большие черные глаза, несмотря на улыбку, полные печали, в волосах проседь. Я напрягал память: «Кто она?»

Но женщина подсказала сама:

— Помните, как двое ваших парней хотели зарезать моего сына и меня, а вы спасли нас и потом хотели уйти, но я умоляла вас остаться. А вы уже были больным, и мне пришлось положить вас на тахту. И до сегодняшнего дня вы были на краю могилы, но, слава аллаху, остались живы.

Постепенно моя голова начала проясняться, и перед глазами одна за другой выплывали виденья последнего пути убухов... Мертвецы, мертвецы... мертвецы... Пляшущий Татластан... И наконец я сам вспомнил, как попал в этот дом, и, приободрившись, решил подняться и посидеть.

— Ложитесь, ложитесь! Вы еще слишком слабы,— женщина, заботливо обтерев мое покрывшееся потом лицо, заставила меня опустить голову на подушку. Потом принесла чай и напоила меня.

— Значит, вот эти руки вырвали меня у смерти?— и я погладил ее руку.

— Вы сами — наш спаситель. Правда, нелегко было ухаживать сразу за двумя, здесь — вы, там — сын, но, слава аллаху, вы оба остались живы.— Она подошла к двери и, приоткрыв ее, позвала: — Бирам! Зайди-ка, сыночек, в дом!

Бесшумно, похожий на тень, передо мной появился мальчик лет пятнадцати. В его лице не было ни кровинки.

— Вот, Бирам, и дядя, наш спаситель, выздоравливает! — сказала сыну мать, не сводя с него любящего взгляда.— Подойди к нему, поговори с ним, только не долго, а то утомишь его!

Мальчик добрыми оленьими глазами посмотрел на меня и, подойдя к тахте, прошептал:

— Слава аллаху, слава аллаху!

А женщина, положив руку на голову сына, вздохнула с на деждой:

— Может, и к нам светлый день заглянет теперь в окна...

Дорогой Шарах, это было в доме, где мы сейчас сидим. Я лежал тогда как раз на этом самом месте, где сейчас находится моя постель, а она сидела, где сейчас сидишь ты, и смотрела на меня...

Я знаю, что мне не полагается произносить ее имени, ведь убыхи, как и абхазцы, не произносят имена своих жен. Но ты должен знать имя турчанки, спасшей меня: ее звали Салима.

Драгоценный ты мой, терпеливый ты мой, замучил я тебя своими рассказами, на каждом слове которых лежит отсвет крови и скорби. Все убыхи, предпринявшие попытки возвратиться на родину, погибли: одни — от холеры, другие — от пуль, а третьи, что остались живы, хоть таких было немного, оттого, что перестали быть убыхами.

Ты спрашиваешь, что стало с Салимой? Редчайшей души оказалась эта женщина. Мне было восемь десятков в тот год, когда она вырвала меня из когтей Азраила*. А з р а и л — ангел смерти. Вскоре я совсем оправился, набрался сил. Хотел было уйти, но она сказала: «Оставайся, идти тебе некуда. Отныне дом твой здесь». Был я, несмотря на то что находился в возрасте, еще крепким мужчиной. И мы жили с ней как муж и жена. Прошло несколько месяцев, о холере уже никто в деревне не говорил. Все ушедшие в горы вернулись. Только число могил увеличилось в этот год на сельском кладбище настолько, насколько не прибавилось бы за десять лет спокойной жизни.

Внезапно заболела Салима. Какая-то грудная болезнь на нее свалилась. Я делал все, чтобы ее спасти, но, наверное, этого было недостаточно. Перед смертью она попросила:

— Не оставляй Бирама! Будь ему отцом!

На другой день я похоронил ее. Отсюда неподалеку, на склоне холма, ее могила. Когда я выхожу на прогулку, я направляюсь туда. Мне всегда кажется, что там покоится не только она, но и все мои близкие. И я уже давно велел Бираму похоронить в свой час меня рядом с ними.

Покуда рос Бирам, он неотлучно находился при мне, жил под моим присмотром. Я был ему отцом и наставником. Женившись, он стал жить самостоятельно со своей семьей. О нем идет добрая молва меж людей как о честном человеке, трудолюбивом и умелом кузнеце. Свидетели бог и ты

сам, что сын не забывает меня. Каждый мой день теперь может стать последним днем в чужой стране, в доме, построенном не моими руками. Я — Зауркан Золак — последний убы? в этом несовершенном мире. И даже совестно, что я так задержался в нем... Вот и все, что я успел услышать от Зауркана Золака. Перечитываю свои записи и снова, и снова удивляюсь жизненности этого человека. Став свидетелем исчезновения своего народа, он все-таки нашел в себе силы больше месяца, день за днем, вслух вспоминать при мне.

— Сыночек Шарах, не осуди меня, но я должен лечь, голова кружится! — сказал он в тот последний вечер, встал и простился.

А я пошел к себе, зажег свечу, разложил перед собой свои записи и задумался. Перед моими глазами еще стоял последний путь убыхов, еще звучали в ушах крики и выстрелы, казалось, сама моя рукопись сочится кровью и слезами.

В истории немало примеров, когда народы, во много раз превосходившие по численности убыхов, бесследно исчезали с лица земли. Но убыхи исчезли с лица земли совсем недавно, — все это случилось на памяти одного человека. Хотя, конечно, не в один день и не в один год.

С того дня, как они сели на корабли, надеясь обрести райскую землю в Турции, они обрекли себя на постепенное исчезновение.

Ассимиляторская политика была и осталась официальной государственной политикой Турции и в годы царствования султана Абдул-Хамида, и в годы, когда к власти пришли младотурки.

Мутная и мощная река ассимиляции подхватила убыхов и поволокла в себе, как и многие другие народы. Младотурки мечтали о воссоединении всех земель с мусульманским населением, мечтали и о Кавказе. Они считали, что в этой воссозданной ими Великой Османской империи «Государственной религией должен быть ислам», «Единым языком должен быть турецкий», «Все нации в Турции должны быть равны между собой, все — османы!». И малым народам оставалось только влиться и исчезнуть в этой единой реке. А с теми, кто не желал этого, случалось то, что случилось с Тагиром.

Победа Октябрьской революции в России затронула весь мир, затронула она и живших в Турции горцев-махаджиров, у которых все еще в глубине души сохранялась любовь к своим родным краям. Услышав, что после Октябрьской революции их жившие на Кавказе братья стали полновластными хозяевами земель своих предков, махаджиры заволновались и многие из них захотели вернуться к своим заброшенным очагам... Об этом они говорили и Михаилу Васильевичу Фрунзе во время его поездки по Турции в 1921 году.

И поэтому не так уж удивителен был для меня рассказ Зауркана о Тагире, который, несмотря на все опасности пути, пытался сквозь чересполосицу фронтов добраться до Анкары, чтобы встретиться там с каким-нибудь представителем Советской России.

Архивные материалы свидетельствуют, что в то время многие горцы, оказавшиеся в Турции, участвовали в революционных событиях, хотя бывало и так, что запутанная политическая обстановка бросала их из горячего в холодное, от одного берега к другому.

Подобно убыху Тагиру, мечты которого не сбылись, и другие передовые люди из числа живших в Турции махаджиров пробовали хоть что-то сделать для сохранения своего языка, своих обычаев, своего национального существования. Они искали спасения в грамотности, составляли алфавиты и буквари, издавали крошечные газеты на своих языках, организовывали клубы для просвещения народа.

В 1919 году Мустафа Бутба, выходец из абхазцев-махаджиров, издал в Стамбуле абхазский букварь и им же составленный алфавит на латинской основе. Кое-где даже открылись абхазские школы, в которых начинали учиться по этому букварю...

Но эти первые слабые ростки погибали под катком ассимиляции. Не успевали они подняться, как он вдавливал их обратно в землю.

Сложные переплеты войны в конце концов занесли какую-то частицу абхазцев из Турции на территорию Греции. И я своими глазами читал письмо, которое они в отчаянии послали в Сухуми правительству Абхазии: «Три года жизни в Македонии, полной самых тяжелых испытаний, лишений, невыносимой жизни в непривычном для нас климате. Всегда, еще в Турции, все наши взоры, стремления были обращены к родным аулам Абхазии. Но было не время. Был старый строй, не желавший нашего возвращения к родным горам. Теперь Абхазия свободна и живет своей жизнью, и нас, волею судеб заброшенных в чужие места абхазцев, более чем когда-либо тянет к свободным горам, к родным семьям, к братьям-абхазцам. Все мы, абхазцы, будучи воодушевлены одной общей идеей и мечтой — служить свободному абхазскому народу, — собравшись общим собранием в местечке Кайлария 28 сентября 1925 года, единогласно постановили хлопотать и просить Народный Комиссариат Советской Социалистической Республики Абхазии разрешить нам, 700 абхазцам, находящимся в Греции, возвратиться с семьями в родные аулы свободной Абхазии».

Обо многом, в том числе и об этом письме, за которым стояли горькие исторические судьбы не только одних абхазцев, я думал, внося эти примечания в свою рукопись, сидя в одиночестве в доме Зауркана Золака.

Через узкое окно светила далекая яркая звезда, и я вдруг вспомнил свою Абхазию и дом, где я когда-то родился и где живет сейчас моя одинокая мать. Может быть, и ей сегодня не спится...

Из соседней комнаты всю ночь слышалось, как кашлял и глухо стонал во сне Зауркан.

Я заснул только под утро, а когда встал, оказалось, что старик и правда заболел — не может встать с постели. Он сдерживался, не стонал, видимо с трудом подавляя боль; во впалых глазах его было страдание. Есть он не мог, только иногда глотал воду и курил.

Три дня, начиная с этого утра, я и Бирам старались хоть чем-то облегчить положение больного, но что мы могли сделать с болезнью, которая называется старостью?

Я больше не мог задерживаться здесь, срок моего заграничного паспорта уже кончался.

В тот день, когда я должен был попрощаться с Заурканом, он с утра подозвал меня к себе:

— Дорогой мой Шарах, ты можешь спокойно уехать, я или поправлюсь, или, если увижу, что не могу больше жить, спокойно приму смерть. Я увидел тебя — абхазца, родственника моей матери, сына народа, из тела которого я происхожу, и я успел рассказать тебе все пережитое мною. А ты принес мне счастливую для меня весть, что абхазцы и Абхазия остались неразлучными.

Старик вызвал Бирама, шепнул ему несколько слов. Тот ушел и вернулся с медной трубой и большим кавказским кинжалом. Старик, держа своими дрожащими руками, долго рассматривал их.

— Дорогой Шарах, от убыхов, которые исчезли с лица земли, осталось только это. Возьми их с собой в Абхазию! Для Бирама они безмолвны, а с тобой будут говорить. Здесь, после моей смерти, они, наверное, попадут в чужие руки. А вместе с тобой окажутся в родных краях!..

Поблагодарив, я принял эти дорогие для меня подарки, приложил все усилия, чтобы удержать Зауркана в постели. Но он все равно, не послушав меня, решил встать. Надел свой старый архалук и черкеску, надел на голову папаху, взял посох и, выйдя из дому, провел меня до калитки. И только там, обняв и поцеловав меня и пожелав счастливого пути, отпустил.

Бирам помог донести мне вещи до проезжей дороги. Мы медленно шли по равнине, и когда я обернулся, то увидел сзади нас, на холме, Зауркана, все еще стоявшего там, как последний обломок старой крепостной стены...

Больше я не оглядывался. Пусть таким он и останется в моей памяти. Пусть таким, последним гордым обломком прошлого, покажется и другим людям

в книге о нем, которую я непременно напишу по сделанным с его слов записям.

Послесловие

На этих словах обрывалась попавшая ко мне рукопись молодого лингвиста Шараха Квадзбы. Как было сказано вначале рукопись не имела названия, не была разбита на главы, и, готовя ее к изданию, я сам разделил ее на главы, дал им наименование и по впечатлению прочитанного назвал ее «Последний из ушедших».

1966—1973